

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

МСМХХІІ  
—  
МСМІХХІІ

ДЕНЬ  
ПОЭЗИИ



1972

# ДЕНЬ ПОЭЗИИ

---

**1972**

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

*Станислав Куняев (главный редактор),  
Юлия Друнина, Анатолий Жигулин, Алек-  
сандр Михайлов, Елена Николаевская, Давид  
Самойлов, Марк Соболев, Дмитрий Стари-  
ков, Владимир Туркин, Евгений Храмов,  
Степан Щипачев;*

*Петр Вегин, Дмитрий Голубков, Ста-  
нислав Лесневский — составители.*

## Д о р о г и е   д р у з ь я !

В нынешнем году наша страна, все прогрессивное человечество отмечают полувековой юбилей первого в мире государственного единения социалистических наций — Союза Советских Социалистических Республик.

Сборник открывается разделом «В семье вольной, новой...», посвященным 50-летию СССР. Поэты народов СССР, московские поэты и переводчики публикуют здесь свои произведения, задуманные, созданные, переведенные для юбилейного сборника. О братстве советских народов говорят многие стихи, статьи, воспоминания и в других разделах «Дня поэзии».

Как всегда, «строчечный фронт» представлен стихами поэтов всех поколений, от ветеранов до начинающих. Стихи начинающих — в разделе «На пороге». Со словом о поэзии, ее проблемах выступают критики и читатели. По-прежнему в «Дне поэзии» присутствует живая память о поэтах давнего и недавнего прошлого, чьи голоса слышны сегодня. Один из разделов сборника посвящен Александру Твардовскому. Его строками мы и закончим это предисловие:

Спасибо, Родина, за счастье  
С тобою быть в пути твоём...





В СЕМЬЕ ВОЛЬНОЙ,  
НОВОЙ...

---

*Высоко—над нами—над волнами,—  
Как заря над черными скалами —  
Веет знамя—Интернационал!*

*Александр Блок*

*Хочу я быть певцом  
И гражданином,  
Чтоб каждому,  
Как гордость и пример,  
Был настоящим,  
А не сводным сыном —  
В великих штатах СССР.*

*Сергей Есенин*

*Читайте,  
завидуйте,  
я—гражданин  
Советского Союза.*

*Владимир Маяковский*

В ДАЛЕКИЕ ДВАДЦАТЫЕ —  
ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ...

Трудно сейчас обращаться к далеким временам, хотя эти времена были незабываемы. Но многое ушло из памяти, сменилось новыми встречами, событиями, новыми картинами литературной жизни, многое уже рассказано в книгах воспоминаний.

Я могу только отрывочно говорить о том, как начинались дружеские отношения между поэтами братских литератур. Многих, вернее, большинства из них уже нет среди нас, а иные, до сих пор активно работающие, достигли преклонных лет. Ведь все происходило, как-никак, полвека назад, а это огромный и беспощадный счет времени...

Одним из первых я помню пришедшего ко мне на квартиру в Ленинграде, на Зверинскую, народного поэта Белоруссии — Янку Купалу. Широкоплечий, жизнерадостный, он принес с собой свежесть белорусских лесов, песенный говор. Мне было удивительно и приятно говорить с ним сразу обо всем. Надо сказать, мир двадцатых годов был шумный, разноголосый, литературно пестрый, вызывавший на спор, на дерзание, на острую полемику.

Это было время дискуссий и литературных споров о направлении и судьбе отечественной поэзии, о месте поэта в рабочем строю.

Поэтому разговоры поэтов неуклонно переходили к осознанию всего совершающегося вокруг, а вы не забудьте, что это были годы нэпа, о которых современная молодежь не имеет представления, — годы сложные, пестрые, драматические... Но жажда как можно больше узнать, как можно больше видиться с поэтами разных других народов была такой сильной, что наша встреча с Янкой Купалой, а потом с Якубом Коласом невольно включала в себя и судьбу белорусской поэзии и судьбу белорусского народа, а звучавшие на белорусском языке песни и стихи заставляли глубже понимать и народное слово и поэтические возможности, расширявшие мой горизонт.

В Ленинграде, в Институте народов Севера учились представители многих се-

верных народов. Поэты ледяных просторов были моими друзьями, и я слушал их странные для слуха стихи, как будто входил в края неожиданных возможностей. Удивительно, например, было узнать, что у иных народов нет понятия «дерево», так как они никогда не видели деревьев и говорили про деревья на крайнем для них юге, обозначая их выражением: «те, что стоят».

А потом я оказался впервые на Кавказе, сначала на Северном, а потом в Грузии и в Армении. Тут произошла моя первая встреча с грузинскими поэтами: Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили, Валерианом Гаприндашвили. Они знали мои книги «Орда» и «Брага», я же имел о Грузии малое представление. Грузия только что вступила на социалистический путь. Мы очень скоро сдружились, а позже завязали большие дружеские отношения, которые перешли и к новым поколениям поэтов. Но уже тогда в пестром вихре всевозможных литературных впечатлений я познакомился и с футуристом — последователем Маяковского — Симоном Чиковани, и с комсомольским певцом — Карло Каладзе. Позже я сдружился на всю жизнь со старым поэтом Сандро Шаншиашвили, Галактионом Табидзе, и наконец мне явился солнечный бог поэзии гор — незабвенный Георгий Леонидзе.

Должен сказать, что все начиналось с дружеских встреч, на которых раскрывались сердца и читались стихи, читались до утра в каком-то самозабвении, поэты жаждали проникнуть в творчество друга, обрадовать его собственными открытиями, удивиться его пониманию и изображению мира. Очень много говорили о поэзии и в Тбилиси, и в Москве, и в Ленинграде. Тогда же начались попытки первых переводов. Хотелось донести до широкого читателя стихи неведомых ему поэтов. Так началась дружба поэтов и совместная работа.

Без тесной дружбы и товарищеского общения невозможно было бы узнать друг друга, и, кроме того, подробное знакомство со страной, с жизнью народа, с его историей

очень помогало в литературной и общественной жизни.

Это были не официальные встречи с полуженными речами и тостами, а живые, зажигательные беседы, в которых история напоминала о дружбе великих классиков, о местах, освященных их пребыванием, а современность буйно торжествовала над прошлым, являя картины изменяющейся народной жизни. Чего стоила одна Земо-Авчалская плотина, где работали «мцыри» — послушники, убежавшие из монастырей и сбросившие монашескую одежду. Старое смешалось с новым, и поэзия как бы обрела вдохновляющую силу, потому что владела всей жизнью поэта.

Поэтому так оживляюще прозвучал вечер переводов и оригинальных грузинских стихов, значительно позже, во время Первого съезда писателей, привлечший внимание всех поэтов — участников съезда.

В первое же свое пребывание в Армении, в том же 1924 году, я, конечно, с жадностью вдыхал воздух благословенной Араратской долины, странствовал по древним местам, где, казалось, воскресают мифы и каменные гимны древности, там же я познакомился с таким мастером солнечных чудес, как Мартирос Сарьян, и с таким яростным и вдохновенным сыном новой Армении, как поэт и прозаик Егише Чаренц, истинный сын Армении и Революции.

Позже возник могучий Аветик Исаакян и другие славные поэты и писатели, с которыми знакомство перешло в дружбу, и к сокровищам Матенадарана прибавились сокровища советской поэзии и прозы. И тут было слияние жизненных процессов и литературной бурной жизни, и, несмотря на причуды, которыми изобиловала политика РАППа в Москве, распространявшаяся на всю страну, встречи поэтов способствовали дружбе народов и взаимному пониманию больше, чем официальные манифесты РАППа и особые требования, предъявляемые поэзии.

В Ленинград приехали большой группой поэты и писатели Украины. Тогда впервые я увидел в шумных дискуссионных беседах, в дружеском общении и Павло Тычину, и Максима Рыльского, Миколу Бажана и Владимира Сосюру. Позже, когда начались декады республиканских литературы и искусства, наступил настоящий праздник дружбы, постоянного обмена опытом и дружеского общения, но тогда, опять-

таки, все обращалось на горячее обсуждение положения, существовавшего в литературе, и к развитию индивидуальных симпатий и привязанностей. Завязывались тонкие и крепкие нити долголетней поэтической дружбы.

Средней Азией я занимался с 1926 года, правда, знакомства личного с поэтами Узбекистана и другими у меня не было. Но в 1930 году наша писательская бригада досконально изучила Туркмению, и тогда я начал дружбу, которая и до сего времени не ослабла, с Берды Кербабеевым и другими туркменскими поэтами. Тогда же мне стали известны такие выдающиеся поэты Узбекистана, как Айбек и Гафур Гулям. Эти поэты восходили тогда на горизонте поэзии, как первостепенные светила. И рядом с ними начинал блистать Мирзо Турсунзаде, прекрасная звезда Таджикистана.

Из Азербайджана были слышны голоса великолепного Самеда Вургуня и романтического Сулеймана Рустама. Со всех сторон поднимались поэтические знамена, и, конечно, поэтов было численно меньше, чем сейчас, но они были большими представителями национальной поэзии.

Когда исчез РАПП и все другие творческие группы и организации, существовавшие до Первого съезда писателей, началась подготовка к Первому съезду единого Союза писателей. Тогда выяснилось, что, в сущности, многие писатели разных народов не знакомы друг с другом. И чтобы подготовка была серьезной и устранила существующее разъединение творческих сил, Максим Горький предложил направить в республики писательские бригады, и эти бригады очень помогли в деле дружбы народов, потому что, вместе с поэтами и писателями республик, они изучали положение писателей и литературный процесс на месте. Это, несомненно, помогло съезду.

Я участвовал в туркменской бригаде, в грузинской и в дагестанской. В Дагестане мы нашли в глухом ауле славного Сулеймана Стальского, лезгинского народного поэта, имели беседы с мудрым Гамзатом Цадасой, отцом Расула Гамзатова.

На съезде писателей уже по-иному звучали многие речи. Предыдущие обсуждения поэзии на местах, постоянные встречи поэтов подытоживали целый период, и многое звучало, как требование времени, фактически проверенное. Это был результат дружбы, дискуссий, критики, поисков.

Со свойственной ему горячностью Египсе Чаренц возгласил: «Самое знаменательное явление, раскрывшееся перед нами, на настоящем съезде, это, на мой взгляд, доклады о национальных литературах, открывших перед нами многообразный, доселе неведомый для нас мир». Но он же говорил и о преодолении замкнутости. «Я тоже, как армянский писатель, принадлежу к «малой» народности и знаю, что, если я свою творческую деятельность психологически ограничу рамками национальной замкнутости, сколь будет жалок ее диапазон и сфера ее влияния. Я счастлив и чувствую себя частью напередового потока человечества, благодаря тому, что Октябрьская революция изъала из духовного поля моего зрения эту жалкую химеру национальных самоограниченностей».

Трудно сегодня оглядываться на годы, ушедшие в туман легенд и преданий. Но помнится основное: личная дружба поэтов разных национальных литератур очень способствовала развитию советской поэзии. В этом отношении советские поэты повторяли традицию классиков, всем известную. Что это так — мы убеждаемся и сегодня, видя, как друг-поэт переводит стихи друга поэта, к общему нашему удовольствию.

И если я говорил на Первом съезде писателей о том, что нам нужно в первую голову убрать эту стенку молчания между поэтами разных национальностей Союза, то наш Пятый писательский съезд показал, какое значение у нас сегодня приобрело дело постоянного поэтического перевода со всех языков наших национальных литератур.

Если вернуться к тем далеким временам — двадцатым и тридцатым годам, то, чтобы вспомнить встречи и подробности бесед и отдельные разговоры, потребуется объемистая книга, которую сразу и невозможно написать. На это потребно время, да и какое время...

Поэтому я ограничиваюсь краткими заметками. Что играло особую роль в то время в творчестве самых разноязыких поэтов? Это отношение к происходящему, не боясь громкого слова — отношение к эпохе.

Если иные поэты, ну, вроде, скажем, Маяковского и Хамзы, выступали плечо к плечу с революционной темой, для многих поэтов того времени, особенно уже показавших свое мастерство, вопросы идеологии были неясными. Это касалось и рус-

ских поэтов и поэтов почти всех национальностей. Приход советской власти в ту или иную республику значил не просто смену власти, а взывал к великому обновлению жизни, к ответственному выбору творческого пути, к решению — «в каком бороться стане».

Выработка единства творческого характера становилась обязательной для поэта, иначе его талант попадал в болото ложных поисков и гнилого нейтрализма.

Тогда, да еще в условиях нэпа, совсем непросто было разобраться в окружающем мире, но постепенно, под влиянием жизненных революционных процессов, мировоззрение утверждало свою истину и поэт находил свое место «в рабочем строю».

Многое сегодня молодым поэтам кажется странным, когда говорят о тех временах, но ведь недаром писал Маяковский со всей честностью и ответственностью, обращаясь к колеблющимся:

И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас!

И в этом была правда истории! И правда поэзии, не могущей существовать в безвоздушном пространстве.

Смешно сравнивать сегодняшний день с тем, что было полвека назад. Тогда были другие характеры и другие обстоятельства.

Но беседы, которые вели поэты разных народов при встрече, не были узко профессиональными беседами. Конечно, много говорили о стихах, особенно о стихах больших поэтов, почему-либо поразивших воображение, но то, что происходило в республике или во всей стране, что было главным, — обязательно входило в разговор, потому что за этим стояла судьба поэта, судьба народа.

Надо было осмыслить прошлое, надо было решить, что брать из литературного наследия, как быть с новой формой стиха, которая требовала к себе внимания.

Национализм заявлял о себе иногда в очень сложных комбинациях...

Да, многие друзья-поэты до сих пор активно работают, но они уже испытывают на себе бремя прожитых времен — еще бы, каких времен! Сильно поредели наши ряды. Из членов Правления, избранного на Первом съезде писателей, в стране осталось 13 человек.

Это естественно! Но, конечно, новые поколения будут возвращаться к тем дням, когда были заложены первые дружеские



связи поэтов советского века, когда встречи представителей разных народов были началом той великой ленинской дружбы, которая потом была проверена в огне великих испытаний, в переустройстве всей жизни нашей родины, в битвах Великой Оте-

чественной войны, в дальнейшем движении новых пятилеток!

Но об этом будут написаны книги и уже написаны. Пусть мои маленькие заметки будут просто, принимая во внимание 1972 год,— просто заметками к с т а т и!

## ПАМЯТНИК ЛЕСЕ УКРАИНКЕ В СУРАМИ

*Посвящается Тамаре Абакелия,  
создавшей этот памятник*

Тамара Абакелия, ты с нами,  
С тобою вместе снова мы пойдем  
К той Лесе Украинке, что в Сурами  
Твоим увековечена резцом.

Какою долгой ночью говорила,  
Тамара, ты, при свете поздних звезд,  
С ее душой в Сурами молчаливом,  
Так радостно и горестно до слез.

И слушала вся ширь грузинской ночи,  
Своим крылом прикрыв беседу ту,  
Чтобы стиха пронзительные очи  
В твои глаза смотрели на лету,

Чтобы узнать, как бьется сердце  
друга...  
Вы встретились — тому пришла пора,

Поэзии сердечная подруга,  
Ваяния любимая сестра.

Потом в лесов неповторимой раме,  
О ней ты — снова миру возвестив,  
Ты вызвала ее опять в Сурами,  
В непреходящий образ воплотив!

Смотрела ты, своим трудом довольна:  
Она стоит, простая, как заря,  
О всем, что жило в сердце ее вольном,  
Зеленому простору говоря.

Дочь Грузии, дочь братской Украины,  
Народов дружбы властвует весна,  
И мы хотим, чтоб вечно, как и ныне,  
Чтоб вместе жили ваши имена!

## ЦХЕНБУРТИ

*(национальная  
конноспортивная  
игра с мячом)*

Мне кажется,  
Что в жизни я играю  
Еще в цхенбурти,  
Конь еще в игре,  
Все правила, как я,  
Он тоже знает  
И мы давно уж  
В схватке на горе.

Все кружит мяч  
Под конскими ногами —  
Года летят,—  
Игра всегда права,

А мы идем  
Азартными кругами,  
Сменяет май  
Осенняя трава.

И блекнут зори,  
Зорями сменяясь,  
И конь храпит,  
И, голову задрав,  
Он спрашивает,  
Хищно улыбаясь:  
— Мы еще живы?  
Разве я не прав?!

— Вперед, дружище!  
Нас зовет пространство,  
Крик игроков,  
Разлет других высот,  
А нужно нам:  
Палат ума убранство,  
Простое, как трава,  
И солнца теплый мед!

Ты на дыбы встаешь  
И, разметая гриву,  
В заката жаркий бой  
Ныряешь с головой,  
Атака лет растет,  
И мяч уже лениво,  
Сам от игры устав,  
Уходит по кривой.

Цхенбурти! Ты живешь? —  
Ты слышишь,  
Конь зловещий,  
Еще игра идет —  
И в стремени нога,  
И все скользит вокруг —  
Виденья, дни и вещи,  
Судьей жизнь в игре —  
И, как игра, строга!

Когда последний раз  
И на последнем круге  
Ты упадешь, а я,  
Не изменив лица...  
Цхенбурти!  
Мы в игре — и знаем —  
На досуге  
Нас вспомнят игроки —  
Игравших до конца!

## СОСНЫ ПИЦУНДЫ

Пицундские сосны, я видел вас  
Во всей первозданной красе,  
Когда вы стояли, в полдневный час,  
На пустой, песчаной косе.

И черный буйвол — древний убух —  
Из моря, прям и высок,  
Словно Юпитер, из пен голубых,  
Выходил на белый песок.

И солнце он нес на рогах, и мне  
Казался мира отцом,  
А белые лилии в тишине  
Вокруг стояли кольцом.

И тишина звенела в ушах;  
Казалось, место нашли,

Чтоб здесь человечья встречалась душа  
С бессмертной душой земли.

А дни, как волны, теряют след,  
За вестью уносят весть,  
Не счесть вам реликтовых ваших лет,  
И мне своих лет не счесть.

Что ж, сосны Пицунды, в далекий час  
Шумела и наша весна,  
И буйвол и лилии были у нас,  
Была и своя тишина.

В стране же, что старостью мы зовем,  
Живет со мной моря кусок,  
Те дни, куда мы в сновиденьях идем,  
То солнце, те сосны, песок...

## СНОВА ЗИМА...

Зима ко мне снова в окно постучала  
Синицей веселой в уснувшем саду,  
А зим этих было, признаюсь, не мало,  
А я к отдаленнейшей самой иду.

Сквозь русской зимы голубые чертоги,  
Любуясь игрой ледяного огня,  
Я свой человек в этой зимней тревоге,  
Метелица чувств не смущает меня.



## ТЫСЯЧА ОКОН

Тысяча окон!  
А смотрят на одного меня,  
Вольно им озирать меня свысока...  
Я поглядел, а под ними — туч беготня,  
Страшно взглянуть на теснящиеся облака.

Тысяча окон —  
Тысяча светлых ночей.  
Разом зажженные в небе мелькают огни.  
И замерцали вокруг отблески жарких очей.  
Башни хрустальные вдруг озарили они.

Эти хрустальные стены  
Построены храбрецом.  
Тысяча окон!.. Да что там их тысячи тысяч горят,  
Словно огромное солнце к тебе повернулось лицом,  
Новое, что встречаешь ты, новый Арбат.

Тысячи окон —  
Манящие всплески огня.  
Что звездочетам лишь тысяча звезд в вышине!  
Тысяча окон! А глядят на одного меня...  
Так что, пожалуй, и вовсе не страшно мне.

*Перевел с грузинского М. Синельников*

## *Петрусь Бровка*

\* \* \*

Народ — он схож с могучей кроной,  
Чей ствол бессмертный так высок.  
Народ мой — океан зеленый,  
В котором я — всего листок.

Бывала крона темной, хмурой,  
Бывала празднично светла.  
Тягалась и с грозой и с бурей,  
Все засухи превозмогла.

С ней вечно цвести родному краю,  
Лишь с ней и мыслю жизнь мою!..  
По капле солнце собираю  
И что собрал — ей отдаю.

## ...ОСТАВЬ КАК ЕСТЬ

Когда бы время  
Исполняло просьбы  
Всех тех, кому за пятьдесят,—  
Охотников поднабралось бы  
Вернуться, так сказать, назад!

Да я и сам, шагнув как в бездну,  
Сказал бы времени:  
— А ну,  
Возьми обратно, будь любезно,  
Морщины, хвори, седину.

А мне верни,  
А мне пожалуй  
Те, прежние свои дары —  
Чтоб уж не мог я, крепкий малый,  
Страшиться стужи и жары.

Чтоб гору дела, как бывало,  
Мне дали вновь — мол, ты ж не слаб!  
Чтоб мог пешком я, без привала,

Пройти  
Ну, сорок верст хотя б.

Утрачена бывая сила...  
Ты, время, дай ее опять,  
Ты сделай,  
Чтоб нетрудно было  
Двину и Днепр переплывать.

Отдай мне молодую удаль,  
Чтоб на девчат я мог и впредь,  
Хотя б  
Как раньше — бедно ль, худо ль,—  
Не без задора посмотреть...

Короче: измени все разом,—  
Деталей тут не перечесть!  
...Лишь то, что накопил мой разум,  
Не изменяй.  
Оставь как есть.

*Перевел с белорусского Валентин Корчагин*

## Платон Воронько

### УТРО

Вслед за небом, тихими стопами  
по росе идет рассветный дух.  
Мягко вскинул крылья над степями  
алый-алый солнечный петух.

Прокричал, лучом туманы взрезал —  
и на зов тот звонкий все вокруг,  
как и я, откликнулось железом:  
провода и рельсы, горн и плуг...

### КОРНИ

Как упорно под землей, под снегом  
корни ищут корм!  
Но для себя ли?  
Сок живой несут они побегам —  
тем, которых даже не видали.

Вроде бы и нет при мне металла,  
разве что перо — всего-то грамм.  
Но в груди — привычным это стало —  
острый отзвук слышен по утрам.

«Надышись,— кричит он,— небом  
синим!  
Спеть, что не допето, поспеши!»  
Время, время... Знать, с тобой не  
вынем  
бомбовой оскодок из души.

Ну, а мы в делах еще упорней!  
Пусть любой мороз трещит жестоко—  
будущие весны  
мы, как корни,  
не оставим без живого сока.

*Перевел с украинского Валентин Корчагин*

## Мирдза Кемпе

### ЛЮБЛЮ

Люблю ли я земгельские поля,  
Балтийский берег, Видземское взгорье?  
В ладонях материнская земля  
Мне дарит счастье и отводит горе.

Рождались дайны, рабству вопреки,  
И красота народного наряда,  
И одолели две войны стрелки,  
Которых с Лениным рисуют рядом.

Они не покидали трудный пост,  
Навстречу смерти пули посылая...

Люблю рабочих исполинский рост —  
Недаром в их большой семье росла я.

Из солнца выткала одежду мать,  
Кусок зари отрезала на знамя.  
Как не любить мне, как не понимать  
Рабочих Видземе или Рязани?!

История подобна кораблю,  
Плывущему к счастливым поколениям.  
Люблю ли я?.. Воистину люблю  
И славлю жизни каждое мгновенье!

### ЭСТАФЕТА

В словах, обретенных мною,  
Язык поколений жив,  
В строке прозвучит струною  
Дайны давний мотив.

Зерна букв на страницу  
Спешит посеять рука...  
Во мне голоса и лица,  
Прошедшие сквозь века.

Аусеклис зажжется  
Рассветной звездой среди туч,  
Райнис — полдневное солнце,  
Аспазия — лунный луч.

Не мертвая дань поклоненья,  
А дух поколений живой.

Идут незабвенные тени  
В грядущее рядом со мной.

И следом за ними теперь я  
Должна подниматься с утра,  
К народу идти в подмастерья,  
Чтоб выйти в его мастера.

Мы все по цветку собираем  
Плетем многоцветность венка,  
Над нашим сегодняшним краем  
Стоят, как стропила, века.

Ты мысли бессмертной сиянье  
В руке, словно факел, держи  
По вечной дуге мирозданья  
Спешит эстафета души.

*Перевела с латышского Ирина Озерова*



## Керим Курбаннепесов

### НА ХРЕБТЕ КАНАКЕР

Пять дней, как стал я гостем Еревана.  
Гляжу с хребта, откуда даль видней,  
пять дней пью воду чистую Зангана  
и ем армянский хлеб уже пять дней.

Пять дней, чтоб встретить зарево  
восходов,  
когда еще зенит бывает сер,  
чтоб любоваться трубами заводов,  
взбираюсь по утрам на Канакер.

Туманная вершина Арарата  
вонзается в невидимый простор,  
еще темна, но все же розовата  
ровесница веков и мать гор.

Не то чтоб взгляды гостя были  
зорки,  
но жажда все познать зовет меня.  
Я не хочу по старой поговорке  
в Армении быть «гостем на три дня»

Но видится и взгляду гостя сразу,  
что все враги повержены во прах.  
Вовек ни Чингисхану, ни Аббасу  
не напоить коней в твоих ручьях.

Когда гляжу с гранитного порога,  
с моей душою тихо говорят  
река, озера, горная дорога  
и еле обозримый Арарат.

*Перевел с туркменского Анисим Кронгауз*

## Сильва Капутикян

### БЮРАКАН

Гоня перед собой овец кудрявых,  
По гладкому шоссе  
Шагает смуглый деревенский

мальчик:  
Спешат барашки мелкими шажками,  
Копытца их оббиты о века... А он  
Поет одну из песен Азнавура,  
Летучую, как звездный след...

А утра свет —  
В ознобе от бессонницы:  
точь-в-точь  
Как бледный астроном, что на всю  
ночь  
Прикован к телескопу...

И башни в серебристых куполах,  
Как полководцы в битве  
Аварайской,  
Сверкающие шлемы устремили  
В высокий небосвод...

Поет  
Идущий мальчик, мне напоминая  
Свободной независимой походкой  
И выправкой уверенной своей —  
Кого? Не самого ль Амбарцумяна?  
Взаимосвязь таинственна и странна  
Меж ними — как меж небом  
и землей...

Ночной покой...  
Сквозь вырубленный в крыше  
Бюракана  
Ердык — Вселенная видна.  
Созвездиями сыплется она  
Сквозь телескоп — к мальчишке  
на подушку —  
И счастье сулит,—  
Как в давние года  
Одна звезда...

## ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО

Неотделимый от родной земли —  
Состарился ты от нее вдали.  
Родному слову преданный навек —  
Его слышал ты только в шуме рек.  
Не выше ль всех душою ты парил —  
Не дольше ль всех ты в заточенье был?..  
О Прометей, прикованный к степям,  
Исполненный презрения к цепям,  
Тайком — рукой, железом стертой  
в кровь, —  
Записывал ты песни вновь и вновь...  
И вновь — огонь богов ты похищал,  
Чтоб свет кромешность ночи освещал...  
И я пришла с земли своих отцов,  
Где было столько страждущих певцов,  
К тебе — ведь ты от них неотделим! —  
Склониться пред величием твоим.

*Перевела с армянского Елена Николаевская*

*Андрей Лупан*

## СЕНТЯБРЬ

Осень, любо нам с тобой,  
госпожой заправской,  
верховодишь ты страдой  
на земле молдавской.  
Виноград уже поспел,  
преподнес даренье.  
От хлопот и срочных дел  
в воздухе кипенье.  
Всласть вобрали гроздь зной,  
рук девичьих ласку,  
парня голос озорной,  
праздника огласку.  
Кузова машин подряд  
загружай обильней.

! Тяжеленный виноград,  
клокочи в давяльне!  
Тихо пенься полный срок  
в тереме дубовом,  
насыщай червонный сок  
духом васильковым.  
Но веселие дано  
мудрому в рассрочку:  
не мутите зря вино,  
не тревожьте бочку!  
Ждите срок, ее храня  
ради благодати.  
А почнете — так меня  
не забудьте кстати!

*Перевел с молдавского К. Ковальджи*

## ПОБЕДИТЕЛИ

На курорте Джеты-Огуз  
День Победы — большая дата.  
На курорте Джеты-Огуз  
мы сидим — два старых солдата.  
А вокруг — разнотравье, синь,  
запах жизни вешней и пылкой!  
Мы сидим, вспоминая жизнь,  
как положено — за бутылкой.  
Я до Пруссии не дошел.  
Он сумел дойти до Берлина.  
Но равно велик и тяжел  
опыт наш. И судьба — едина.  
Говорим, а потом молчим,

только мысли все там витают,  
где кружится пожарищ дым,  
где товарищи обитают,  
не вернувшиеся с войны...  
Наши мысли, словно железо,  
тяжелы...

Нет, мы не пьяны,  
мы относимся к жизни трезво.  
Мы-то знаем, что значит — долг.  
— Ну подыдем? — Давай

подыдем! —  
И допьем последний глоток  
и всю землю взглядом окинем!

## ПАМЯТНИК СОЛНЦУ

Архитектор — латыш Петерсонис,  
почерневший от вьюг и бессонниц,  
чуть скомандует взводный: —

Привал! —  
всё бумаги свои доставал.  
Помню, я приставал к Петерсонису:  
— Что ты делаешь, друг,

расскажи! —  
Он ко мне придвигал чертежи:  
— Проектирую Памятник Солнцу.  
Победим. Возвратимся домой.  
Восстановим разбитую Ригу.  
В новом городе памятник свой  
я воздвигну... —

Чудеса, о которых твердит  
мой латыш, для меня непонятны.

Всё какие-то линии, пятна,  
а за лесом — деревня горит.  
Море крови. Разруха. Война.  
Для чего в это страшное время  
он работает, глаз не жалея,—  
отдохнул бы, пока тишина.  
Как-то раз мы ворвались в село.  
Немцы зло и отчаянно дрались.  
Много нас в эту ночь полегло,  
и среди прочих товарищей — Янис.  
...С той поры было много разлук,  
но как гляну на солнце — так  
вспомнятся  
все привалы и Памятник Солнцу,  
над которым работал мой друг.

*Перевел с киргизского Ст. Куняев*

МОЯ ЛИТВА

1

С Литвою я повстречался у Кройи...  
...Ноги первый свой шаг шагнули несмело  
К речушке, что серебристой плотвою  
Светилась, как звездами светится небо.

Здесь вращала мельничное большое  
Колесо моя Кройя, совсем небольшая,  
И казалось, сапог окуная в Кройю,  
Великан просеивал звездные стаи.

Но не звездами — обыкновенной мукою  
Это было. Из звездной муки наша мама  
Черный хлеб выпекала и щедрой рукою  
Ломти горячие детям ломала.

Хлеб горячий в руке, звездный космос в речушке  
(То играет плотва...). Ну, чего ожидаешь?  
И неужто чего-то захочешь? Неужто  
Жеребенка крылатого оседлаешь?

На Пегасе подняться в бескрайнее небо,  
С соловьем потягаться — чего хочет юность?  
...И клюют журавли крошки теплого хлеба,  
И горланит веселый петух Алелюмас...

2

Спасибо тебе, Кройя,  
За муку и за воду — спасибо,  
Спасибо тебе большое,  
Что наши мосты не сносила.

За колесо великанье,  
Что не знало покоя,  
За птичий квартет утром ранним  
Спасибо тебе, Кройя.

3

Спасибо рукам наших предков, мечи и орала ковавшим,  
Крепости возводившим, спасшим нас в средневековьи,  
Спасибо рукам наших предков, крепости рабства  
каравшим:  
Цветет отчизна живая в каждой капле их крови.

Спасибо рукам наших предков, поставившим порт  
янтарный;

На Немане город построившим, город белый, как голубь;  
Его Нерис омывает лентою благодарной...  
Чудо барокко и готики... Не дал нам пропасть тот  
город...

Спасибо рукам наших предков, что трубы заводов нежно  
И бережно, как деревья, растили и возносили.  
Спасибо им за легенду Балтийского побережья.  
Спасибо рукам наших предков. За все им спасибо...

Спасибо...

4

За наследие предкам воздав с лихвою,  
Можно было в спокойствии жить, почивая...  
Но Литва для меня началась у Кройи.  
Для меня... Потому себя кройским считаю.

От меня ведь зависит, какую в наследье  
Я, принявший Литву, передам ее людям.  
Как литовское дерево, я рос полстолетья  
Возле Кройи, что Стиксом мне в будущем будет.

Из меня могли сделать любые изделия,  
Колыбели, гробы иль фигурки Христовы.  
Но стоял я у Кройи, как гордое дерево,  
И, как листья, лугам раздавал свои строфы.

Надо мною молнии грозно сверкали,  
И грома грохотали не раз надо мною,  
А я греб сквозь шторма, зеленый корабль,  
Чтоб рыбачить под звездною синью Кройи.

5

Словно Трою, воспеваю Кройю,  
Что всех речек шире,  
И мосты твои, Кройя,  
Что длиннее всех в мире,

Колесо великанье  
И космос Кройи,  
Что мне заменяет  
Теперь здоровье.

6

Когда б любовь была буханкой хлебною,  
Ее бы взвесили, а может, сантиметром  
Обмерили и дали б справку верную  
Без комментариев, без всяких сантиментов.  
Увы, любовь не хлеб, не вилла, не сверхсильная  
Машина персональная... Любовь из рода песен,  
Любовь, как Золушка, любовь, как Птица Синяя,  
Любовь — легенда... Как легенду взвесим?

Для меня Литва началась у Кройи.  
 Это было давно. Побелела моя голова.  
 Я не ведаю, где земля меня укроет,  
 Где для меня навеки кончится Литва.

Но знаю, кончится... Ведь так или иначе  
 Умру. Но будет жить Литва, и будет Кройя  
 Все так же течь, все дальше течь, мой мальчик,  
 Ведь Кройя рождена не для покоя...

*Перевел с литовского Вл. Корнилов*

## Расул Гамзатов

### ОТВЕТ ХАЙЯМА

Собственному преданный исламу,  
 Чьи не слишком строги письма,  
 На поклон придя к Омар Хайяму,  
 Осушил я полный рог вина.

И, оставшись трезвым, как арыки,  
 Вопросил, душевен я и прям:

— Чей ты будешь?

Персы и таджики  
 Спорят из-за этого, Хайям.

Словно из таинственного храма  
 Прозвучал ответ его сквозь смех:  
 — Я не беден, и богатств Хайяма  
 Под луной должно хватить на всех!

### СПРАШИВАЛА ЛЮБОВЬ...

— Чем ты, как солнцем, полна  
 голова?

— Мыслями о тебе.

— Губы, какие вам любы слова?

— Венчанные тобой!

— Очи, чем вы очарованы так?

— Ликом твоим, Любовь!

— Кровь,  
 чей несешь ты  
 потомственный знак?

— Страсти твоих рабов!

— Уши,  
 что слаще вам доброй  
 молвы?

— Исповеди твои.

— Руки, что делать желаете вы?  
 — Вновь обнимать тебя.

— Грудь,  
 обращаешь ты что в  
 облака?

— Вздохи твои, Любовь!

— Сердце,  
 что гордо несешь сквозь  
 века?

— Раны твои, Любовь!

— Жизнь,  
 кто разжиг тебя в мире,  
 ответь?

— Кто, как не ты, Любовь!

— Кто разжигать тебя будет и  
 впредь?

— Кто, как не ты, Любовь!



## ЗАВЕЩАНИЕ ЛЮБВИ

Завещала любовь:

— Берегите меня

Вы не в каменных душах бестрепетных  
скал,

Берегите меня, как в дороге коня,  
Как для песни чунгур, как для мести  
кинжал.

Завещала любовь:

— Берегите меня

Не в мечети, где вас разделяет аллах,  
Берегите меня среди ночи и дня,  
Там, где жар оставляют уста на устах.

Завещала любовь:

— Всем наследникам  
вы

Накажите моих не оспаривать прав,  
Чтобы думой для каждой была голова.  
Мастерам колыбелей работу задав.  
Завещала любовь:

— В неоплатном  
долгу

Предо мной вы должны на земле  
пребывать.  
Как изделия свои, на гончарном кругу  
Стану вас я кружить и в огне обжигать.

*Перевел с аварского Яков Козловский*

## Джабир Новруз

### СВЯТЫЕ ГОРЫ

Я Пушкину поехал поклониться  
В дни праздника поэзии весной.  
Казалось мне:  
Со всей земли стремится  
Поток его поклонников со мной.  
Казалось,  
Представители всех наций  
Пришли сюда в любви ему  
признаться.

Собрались внуки,  
Правнуки Поэта,  
Заполнили поляны и опушки,  
Накатывались волнами,  
И это  
Был океан,  
Носящий имя «Пушкин»...  
Цветы и люди,  
Люди и цветы...  
До этих пор я не видал могилы,  
Вокруг которой столько жизни  
было,  
Улыбок, и цветов, и красоты.  
Она, как праздник, радовала нас,  
Над нею имя светлое витало,

Она не смертью веяла на нас,  
Но жизнью и бессмертием дышала...  
Мы выступали, мы стихи читали.  
То холод обжигал нас,  
То огонь...  
Мы со своими рифмами стояли,  
Как с мелочью,  
Зажатою в ладонь.  
Здесь многие,  
И славою и силой  
Гигантами казавшиеся мне,  
Вставали перед этою могилой  
И уменьшались вдруг в величине.  
Здесь рушились  
Фундамент и основа  
Фальшивых слов,  
Холодных мастеров.  
Здесь многие из нас  
Родились снова  
У памятника вечного,  
Святого,  
Живого чересчур  
Для мертвецов!

*Перевел с азербайджанского Ан. Передреев*

Дондок Улзытуев

# ТУРКМЕНСКОЕ СОЛНЦЕ

Студеными ключами напоенный,  
родившийся в краю таежных тайн,  
не знавший жажды, зноем не

паленный,  
обласканный рукой тайги зеленой,  
сибирскою поземкой просмоленный,  
к тебе пришел я, дивный Солнцестан!

Меня, как сына, солнце полюбило,  
швыряло слитки золота в арык,  
в зеленые ладони листьев било...  
Неистовое, терпкое светило,

**В тебе кипит живительная сила —  
дай мне понять твой огневой язык!**

Какая синь лежит над Копет-Дагом,  
пропитанным полуденной жарой!  
Сочатся дыни сладостною влагой,  
поят пришельца, источая благо...  
Смеркается. Закат алеет флагом  
над Солнцестаном — солнечной  
страной!

Перевел с бурятского Д. Петров

Боки Рахим-заде

\*\*\*

Вот луна по склонам заспешила —  
Золотую нить их расшила.

И Гафиза песня заструилась,  
Слушает природа — затаилась.

Эту песню эхо подхватило,  
Над горами песню покатило.

Пел Гафиз нам о счастливой птице,  
Светом озарившей наши лица.

Разум он воспел — святую силу,  
Что нас темной ночью разбудила.

О грядущих бурях и о солнце,  
Заглянувшем в каждое оконце.

Все узнали: Хайдаршо прославил  
Свой кишлак — герой борьбу  
ВОЗГЛАВИЛ.

Сам погиб, народ свой защищая  
И ему свободу завещая.

**Затаив дыханье, все молчали,  
В песне той словца не пропускали!**

А старик все пел и волновался,  
И рубоб ему повиновался...

Перевела с таджикского Л. Мигдалова

## ДЛИННАЯ ДОРОГА

Шли они длинной дорогой.  
Шли они очень длинной дорогой.  
Такою длинной, что время наматывало эту дорогу, словно обмотки.  
Впервые наматывало. Поэтому путало, чертыхаясь...  
И двадцатилетние командиры полков  
корпели над картами неведомой дальней земли.  
У них был единственный компас — маузер. (Этот компас,  
при случае, клали под голову...)  
Командиры полков поклялись привести своих подчиненных  
туда,—  
на землю последнего боя,  
о котором поется:  
«...это есть наш последний!..»

Еще ни один человек не видел этой земли,  
но были уверены все, что она существует,—  
земля, до которой идут в ореоле голубоватых штыков,  
невыносимо голубоватых и невыносимо жестких...  
По ту сторону проволочных заграждений —  
однокашники с пулеметами и в конном строю «землячки»  
со своим представлением (естественно, более верным)  
о свободе (конечно же невероятно свободной)...  
Дорога была слишком узкой — не разминешься.  
А в сторону вели одни тупики.  
И никто — ни один человек — не хотел отставать...

Сквозь слякоть, снег, окровавленные бинты,  
по вшам, сквозь горячечный бред  
шагали в серошинельном строю  
крестьянские парни, рабочие парни,  
не постигшие учености будущих философских школок,  
учености той, по которой Маркса  
обязательно следует переиначить...  
Эти парни были горячей рекой, рекой мировой Революции,  
называющейся Коммуной.  
Река на порогах пенилась и обрушивалась водопадами...

Старый мир возвел перед этой рекой плотину  
из бело-овчинных финнов полковника Калма<sup>1</sup> и крейсеров  
адмирала Синклера<sup>2</sup>,  
из надменных немецких солдат и подростков с детским пуш-  
ком над губою  
под началом вчерашних штабс-капитанов — усатых и зыч-  
ноголосых.  
И все для того, чтоб река повернула от эстонских холмов в  
украинские степи...

<sup>1</sup> К а л м — эстонец по происхождению, командир белофинского добровольческого полка.

<sup>2</sup> С и н к л е р — английский адмирал, командующий эскадрой, подержавшей эстонскую буржуазию в 1919 году.

Шли парни своею длинной дорогой,  
 кто — к далеким еще обелискам, кто — к столу полевого  
 суда,  
 кто — спустя много лет — на рентген молчаливой тройки.  
 А все вместе — в легенду о красных стрелковых полках...  
 А потом — в течение десятилетий —  
 к их портретам в народных домах эстонских родных дере-  
 вень  
 подрисовывали азиатские черные бороды  
 и раскосые злые глаза (хоть глаза у них были свои — го-  
 лубые, большие)...  
 А фамилии штабс-капитанов высекались на мраморных  
 плитах —  
 время этими плитами похрустывало, словно печеньем...

Это было позже, потом, через много лет.  
 Это было гораздо позже того,  
 как прошли они строем бессмертным сквозь тифозные вьюж-  
 ные лазареты,  
 через взорванные мосты и колючую проволоку...  
 Это было после того, как ступили они  
 на землю последнего боя,  
 в легенду.

*Перевел с эстонского Р. Рождественский*

## *Сырбай Мауленов*

### УКРАИНСКАЯ НОЧЬ

Хакимжан!  
 Украинскою ночью  
 Потрясен и очарован ты:  
 Мы с тобой увидели воочною  
 Гоголем воспетые цветы.  
 Ибо Гоголь слышал в час творенья  
 Голос белых отблесков луны,  
 Трепетное ласточек паренье,  
 Грохот набегающей волны.  
 Ночь Украины будет вечно сниться,  
 Будет сниться темная вода  
 Чудного Днепра,  
 Который птица  
 Не перелетает никогда.  
 Днепр течет спокойно и крылато,

Словно песня, что поют друзья.  
 Это Гоголь написал когда-то.  
 Это нынче видим ты и я.  
 Хакимжан!  
 Молчишь...  
 В душе поэта  
 Сказочная ночь отражена.  
 Ты взволнован — первый луч рассвета  
 Вздрагивает в сумраке окна.  
 Мы еще хмельны от полнолуния,  
 Постойм немного — спать невмочь...  
 Панночка уснувшая,  
 Колдунья,  
 Тихая украинская ночь...

*Перевел с казахского О. Дмитриев*

## Виталий Коротич

### ГРОМ

Дожди вбежали в летних платьях  
и солнцем сытые по горло,  
и вмиг вода в садовых прядях  
прошлась и ворох пыли стерла,  
вода лилась от благодати  
на угли молний, как в купель,  
так небо возвращало кстати  
все выпитое из земель.  
И мир промок на самом деле,  
и в громы вслушивался он.  
И молча восемь птиц сидели,  
избрав мое из всех окон.  
И вдруг (во сне ли мне явилось?)  
с меня был миром начат спрос —

и все, что шло, остановилось  
в молниеносной вспышке гроз.  
Все столбенело и смолкало,  
лишь на зареченской земле  
кого-то молния искала,  
ломая спички в мокрой мгле.  
Я говорил.  
Дождей семейство  
ходило в тучах колесом.  
И восемь птиц, мое судейство,  
озноб лохматил за окном.  
...Весь вечер вспышки в поле зренья  
ожогом угрожали мне.  
И мир, зачинщик откровенья,  
со мною плакал наравне.

*Перевела с украинского Юнна Мориц*

## Алим Кешоков

### СО ВРЕМЕНЕМ В ЛАДУ

В час добрый, как это ведется  
Под знаком судеб предавно,  
Вином виноград обернется  
И в хлеб превратится зерно.

И, тонкий, над крышами свесясь,  
Меняясь в дороге ночной,  
В законный черед полумесяц  
Округлою станет луной.

Когда-то был мокрою глиной  
Кувшин, что стоит предо мной.  
И сделался мальчик мужчиной,  
И девочка стала женой.

Всему есть урочные сроки,  
И снова получают права  
Войти в колыбельные строки  
Из свадебных песен слова.

Где парень, не веря в потери,  
Коня осадил на скаку,  
Когда-нибудь посох у двери  
Старуха подаст старику.

А ныне скакун еще в мыле  
И губы хозяйки в меду.  
Пусть все превращения в мире  
Со временем будут в ладу.

### РУКОПОЖАТИЕ

Рыцарь чести когда-то,  
чтоб распря  
пресечь,  
Поединка кровавого зря не растягивал,  
В руку левую он перекладывал меч  
И противнику правую руку протягивал.

Этот древний обряд,  
что войстину прост,  
Вспоминали, мирясь, враждовавшие  
стороны.  
И пожатие их рук  
походило на мост,

Вознесенный над бездной,  
где каркали вороны.

Но не значил порой этот мост ничего,  
Разом рухнуть могли половины  
разъемные,  
Если вложены были в опоры его,  
Недостойные чести,  
слова вероломные.

Будут души в глазах отражаться  
и впредь,—  
О вражде и о дружбе извечны понятия.

Мы друг другу обязаны в очи смотреть  
В миг, когда совершается рукопожатие.  
И не раз я, чтоб дружбу былую сберечь,  
Гнев смирал,

уповая на выдержку  
здравую,  
Словно левой рукой успокаивал меч  
И противнику руку протягивал правую.

Утихает раздор, сокращается даль  
И негромкое слово звучит, как заклиние,  
Если нравом оно  
что каленая сталь  
И на нем отражается — рукопожатие.

*Перевел с кабардинского Яков Козловский*

## *Арон Вергелис*

### НА ОБРАТНОМ ПУТИ ИЗ АМЕРИКИ

Аэропорт покинув, наша птица  
Взлетела в небо выше облаков.  
Кто, господа, мне скажет, где граница —  
Здесь, в небе,— где граница двух  
миров?

Нет в лайнере деленья территорий.  
Для всех уютен самолет и чист.  
Я — коммунист, ты — очевидно, тори.  
Католик — этот, ну а тот — нацист.  
Лишь в синем небе может быть такое,  
Да в сказках мы читали о таком —  
Был Белый дом недавно подо мною,

А скоро пролетим мы над Кремлем.  
Спор о прическах, об удобстве кресел,—  
Как будто темы не найти иной.  
А там, внизу, идет под нами крейсер,  
Орудия направив на Ханой.  
Один на крейсер посмотрел, зевая,  
Другой —  
как будто целятся в него.  
Вот тут-то и границу ощущаю  
Я мира твоего и моего.

*Перевел с еврейского П. Градов*

## *Максим Лужанин*

### БЕЛОРУССИЯ

Не с могильных курганов и горьких поклонов,  
не с туманных преданий в столетних дубах,  
грозым звуком  
октябрьских  
раскатыстых громов  
начинается век наш и солнечный шлях.



Раскроила вселенскую темень зарница,  
и прошел по лесам облегчения вздох.  
Не на этой земле я не мог бы родиться,  
дотянуться до солнца вовеки б не смог.

Мощный молот и серп высоко засияли,  
их никто не ломает, никто не согнет.  
Все знамена страны их сиянье узнали,  
их сиянье узнал белорусский народ.

Трактор наш разбудил тишину небосклонов,  
наши нивы в красе, наши недра щедры.  
С высочайшей трибуны полей и заводов,  
мой народ, управляешь и властвуешь ты.

Я с тобой воевал и войны не боялся,  
не чурался работы, не хныкал в беде,  
ну а если б тебе вдруг в любви я признался,—  
все равно что в любви признаваться себе!

Я — твой ранний гудок,  
ветка в пущах Полесья,  
среди тысяч других в день грядущий стезя,  
ты — криница моя, моя кровная песня,  
ты — мой разум живой, разлучить нас нельзя!

*Перевел с белорусского И. Шкляревский*

## *Грегоре Виеру*

### ЖИВАЯ ВОДА

*Иону Друцэ*

Вечером женщины  
воду с колодца несут,  
легко поднимая ведра,  
как будто за руки держат  
годовалых своих малышей.

Вечером мужчины  
ведра сжимают с боков  
руками горячими,  
медленно их подносят к губам,  
как годовалых своих малышей.

Вечером дети  
становятся на колени  
перед ведрами,  
как жаждущие ягнята,

и маленькими глотками  
цедят прохладу  
из этих колодцев,  
поднятых из глубины  
и оставленных на ночь  
в высокой траве у крыльца.  
Белые звезды к рассвету  
в белых ведерках тают,  
как белые льдины.  
Пахари  
лица свои  
студеной водой омывают,  
и, как звонкое алое утро,  
их тела расцветают.

*Перевел с молдавского Яков Аким*

## Джубан Мулдагалиев

\*\*\*

Без мыслей о поэзии, о боге  
Спешило детство, таяло вдали.  
С приятелем мы как-то, по дороге,  
В церквушку православную зашли.

Церквушка миром необыкновенным,  
Просторным домом показалась мне.  
На потолке, и в нишах, и на стенах  
Картины проступали в тишине.

Прямые взгляды прожигали душу,  
Мальца в грехах неведомых вина.  
Приятель спохватился и наружу  
Извлек поспешно за руку меня.

Промчался год. Я удивился, право,  
Не в церкви — в школе увидав  
портрет...  
А бог был молод, волосы курчавы,  
В живых глазах — задумчивости свет.

— Он русский бог? —  
Я, смело вопрошая,  
Пытался разобраться что к чему.

Учитель стал серьезным:  
— Что ж, пожалуй!..  
Хоть сами боги не чета ему!..

Проходит время. Не прельщенный  
раем,  
Я не хожу ни в церковь, ни в мечеть.  
Икон старинных мы не собираем,  
Казахам трудно в этом преуспеть!

Что мне коран, что библия?  
От жженья  
Моей души они не исцелят.  
Я поклоняюсь богу вдохновенья,  
Увиденному сорок лет назад.

Он шествует по солнечным дорогам,  
Аулы, степь, поэзию любя.  
Прости, о Пушкин,  
За сравнение с богом —  
Но с чем еще я мог сравнить тебя?!

Перевел с казахского Вл. Савельев

## Семен Данилов

### НАШИ СТАРИКИ

Белесые вершины Янских гор  
На выцветших висках сияют славой.  
И солнечный кольшется простор  
В походке той спокойно-величавой.

И борозды Невидимой Сохи  
Готовы, наконец, соединиться.  
Но смертной тенью не на эти лица  
Ложатся века тяжкие грехи.

На этих лицах поздний свет любви  
И дням грядущим — противостоянье!  
И щедрое возносит воздаянье  
Движение солнца и луны в крови.

На этих лицах вечности права  
До тайных сроков понимать  
счастливо  
И то, что ветру шелестит листва,  
И сердца сокровенные порывы.

Порою долу устремят свой взгляд,  
И после долго смотрят незнакомо.  
И умерших веков живые громы  
В их голосах встревоженных гремят.

Как будто с облаками разговор.  
Хотя одни молчат весь день сурово,  
Но редкое да меткое их слово  
Сверкает, как в лесу глухом топор.

А есть словоохотливые — те  
Друзья мои, певцы, олонхосуты.  
Заговорят в сердечной простоте,  
И позабудешь, кто и почему ты.

Лишь дрогнут рядом в заповедный миг  
Ручьев и рек небесные лавины,  
И отразят времен неясный лик  
Чистейшего якутского глубины.

И, дивный наш благословляя край,  
Светлеют взором радостно, как дети.  
Мой друг! Ты только их не обижай:  
Добро, одно добро твори на свете.

И я — короткий, долгий ли мой век —  
Хочу прожить, о бренном не печалюсь,  
Чтоб старики мои, со мной прощаясь,  
Сказали: «Добрый был он человек...»

*Перевел с якутского В. Шаргунов*

## Хамид Гулям

### ГУЛЬДАСТА

Я вспоминаю, как мы сели в поезд,  
Как мы с друзьями заняли места,  
Как, мотыльком у окон беспокоясь,  
Вспорхнул букет чудесный — гульдаста.  
Его несла старушка вдоль вокзала.  
С одышкой шла, волненья не тая.  
— Я слышала, сынок, — она сказала, —  
Ты едешь в белорусские края,  
И если встретишь озеро и если  
Увидишь одинокую сосну  
И скромную могилу на Полесье, —  
Ты расспроси седую тишину.  
Там памятник стоит, как пирамида,  
Из жести там высокая звезда.  
Найди могилу моего Саида  
И положи букет мой — гульдаста...

Ну а еще мне сын писал немного  
О белорусской девушке одной,  
Писал, что любит, что одна дорога  
И что в Ташкент вернется он с женой.  
Писал, как склад они

взорвали в Минске  
И тайно уходили от врагов  
И как дымилась в партизанской миске  
Родная бульба — белорусский плов.  
Ах, как хочу я всей родней собраться!  
Разыщешь — непременно позови... —  
Я взял букет.

И думал я о братстве,  
О том, что все прекрасное — в любви,  
Что в светлую и горькую годину  
Они извечно плещут как прибой, —  
За материнскою любовью к сыну  
Сыновняя любовь к земле родной.

Я думал:  
Жизнь и смерть как в поединке,  
И неспроста, конечно, неспроста  
Обнимутся полесские барвинки  
С букетом кровной дружбы — гульдаста.

*Перевел с узбекского В. Урин*

\* \* \*

Что — дерево, когда оно одно!  
Его  
Минуют стаи птиц,  
Садовник не лелеет.  
Его не гнут плоды.  
Но тяжелее,  
Чем одиноким быть,  
Нет ничего.  
А вот когда деревья вместе  
И когда  
Зовут их не деревьями, а садом,  
Тогда здесь соловьи ведут рулады,  
А садовод ручьи ведет сюда.  
И человек один — сам по себе —  
Соломинка, что ветерком влекома.  
Но не подвластны ветру никакому  
Соломинки, что собраны в снопе.  
Да, плохо одиночке на земле.  
Он — камушек — могуч, когда  
спрессован,  
Как и другие камушки, в скале.  
Так выпьем тост — коль мы еще не  
пили —  
За дружбу — всем недружбам вопреки.  
Чтоб, как соломинки в снопе,  
Близки мы были  
И словно камушки в скале —  
Крепки.

\* \* \*

Пью за здоровье ваше, молодежь!  
За солидарность! Нет ее прекрасней.  
За чувство локтя в будни или  
в праздник,  
За дружбу, что водой не разольешь.  
Упавшие на землю в непогоду  
Как одиноко яблоки гниют!  
От речки оторвавшуюся воду  
Иссушит солнце в несколько минут.

А для единства не страшны болезни,  
И тяжесть бед, и долгий груз веков.  
Острее единства нет на свете лезвий —  
Ни сабель, ни кинжалов, ни клинков.  
Оно взрывает горные породы,  
Успех несет в работе и в бою.  
В единстве — сила каждого народа.  
Равняйте на него судьбу свою.

*Перевел с аварского Вл. Туркин*

РУССКОМУ ДРУГУ

Над гладью песчаной косы  
всходила луна из тумана,  
а солнышко в эти часы  
дремало в горах Бадахшана.

Мы плыли по тихой реке,  
по главной аорте России.  
Я слышал в твоём говорке  
журчание волжской стихии.

Беседа на палубе шла  
и весело и остроумно,  
а светлая Волга текла  
спокойно, безмолвно, бесшумно.

Вокруг золотились леса,  
струились вдоль берега воды.  
В твоём выражение лица  
я видел приметы природы,—

спокойствие медленных рек  
и шелест лесов бесконечных —  
чем русский живет человек  
в сплетении связей извечных.

А мой несмолкающий смех  
был родствен журчанию Вахша,  
и этим единством навек  
крепилось содружество наше.

Сливались в один разговор  
все шутки и все поговорки,  
и те, что возникли средь гор,  
и те, что родились на Волге.

*Перевел с таджикского Ст. Куняев*

# ПО СТРОЧЕЧНОМУ ФРОНТУ...

---



## ИЗ НОВОЙ КНИГИ

### СТАРУХИ ОСЕТИИ

На Тереке только проездом бывая,  
я все-таки вас не забыл второпях,  
старухи Осетии в красных трамваях,  
старухи Осетии в черных платках.

Любил я увидеть на уличной встрече,  
какие нередко случаются тут,  
как прямо вы держите слабые плечи,  
как юбки кавказскую землю метут.

На бабушек русских вы мало похожи,  
суровой глаза и надменнее рты —  
тогда почему же так близко тревожат  
меня отрешенные ваши черты?

### СОТРУДНИЦЫ ЦСУ

Мы позабыли как-то без труда  
и вспоминаем нехотя и редко  
далекие негромкие года,  
затишье перед первой пятилеткой.

Чтоб ей вперед неодолимой быть,  
готовилась крестьянская Россия  
на голову льняную возложить  
большой венок тяжелой индустрии.

Предчувствием величия полны,  
придвинув ближе счеты и чернила,  
уезды и губернии страны  
подсчитывали собственные силы.

Вот почему я в лирику внесу  
известных мне по той эпохе дальней  
молоденьких сотрудниц ЦСУ,  
служительниц статистики центральной.

Я их узнал мальчишеской порой,  
когда, ничуть над жизнью не печалась,  
они с моею старшею сестрой  
по-девичьи восторженно общались.

Идя из школы вечером назад,  
я предвкушал с блаженною отрадой,

Тогда отчего же я, житель столицы,  
спешу перед вами признательно встать,  
чего я ищу в этих замкнутых лицах,  
какую взаимность хочу отгадать?

К чему тут гаданья? С молчащею силой  
в степях и ущельях победной страны  
нас дважды роднили большие могилы,  
сперва — революции, после — войны.

И громкая дробь пионерских отрядов,  
и свадебный шелест девических лент,  
вся жизнь, что мы прожили словно  
бы рядом  
среди лозунгов этих и этих легенд.

как в комнатухе нашей шелестят  
моих богинь убогие наряды.

Он до сих пор покамест не затих,  
не потерял волшебного значенья,  
чарующе ничтожный щебет их  
над вазочкой тогдашнего печенья.

Но я тайком приглядывался сам,  
я наблюдал, как властно и устало  
причастность к государственным  
делам  
на лицах их невольно проступала.

И счастлив тот ушастый мальчик был,  
воображая молча отчего-то,  
что с женщинами этими делил  
высокие гражданские заботы.

И все же не догадывался он,  
что час его предназначенья близко,  
что он уже Историей внесен  
в заранее составленные списки.

И что в шкафах статистики стальных  
для грозного строительства хранится  
среди миллионных чисел остальных  
его судьбы и жизни единица.



## КАЛМЫК

Хоть я достаточно привык,  
но снова голову теряю,  
когда мне Пушкина калмык  
благоговейно повторяет.

Те незабвенные слова,  
как духи музыки и света,  
не утеряти волшебства  
от гордой тщательности этой.

Считает, видно, мой джигит  
в своей простительной гордыне,  
что Пушкин впрямь принадлежит  
степному воздуху полыни.

Что житель русских двух столиц  
не озарялся их огнями,  
а жил, седлая кобылиц  
или беседуя с орлами.

И с непокрытой головой,  
играя на своей свирели,  
шел за кибиткой кочевой  
между тюльпанами апреля.

С таким я слушаю стараньем,  
так тихо ахаю в ответ,  
как будто полного Собранья  
на полке не было и нет.

Как словно мне все это внове  
и я в Тригорском не бывал,  
не пил фетяску в Кишиневе,  
в Одессе устриц не глотал.

И с осторожностью веселой  
для ожидающих веков,  
пока он спал, я утром с полу  
не собирал черновиков.

Как будто я из церкви тоже  
не выносил на паперть прах  
и гроб мучительный рогожей  
не я укутывал в санях.

Читай еще, пастух степной.  
Я чтение это не нарушу.  
От повседневности такой  
мне перехватывает душу.

Как сердце бедное унять?  
Скорей бы пушкинская сила  
его наполнила опять  
или совсем остановила.

Звучит средь сосен и снегов  
до потрясения сознания  
то исполнение стихов,  
как исполнение предсказания.

## НАДПИСЬ НА КНИГЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА

Стою я резко в стороне  
от тех лирических поэтов,  
какие видят только Фета  
в своем лирическом окне.

Я не полезу бить в набат,  
я не охрипну, протестуя,—  
пусть тратят перья, коль хотят,  
на эту музыку пустую.

Но не хочу молчать сейчас,  
когда радетели иные  
и так и сяк жалеют нас,  
тогдашних жителей России.

То этот молодец, то тот,  
то в реферате, то в застолье  
слезу напрасную прольет  
над нашей бедною юдолью.

Мы грамотней успели стать,  
терпимей стали и умнее,  
но не позволим причитать  
над гордой юностью своею.

Ее мы тратили не зря  
на кирпичи и на лопаты,  
и окупались те затраты,  
служебной прозой говоря.

В предгрозовую пору ту  
и на Днепре и на Урале  
мы сами нашу доброту  
от мира целого скрывали.

И как в копилке серебро,  
не без трагических усилий,

свое духовное добро  
для вас до времени копили.

Быть может, юность дней моих,  
стянув ремень рабочий туже,  
была не лучше всех других,  
но уж конечно и не хуже.

## ПОЗДНЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Ты, несказанная страна  
дождей и зорь, теней и света,  
не сохранила имена  
своих дописменных поэтов.

Поклон им низкий до земли  
за то одно, что в оны годы  
они поэзию ввели  
в язык обычный обихода.

Тому пора воздать хвалу,  
кто без креста и без купели,  
дал имя грозное орлу  
и имя тайное свирели.

Я, запоздняясь, благодарю  
того, кто был передо мною  
и кто вечернюю зарю  
назвал вечернею зарею.

Того, кто первый услышал  
капель апреля, визг мороза  
и это дерево назвал  
так упоительно — березой.

Потом уже, уже потом  
сюда пришел Сергей Есенин  
отогревать разбитым ртом  
ее озябшие колени.

## ПЬЕРО

Земля российская гудела,  
горел и рушился вокзал,  
когда Пьеро в одежде белой  
от Революции бежал.

Она удерживать не стала,  
не позвала его назад —  
ей и без этого хватало  
приобретений и утрат.

Он увозил из улиц дымных,  
от площадного торжества  
лишь ноты песенок интимных,  
их граммофонные слова.

И все поеживался нервно  
и удивлялся без конца,  
что уберег от буйной черни  
богатство жалкое певца.

Скитаясь по чужой планете,  
то при аншлаге, то в беде,  
полунадменно песни эти  
он пел, как проклятый, везде.

Его безжалостно мотало  
по городам и городкам,  
по клубам и концертным залам,  
по эмигрантским кабакам.

Он пел изысканно и пошло  
для предводителей былых,  
увядших дам, живущих прошлым,  
и офицеров отставных.

У шулеров и у министров  
правительств этих или тех  
он пожинал легко и быстро  
непродолжительный успех.

И снова с музыкой своею  
спешил хоть в поезде поспать,  
чтоб на полах эстрадных сеять  
все те же плевелы опять.

Но все же, пусть не так уж скоро,  
как лебедь белая шурша,  
под хризантемой гастролера  
проснулась русская душа.

Всю ночь в загаженном отеле,  
как очищенье и хула,  
дубравы русские шумели  
и вьюга русская мела.

Все балериночки и гейши  
тишком из песенок ушли,  
и стала темною главнейшей  
земля покинутой земли.

Но святотатственно звучали  
на электрической заре

его российские печали  
в битком набитом кабаре.

Здесь, посреди цветов и пищи,  
шампанского и коньяка,  
напоминала руки нищих  
его простертая рука.

А он, оборотясь к востоку,  
не замечая никого,  
не пел, а только одиноко  
просил прощенья одного.

Он у ворот, где часовые,  
стоял не двигая лица,  
и подобревшая Россия  
к себе впустила беглеца.

Там, в пограничном отдаленье,  
земля тревожней и сильней.  
И стал скиталец на колени  
не на нее, а перед ней.

## КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Поднебесный шатер бережливо укрыл  
всех старух и рабочих, детей и гуляк.  
Колыбель человечества — так окрестил  
нашу землю один гениальный чудак.

Только он позабыл по большой простоте,  
подымаясь по лестнице шаткой в жилье,  
что слезами и кровью пропитаны те —  
из травы и пшеницы — пеленки ее.

Может, он не видал в голубом далеке,  
наблюдая в трубу планетарный туман,  
что младенец сжимает в неверной руке  
вместо праздной игрушки военный наган.

Вряд ли там, при свечах догорающих звезд,  
ожидает пришельцев одна красота.  
Свет вселенной, наверное, так же не прост,  
как пока еще жизнь на земле не проста.

Чтоб всему человечеству праздничным быть,  
чтоб сбылись утопистов наивные сны,  
нам покамест приходится кровью платить  
и за землю Земли и за землю Луны.

СТОЮ У ОКНА

*Памяти А. Т. Твардовского*

Видать, серьезно на мороз  
декабрь поворотил. Чисты  
снежинки падают от звезд,  
из той холодной высоты.  
Все ближе ночи к январю.  
Уже не раз, уже не два  
я видел узкую зарю,  
в снегу приметную едва.  
Я не включил нарочно свет,  
чтоб видеть ночь в белесой мгле.  
Уж не от звезд ли мне привет  
в морозных знаках на стекле?  
Мерцают близко их огни.  
Уж не к себе ль меня зовут?  
Кто знает, может, и они  
не все меня переживут.  
Есть под стеклом метеорит.  
В музейной гулкой тишине  
он мне о многом говорит,  
он и о том напомнил мне,  
что смерть звезды не смерть еще  
и прах ее не прах, когда  
большой судьбы ведут расчет  
не световые ли года,  
когда, и мертвая, земле  
звезда все так же дарит свет.  
В морозных знаках на стекле  
не от нее ль прочтут привет?  
Сужу об этом без затей.  
Пусть покажусь кому-то прост,  
как жить — учусь я у людей,  
как умирать — учусь у звезд.

*19 декабря 1971 г.*

СЛАВЛЮ!

Праздники,  
свадьбы веселые  
были.  
Многие —  
силишься вспомнить —  
забылись.

Не уложила их в ларчики  
память живая.

Смерти же помнятся.  
Много их было —  
со счету сбиваюсь.

Машет косою безносою  
над головами.  
Мать, потерявшую сына,  
какими утешу словами?

Жить бы иным да работать!  
Мечталось, дерзалось.  
Марши оплакали  
в траурных залах.

Многих друзей  
уж не встречу  
ни в стуже, ни в зное,  
женщин не встречу,  
когда-то целованных мною.

Снова — уж сколько их было! —  
нагрянула осень сырая.  
Падают листья,  
цветы умирают.

Длинно ложатся  
полдневные тени...

Славлю зачатия,  
муки рождений!

Росные, ранние  
славлю цветы луговые,  
горн пионерский,  
звезду, что явилась впервые!

Славу и смерти  
воздал бы я жестом широким,  
если б она  
чьих-то жизней не путала сроки,

если б, не важно,  
пусть доброю быть не старалась,  
но хоть немного бы  
в людях порой разбиралась.

## Леонид Мартынов

### ДРЕВНИЙ БУГОР

На улице Дмитрия Ульянова  
В укромном месте, где бульвар широк,  
Стоит, как обособленный мирок  
Средь мира, перестроенного заново,  
Березами поросший бугорок.  
И ничего не вижу в этом странного,  
Что на скрещенье будущих дорог,

Когда еще кишели звероловами  
Леса и не звались ни Воробьевыми,  
Ни Ленинскими выси ближних гор,  
Да и Москва не высилась, — тогда еще  
Не хоронясь, а жизнеутверждающе  
Стоял здесь  
Древних вятичей  
Бугор!

### У ГЛОБУСА

Нынче  
Я видел Хроноса,  
Он до виска мне дотронулся,  
Чтоб от касанья тяжелого  
Золото стало как олово.

Может быть,  
Трогая волосы,  
Думал, что трогает голову

Шара земного у полюса,  
Чтобы померк ореол его.

Или же  
Таким образом  
Сам я стоял перед глобусом  
И за висок себя трогал сам,  
Вообразив себя  
Хроносом!

АУ, ЛЕСНИЧИЙ!

Листва  
Хлесталась,  
Со мной боролась.

Но вдруг донесся  
Сквозь щебет птичий  
Воскресший голос прелестной  
лешей:

— Ау, лесничий!

— Ты обозналась!

— Нет! Ты лесничий —  
Твой взгляд ресничий,  
Твой рот брусничий!

## БАЛЛАДА О ФЕДОРЕ ДОСТОЕВСКОМ

Невский  
Остается просто Невским,  
Отвергая переименованья —

Достоевский  
Остается Достоевским,  
Отвергая перетолкованья.

Быть бессмертным —  
Тяжкая повинность!  
Бытие мыслителя — один из  
Самых фантастических романов:

— Расскажите, милый  
Валиханов, —  
Попросил Чокана  
Достоевский, —  
Что теперь творится  
в Петербурге?

И сказал Чокан, на запад глянув:

## МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ

Где Мокрое?  
В кровавых слезах — росах  
Оно за Старой Руссой, говорят,  
Есть и других догадок целый ряд...

Она смеялась?

Нет!  
Любовалась  
Не на телесный и многогрешный  
Мой внешний облик отяжелевший  
И на усталость,

А любовалась  
На мой духовный  
Верховный облик:  
В нем все осталось —  
Блеск глаз, уст алость...  
— Я не трущобник!

— Друг мой,  
Невский остается Невским,  
Как и Достоевский  
Достоевским,  
Даже если загнан к черту в  
турки!

Впрочем, был ли сей ответ столь резким?  
Мне проконсультироваться не с кем —  
Так ли точно средь степных курганов  
Выразился славный Валиханов.

Но ведь Невский  
Остается Невским,  
Как и Достоевский Достоевским,  
Точно так же, как и Валиханов,  
Хоть и много разных великанов,  
И живых и всяких истуканов,  
За сто лет  
Исчезло,  
В Лету  
Канув!

Но все это турусы на колесах!  
Был в старом Омске Мокринский  
форштадт.  
То Мокрое на глинистых откосах,



У Океана,  
Рыбьего слуги,  
Морщины плещут на челе покатом...

Есть у него  
Полярные круги,  
И тропики,  
И пламенный экватор,  
И полюсы...

Но главная краса  
Его и гордость — это, несомненно,  
Одета в буревые небеса  
Везде от устьей Юкона и Лены  
И вплоть до острова Святой Елены —  
Земля, всегда взволнованна, грустна  
И, как и Океан, непостоянна.  
Господствует от Арктики она  
До Антарктиды,  
Дочка Океана!

Павел Антокольский

## ВСЕ КАК БЫЛО

Эти мокрые избы что гнезда вороньи.  
Эти голые сучья что розги черны.  
Эта осень что вражьи войска в обороне,  
В подмосковном селе, в самом сердце  
                                страны.

Так сойди с фонарем по скрипучим ступеням,  
Двери настежь — и прямо в ненастную тишь.  
Но с каким сожаленьем, с каким упоеньем  
Ты на этой земле напоследок гостишь...

Все как было. И снова к загадочным  
звездам  
Жадно тычется бедный глупец звездочет.  
Все как было. Твой мир окончательно  
создан.

И пространство недвижно, и время течет.  
Все как было. Да только тебя уже нету.  
Ты не юн, не красив, не художник,  
  не бог,—  
Ненароком забрел на чужую планету,  
Оскорбил ее кашлем и скрипом сапог.

Припади к ней губами, согрей, рассмотри  
хоть  
Этих мелких корней и травинок черты.  
Если даже она твоя смертная прихоть,  
Все равно она мать,— понимаешь ли ты?  
Расскажи ей о горе своем человечьем.  
Всех, кого схоронил ты, земля берегла.  
Все как было. С тобою делиться ей нечем.  
Только глина, да пыль у нее, да зола.



## ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Полночь. Защелкнулись дверцы  
кареты.  
Все распрощались, тронулся сон.  
Мчатся безумцы, актеры, поэты.  
Хлыст кучерской как смычок занесен.

Ночь выпекает придворные торты.  
Ночь высекает огниво сердцам.  
Ночь саламандрой летит из реторты  
И мандрагорой цветет мертвецам.

Мимо! Сквозь призраки скошенных  
окоп,  
Как чехарда, с этажа на этаж —  
Ночь мою брачную, бурный мой  
Брокен  
Наискось заштриховал карандаш.

Мимо! Туда, где гроза корчевала  
По облакам бурелом топором,  
Где городская весна горевала  
С рваной оравой черных ворон,—

Там мое прошлое крылья простерло,  
С брошенной юностью накоротке,—  
Шарф замотал пересохшее горло,  
Глаз фонарем опрокинут в реке.

Школьником шалым от шума лесного  
В прошлых веках путешествовал сон,  
Был колесом он и был колесован,  
Корку делил с дрессированным псом.  
Эх, раскрипелись колеса на камне!  
Низкое, мокрое небо — хоть плачь!  
Будет ли новая юность легка мне?  
...Не остановишь запаренных кляч...

1918

## Сергей Марков

### СТИХИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

#### 1. БЕЖЕНЕЦ

Войска идут и покоряют страны...  
Но — беженец, забывший чемодан,—  
Я восхваляю гибельный уют...

Так вот она — военная свобода,  
Где нет стола, дивана и комода,  
Где пулеметы спать мне не дают!

Напрасны все бесплодные потуги;  
Ищу рукой, но не найду подруги —  
Подстилкой мне холодная земля...

Где вы, слова домашнего привета?  
Лишь только сумасшедшая ракета  
Благословит сожженные поля!

И я сношу бесславные удары...  
Меня толкают пиками гусары  
И кашевары гонят от котла.

Я принимаю радостный гостинец,  
Когда обедки даст мне пехотинец  
На улицах разбитого села.

В часы веселья, после шумной драки,  
Когда визжат служебные собаки,  
Ошейниками медными звеня,

А суп в котлах невыносимо жарок —  
Солдаты гладят яростных овчарок,  
Их насыщая прежде, чем меня!

#### 2. АННА

Когда мы Анну хоронили,  
Тащили гроб,—  
По броневым автомобилям  
Блуждал озноб...

На окровавленном лафете  
Ее везли;  
Кричали женщины и дети  
В глухой пыли.

Ее зарыть сегодня надо  
Здесь, на плацу,  
Десятидневная осада  
Идет к концу.

Она пока еще — нетленна,  
Светла ладонь...  
Так пусть и плечи и колена  
Пожрет огонь!

Спешите! Поджигайте разом  
Могильный шелк,  
Пока надел противогазы  
Смятенный полк.

Смотрите! На уступе голом  
В последний час  
Огромным черным ореолом  
Встает фугас.

У стен бетонного редута  
Весь полк склонен,

В ревущем пламени мазута —  
Узор знамен.

И небо круглое ослепло...  
Не верьте снам.  
Она вернется в виде пепла  
Обратно к нам!

Осыпав гроздь мертвых галок,  
Подкрался газ  
И синим запахом фиалок  
Дохнул на нас.

Но Анна — пламенем воспета,  
И Анны — нет!  
...У черной койки лазарета  
Дежурит бред.

Она — тепла и осиянна —  
Сошла ко мне...  
Пустое! —  
Тень аэроплана  
Летит в окне...

1934

## Михаил Зенкевич

### В ПОЛОВОДЬЕ

С ветром залетая  
В память, как в окно,  
Песенка простая  
Мне звучит давно.  
Вновь мозоли режет  
Мокрое весло...  
Эх, куда на стрежень  
Лодку понесло!  
Лодка-однопарка,  
Только двое в ней,  
Но грести мне жарко,  
Зыбь несет ровней,  
И горит на гладкой  
Отмели огонь,  
И звенит трехрядкой  
Волжская гармонь.  
А под пароходом,  
Там, где вал вскипел,  
Юношеский звонкий  
Голос вдруг запел:  
«Пропал я, мальчонка,  
Пропал навсегда,  
А годы проходят,  
Как мутна вода...»

\*

Нас ведь только двое,  
Лодку понесло.  
Даже кормовое  
Брошено весло.  
Я тянусь смелее  
Ближе, и во тьме  
Ты сидишь, белея  
Чайкой на корме.  
Ты притихла грустно,  
А из темноты  
Наплывают грузно  
Бревнами плоты.  
Брось же скрип уключин  
И коленкой стань,  
С тьмою неразлучен,  
У кормы на стлань!  
Зарябили ярко  
Звездные огни.  
Лодку-однопарку  
Не переверни.  
Дрожью безотчетной  
Только б не спугнуть

Чайки той залетной,  
Что колышет грудь.  
Дальняя угроза —  
Вон причал. Смотри:  
С Бабушкиного взвоза  
Тлеют фонари...

\*

Сколько половодий,  
Словно всплеск весла,  
С луговых угодий  
Волга пронесла!  
Сколько счетов счастья,  
Лепестковых слов  
Разорвал на части

Соловьиный зов,  
В белой и лиловой  
Чаще — с той поры  
Там у Соколовой  
Рухнувшей горы!  
Осокорь зеленый  
Погасил свой пыл.  
Юноша влюбленный  
С девушкой уплыл.  
Где за пароходом,  
В беляках каких  
Юношеский звонкий  
Голос тот затих?  
«Пропал я, мальчонка,  
Пропал навсегда,  
А года проходят,  
Как мутна вода...»

## *Сергей Васильев*

### НЕУМОЛКАЮЩЕЕ ЭХО

(Из поэмы о генерале Карбышеве)

Зима прошла.  
Весна минула.  
За летом осень побрела.  
Пути фашистского разгула,  
врагов разбойные дела  
далеко вглубь Страны Советов  
простерлись кровью и огнем.  
И все же в холоде рассветов  
(все очевидней с каждым днем)  
неоспоримо ощущалась,  
вокруг печатала следы  
необратимая усталость  
вконец зарвавшейся орды.  
Нет, то не дождик барабанил,  
не ветер в поле завывал, —  
то русский гнев врагов таранил,  
валил пришельцев наповал.  
То против вражьего доспеха  
катило

грозный голос свой  
неумолкающее эхо  
великой битвы под Москвой.  
То по высокому веленью  
на всех излучинах войны  
росло,

росло сопротивление  
родной Советской стороны!  
С передовой межи,  
оттуда,

сквозь лютый мор, сквозь горький  
пал

до слуха лагерного люда  
накал сражений долетал.  
И раньше всех, конечно, ловко  
известья Карбышев ловил.  
Газеты клоч или листовку  
он спрятать с пользой норовил.  
Микроскопические доли,  
случайных сведений гроши  
бодрили сокола в неволе,  
питали жар его души.  
Напором внутреннего зренья  
он добывал в них ключ такой,  
что кривотолки и сомненья  
как будто смахивал рукой.  
И в жадном воинском азарте  
чертил,

надеждой озарен,  
на самодельной хитрой карте  
картину битвы с двух сторон.  
Глядел,

искал, соизмеряя,  
лучом предвиденья храним.  
И ширина родного края  
вразгон стелилась перед ним.  
И,

замерев,  
друзья читали

с догадкой,  
 вдопуск,  
 между строк  
 окрепший почерк отчей стали  
 на дальних линиях дорог.  
 За это Карбышева чтили,  
 всем пылом сердца берегли,  
 любовью верности любили,  
 обогревали, как могли.  
 И даже с целью уваженья  
 «соорудили» торжество —  
 решили справить день рожденья  
 старшего друга своего.  
 По малой капле,  
 понемножку  
 копили к часу именин  
 в мундире мерзлую картошку,  
 в кульке прогорклый маргарин.  
 Наверно, целых три недели  
 шла подготовка к торжеству.  
 И наконец, друзья у цели —  
 пир состоялся наяву.  
 В преддверье сна,  
 когда в бараке

ночник свой староста зажег,  
 в настороженном полумраке  
 сомкнулись узники в кружок.  
 Прикрыли нары рваной тарой,  
 слились в кольцо, вместесь едва,  
 и в центре —  
 выбритый, поджарый,  
 седой виновник торжества.  
 Плечо к плечу.  
 Живой подковой.  
 И крепок был, спиравший дых,  
 холодный кофе желудевый  
 в измятых кружках жестяных.  
 И, словно к бою приготовясь,  
 за тостом тост тишком взлетал:  
 — За честь!  
 — За мужество!  
 — За совесть!  
 — За вас, товарищ генерал! —  
 И воспаленными словами,  
 толчком из самого нутра:  
 — Победа... будет все ж за нами!  
 — Враг все же будет бит! Ура!

## Сергей Наровчатов

История этих стихов печальна и, если угодно, романтична. Я стихи считал пропавшими и, написав их в блокадном Ленинграде 1943 г., помнил только название «Утро над Невой».

В позапрошлом году мне их прислал из Новосибирска Леонид Решетников. Он готовил к печати книгу Георгия Суворова, хорошего поэта, рождением и воспитанием сибиряка. В поисках материалов составитель обратился в Нарву, под которой погиб Г. Суворов. В нарвском музее хранилась полевая сумка поэта-гвардейца. Ее вскрыли и среди полуистлевших бумаг обнаружили эти стихи.

Георгий Суворов был моим близким другом, я послал ему стихотворение с одного участка фронта на другой. Он получил его незадолго перед своей гибелью на нарвском льду зимой 1944 г. Прошло почти тридцать лет, и стихи вернулись ко мне. Здесь можно бы было вывести приличествующее случаю умозаключение, но не стоит этого делать. Бывают факты, поражающие именно своей пронзительностью.

### УТРО НАД НЕВОЙ

Рассвет напорист и упрям,  
 Его стремительность чеканна,  
 Зеленоватый по краям,  
 Как медь старинного чекана,  
 Он разрастается в восход,  
 Его ничем не остановишь,  
 Он в рост над городом встает,  
 И нужен новый Шостакович

Для улиц и для площадей,  
 Им открываемых с размаха,  
 Где жизнь и радостней и злей,  
 Хоть также порохом пропахла.  
 Здесь с бытом бой ходил в ровнях,  
 Но почерк ленинградских буден  
 Уже не в том, что каждый шаг  
 В них сбивчив, горестен и труден.

Но в том — что, бедам обучась  
И опрокидывая беды,  
В них для борьбы не мыслим час,  
Как день не мыслим без победы.  
И город бурь, и город гроз,  
Он тем еще войдет в преданье,  
Что он не только перенес,  
Но перерос свои страданья.  
Еще дымится грозовой,  
По-над Невой не стихший ветер,

Но гордый город над Невой  
По-прежнему высок и светел.  
Рассвет, — чтоб темь вчистую сместь, —  
Чеканщик опытный и спорый,  
Оправил в кованую медь  
Его граненые просторы,  
И светом залита Нева,  
И — над обломками блокады  
Вступает, властное, в права  
Большое утро Ленинграда!

1943

## Егор Исаев

### ГЛАВНАЯ РЕКА

(Из новой поэмы)

Он был давно поставлен на подковы,  
За год, кажись,  
А может, и за два  
До рождества,  
Понятно не Христова,  
До твоего, понятно, рождества  
Поставлен был.  
И при любой погоде —  
Хомут, понятно,  
И, понятно, кнут...  
Вот с той поры  
В крестьянском обиходе  
Его набольше лошадью зовут.  
Чуть свет — ходи!  
И тут уж будь покойный, —  
Пойдет,  
Потянет,  
Благо не впервой.  
И по прямой пойдет,  
И по окольной,  
Лишь был бы тот, кто правит,  
С головой.  
И ничего, что где-то чуть споткнется  
И малость сдаст —  
Бывает. Ничего.  
И все равно  
Красавцы-иноходцы  
Не перепляшут иноходь его.

Постромки рвут,  
А тяги, тяги нету.  
Копытом бьют,  
Да где уж, где уж им!  
За ними что? — пустые километры  
И степь врасстяжку?

А за ним,  
За ним,  
За тягловым,  
Не просто так — врасстяжку —  
Навалом степь,  
Не сгорбится пока,  
В снопах, в мешках,  
А сверх того — фуражка,  
А под фуражкой — думы мужика.  
За ним — возы!  
За ним — крутые дали!  
Возы... Возы...  
Не счесть его возов.  
И никаких, представь себе,  
Медалей.  
И никаких, представь себе,  
Призов.  
Возы... Возы...  
Как избы на телегах.  
Возы до слез, до жалобы в осях.  
А все, что не доверстывал до снега,  
Наверстывал по снегу  
На санях.  
Возы... Возы...  
Вези уж, коль ты лошадь!  
Всю жизнь — вези! —  
А жизнь, она — гора.

Когда там все фундаменты заложат!  
Когда там заведутся трактора! —  
Возы... Возы...  
Со стоном подполозным.  
Возы в жару  
И в слякоть-непролазь...

Оно конечно,  
Слава паровозам,  
Но разве с них дорога началась?  
У них — железных! —  
Сила заводская  
И ход — куда там! —  
Оторопь берет.

Но говорят, что книга есть такая,  
Неписаная книга есть.

Так вот  
В ней сказано —  
Быть может, что и спорно,  
Но сказано —  
В допрежние века:  
Земля — от неба,  
Дерево — от корня.  
И далее:  
Река — от родника.  
И далее:  
Дорога — от копыта,  
От полоза,  
А полоз — то да се! —  
Извелся весь от страшной  
Волокиты  
И взял да закруглился в колесо!  
И тут пошло!  
Пошло  
На том же вздохе,  
На той же тяге, втянутой в хомут, —  
Когда там развиднеются эпохи  
И книгу ту  
До атома прочтут!  
И что ж!  
Прочли, дознались, домечтали —  
Свели с огнем  
Железную руду.  
И вот она  
Грохочет — сталь по стали, —  
Индустрия  
На собственном ходу:  
— Иду-у!.. Иду-у!.. —  
Раскатисто и ходко  
По магистральным  
шпарит  
колеям...

Эх, кабы вся Россия — посередке,  
А то ведь вон какая  
По краям!

Она и там — у моря-океана,  
Она и тут,  
Где пашут, сеют, жнут,  
Где гнезд пока не вьют  
Аэропланы

И корабли к плетням не пристают,  
А жизнь идет!

Не так, чтоб шибко очень,  
Пешком набольше,  
Редко, чтоб в седле.

Здесь хлеб растят  
И знают, между прочим:  
Земля, она не только на земле,  
А под землей —  
Под этой вот равнинной  
И под нагорной той,  
Под верховой.  
Рабочий класс — он ствольный класс,  
Вершинный,  
А раз вершинный, значит,  
Корневой,  
Глубинный класс!  
А корень где?  
Откуда  
Его могучесть, кряжистость его?  
А все оттуда, друг мой,  
Все оттуда,  
Все от Микулы, пахаря того.  
Все от него, земного,  
Не от бога, —  
Сгибайся в три погибели — паши!  
Костьми ложись,  
А звонкую дорогу  
Достань из-под земли  
И положи,  
Раскинь ее,  
По зернышку стыкая,  
И подыми  
До самых облаков  
На ста громах!

Так вот она какая,  
Та борозда,  
Что испокон веков  
Шла по земле за пахарем-кормильцем  
И за рудничным пахарем —  
Туда,  
Где глубоко-глубоко коренится  
Под родниковым холодом руда.  
Туда!  
Туда —  
По ствольному отвесу,  
Сырой земле  
И камню вперерез...  
А кто сказал,  
Что здесь у нас к железу,  
По деревням,  
Сторонний интерес?  
Уж это зря.

Тут с лаской да с поклоном  
Топор берут:  
Востер ли он, топор?  
А кузня, кузня —  
Звоны-перезвоны —  
Не просто кузня,  
А монетный двор.  
Как без нее?  
Тут в каждой деревеньке,  
Соломой крытой,—  
Крыши подождут —  
Любой железке счет ведут,  
Как деньгам,  
И чуть ли не по батюшке зовут  
Вершковый гвоздь.  
Да будь он трижды гнутый —  
Не бросят, нет.  
Сгодится и такой.  
Спрямят его  
И в должную минуту,  
Как новенький, нацелят под рукой  
Да так вобьют,  
Чтоб намертво сидел он  
И связь держал в соломенном краю.

А трактор взять?  
По тягловому делу  
Он все равно что сродственник коню.  
Идет-гудет!  
Обходит всю сторонку.  
Без хомута, а держится возле.  
Весь городской,  
Железный весь,  
а вон как  
По-деревенски ладится к земле,  
Берет ее  
В пятнадцать лошадиных  
Железных сил,  
Напористо берет:  
Прости-прощай,  
Разлад подесятинный,  
Да будет погектарный разворот.  
Да будет впредь  
Земля с землей родниться.  
Да будет  
Серп и молот на века,  
Как знак того,  
Что будет вечно длиться  
От сердца к сердцу  
Главная река —  
Река труда!  
Всему, что есть на свете,  
Она и рост и ход она дает,—  
Растит хлеба, раскидывает сети  
И руды

из-под спуда достает,

Идет-гудет  
Над радугой-рекою  
Поверх морей, дождей поверх  
И гроз...

А будет,  
Будет,  
Будет и такое,  
Она — поверь! —  
Без крыльев, без колес  
Ударит оземь  
Тягловым пожаром  
И на такие вымахнет верхи,  
Каких сам бог не видывал, пожалуй,  
И дьявол сам посредством кочерги  
Не ворошил!

Но там, но там,— чуть сбоку  
Звезды полей —  
У звездного ковша,  
Она земле помолится — не богу,  
Земная,  
Вознесенная душа.  
Да, да, земле!  
Той самой с облаками,  
Родимой той  
И незабвенной той,  
Где родники  
роднятся  
с рудниками,

А кровь-руда  
С рудничною рудой.  
Ей — только ей! —  
Воздастся полной мерой  
От рудных недр  
До стебля с колоском,  
За хлеб, за соль,  
За первый шаг,  
За первый  
Невнятный слог,  
За слово с корешком,  
За свет,  
За мысль,  
За трудный дар познания,  
Так широко  
Отшторивший зенит,  
За вечный зов,  
За берег ожидания,  
За весь ее нетягостный магнит  
Воздастся ей!  
Вот это будет чудо.  
Невиданное чудо из чудес.  
Ну а покуда, друг мой,  
А покуда  
Он здесь растет — высокий интерес, —  
Здесь, на земле —

Где, не минуя дали магистральной,  
Везет свое  
Проселочная даль.

\* \* \*

\* \* \*



## ЛИСТЬЯ ДУБОВЫЕ

Листья дубовые! Листья дубовые!  
Стук желудей!  
Пусть расползутся ненастья суровые  
С наших полей.

Пусть улыбнется нам солнышко ясное,  
Звезды горят.  
Листья дубовые! Сучья угластые!  
Злат листопад!

Добрую силу, густую, медвяную  
Дайте ветрам.  
Сыптесь в рубашку мою полотняную,  
Кланяюсь вам.

Сыпсья, прошу, в рукава мои белые,  
Стук желудей!  
Пусть они, ветры, веселые, смелые,  
Грянут скорей.

Сыптесь в мое полотно непорочное,  
Кланяюсь вам!

\* \* \*

В моем селе устроили музей,  
В пустом доме заброшенной читальни.  
И старый хвощ у самых у дверей  
Уже гласит о нашем изначальи.

И разместили там во всех углах  
Все, чем богаты здесь холмы и чащи:  
Снопья ржаные, и наколки птах,  
И всё как есть в музее настоящем.

И вот со всех подставок и со стен  
Предстала вся история округи:  
И снимки изб до полуста колен,  
И всякие седелки и подпруги.

И наши предки в дымных бородах  
Собрались там — на корточках и стоя,  
И мой отец в буденновских ремнях,  
И все другие местные герои...

И вот стою, гляжу по сторонам,  
И подхожу к родным забытым лицам...

Пусть они скроются, грозы полночные,  
Злобные к нам.

Дайте собрать вашу сень многодумную,  
В узел связать.  
Дайте средь поля на дерево шумное  
Узел поднять.

Листья дубовые! Сучья угластые!  
Злат ворошок!  
Дайте подвесить под сени гривастые  
Думный мешок!

Пусть он качнется под той наговорною  
Кущей моей.  
Пусть она схлынет, вся нежить упорная,  
С наших полей.

Добрую силу, густую, медвяную  
Дайте ветрам.  
Сыптесь в рубашку мою полотняную,  
Кланяюсь вам.

Вот это — парк, а это — бывший храм,  
А это — наша старая больница.

И по спине проносится озноб:  
Года, года! Когда ж вы так успели?  
У церкви той не я ли сено греб  
И надо мной черемухи шумели?

Хожу, смотрю, гляжу на все верхи,  
И все чего-то вроде не хватает...  
Ах, черт возьми! А где же тут стихи,  
Что нынче вся криулинская знает?

И где он тут — сельчанин самый тот,  
Что в песнях тех поля свои прославил?..  
И грустно мне, и смех меня берет:  
Никто нас, брат, на стенде не поставил.

А не мешал бы все же тут портрет,  
А может даже — целая витрина:  
У нас в селе, мол, рос такой поэт  
И вот его, мол, злая образина.

ОТ ЛАМЫ ДО СОРОТИ

I

От Пушкинской аллеи невдали  
Я услышал весенний крик природы,  
В поспешливости робкой принял роды —  
Травинку острую —

у ласковой земли.

А остров Соловьиный пел зарю.  
Под тихий шелест песни колыбельной  
Сказала мне земля:

благодарю! —

Всей прелестью своею беспредельной.  
Над милой Ламой плыли облака,  
Над липами,

над обликом Натальи.

Они касались бережно виска,  
Они мне были давние шептали.

И, ликом светел,

шел ко мне поэт

В великом свете песенного мая.

Я,

глубины еще не понимая,

С живым поэтом сравнивал портрет.

И узнавал,

и «Узника» твердил,

Потом шептал отрывок из «Полтавы»,

А он все ближе,

ближе подходил

С улыбкою рассеяннo-усталой.

Я не успел в глаза ему взглянуть,

В бездонные —

души его —

колодцы, —

Стал взрывами зенитными колоться

Высокий воздух...

Захлестнуло грудь

Волной войны...

Которую весну

Мне слышится протяжный зов природы...

Все трепетней я жду его прихода

В высокую,

как небо,

глубину.

II

Горел в бреду,

шалел в жаре,

В дождях протяжных мок,

Чтоб на Синичьей на горе

С ним встретиться я смог.

Крутая,

ломкая тропа

К нему меня вела —

Сто пар обмоток истрепал,

Сжег молодость дотла.

Друзей бригаду схоронил,

И с каждым —

клок души...

Пришел я.

Колокол звонил

Над ним в седой глуши.

Тлел март.

Теплело.

В сосняке

Дробь дятла по коре...

Стою — треух держу в руке —

Я на Святой горе.

И никого...

Не подглядят.

Нам хорошо одним.

Не наследят,

не изгаддят

Мое свиданье с ним.

Как высоко он надо мной —

Под черною плитой...

Дышу предчувствием,

сосной,

Прозрачной высотой.

Ни сожаленья,

ни тоски.

Просторно и светло...

Касается моей щеки

Дыхания крыло.

III

Как брезентовой лямкой по шее,

Как тычком —

в перекрестье души, —

Возле Савкиной горки траншеи,

По-над Соротью —

блиндажи.

А когда я по мартовской сини

Проходил,

торопясь,

Маленцом,

Мне живица на хвойной лесине

Показалась застывшим свинцом.

пью...

как свеча.

✻   ✻   ✻

**AHHA**

Комок, замирающий в ребрах.  
И песню плывущего дня,  
И женщин, прекрасных и добрых,  
За что-то любивших меня.

## Виктор Афанасьев

\* \* \*

Там на горе, над озером, в бору,  
во тьме ночной воркует медь оркестра,  
и город дремлет под его игру,  
и деревенек не слышать окрестных.

И старина здесь словно не стара,  
не спит и в сосны дует, как в свирели,

и музыкой окутана гора,  
и даже сосны здесь не постарели.

Чья музыка — не все ли мне равно,  
все слушает и все объято думой,  
хотя оркестр умолк уже давно  
и слышен только сосен гул угрюмый.

### СИРЕНЬ

*Памяти старшего брата*

Он вышел утром в сад больничный  
в штанах, заправленных в носки,  
и ощутил прилив привычной,  
сиренью пахнущей тоски.

В ее кистях шмели гудели,  
сверкала каплями вода,  
она цвела уж две недели  
и отцветала навсегда.

Сирень и он — им легче вместе,  
в последний раз в то утро им  
казались будущего вести  
недолговечными, как дым.

Они там неразъединимы...  
Но где же та м? Я вышел в сад —  
вот пятна розового дыма  
в зеленом сумраке сквозят.

Нет, этот дым совсем не дума,  
не та сирень, и он не тот,  
и ветер призраком недуга  
сырые ветки не сосет.

Он смотрит пристально и влажно,  
как тень давно минувших лет,  
и думы горькие — не важно,  
кто навевает, — он иль нет.

### СВЯТОГОР

Где ступит конь — там выступает влага,  
а звери так и прыскают из нор.  
Степь широка. Не знает Святогор,  
зачем ему могучесть и отвага.  
Пустыня! Только льются ковыли.  
Безлюдье. Солнце. Небо. Край земли.

Ах, сила мышцы ломит — не с кем биться,  
иль в небо — крюк, а в землю бы другой  
и степь перевернуть одной рукой —  
да не перед кем этим похвалиться...  
Так по степи, потупя хмурый взор,  
неспешно едет старый Святогор.

Да не пусты бескрайние просторы —  
там, в балке, старцы у костра, в дыму  
хрипят и дуют в малую суму,  
и шамкают, и шепчутся, как воры,

все горе мира в сумочку гоня...  
Ушли, суму оставив у огня.

Где ступит конь — там выступает влага,  
а звери так и прыскают из нор.  
На дым, идущий струйкой из оврага,  
наехал вдруг могучий Святогор:  
поддел хлыстом невзрачную суму,  
хотел поднять — не удалось ему.

«Да как не так! Во мне ли силы мало!» —  
сошел с коня, суму руками хватъ —  
натужился и начал поднимать:  
земля под Святогором затрещала,  
и кровь и слезы у него из глаз,  
уже по пояс в землю он угрыз,  
а тут и смерть его настала.



## Эдуард Балахов

\* \* \*

Я слышу музыку весны,  
Стреляющие звуки почек.  
И листья пробуют на ощупь  
Шуршащий воздух тишины.

Я слышу музыку дождя.  
В твоей руке трепещет зонтик.

А дождь еще не дождь, а дождик,  
И льнет к тебе он, как дитя.

Какая музыка — слова!  
На свете песен не убудет,  
Хоть шелестит о том, что будет,  
И прошлогодняя трава.

\* \* \*

О любви вздыхающие строки.  
Молчаливой памяти упреки.  
Сердца замирающая быль...  
Осенен я нежной стариною —  
Облаком, плывущим надо мною.  
Неужели все мои восторги —  
Лунная встревоженная пыль?

О луне теперь иные толки  
В нашем рассудительном поселке:  
Что вздыхать, когда рукой подать!

Прояснение в беспредельном мраке  
И не только бедные собаки,  
Но и вымирающие волки  
При луне забыли тосковать.

Выпала любовная страница  
Из письма, что за душой хранится.  
Все тельца сосчитаны в крови.  
Но меня опять смущает ветер.  
Приливает к сердцу теплый вечер.  
И луна летит во мгле, как птица,  
И как прежде светит для любви.

## Яков Белинский

### УСПЕНСКОЕ ШОССЕ

На Николину гору!..  
мчи, машина, гони,—  
мимо — чащи, заборы,  
дачи, ночи и дни...

На Николину гору!..  
тем же самым путем,—  
бросив каменный город,  
все, что рядом и в нем...

На Николину!..  
с ходу! —  
в тот же радостный ад —  
как тогда,  
как три года,  
как полгода назад...

На Николину!..  
снова! —  
это сон или зов? —

вдоль дороги сосновой —  
снова без тормозов...

На Николину!..  
тронув  
шиной — дрогнувший мост —  
и по лаве гудронной  
вдоль рябящих берез...

На Николину!..  
за три  
получаса берусь —  
ты просила — и в завтра —  
постараюсь, домчусь...

На Нико...—  
может статься  
весь навыворот свет —  
и тебе снова двадцать,  
мне всего тридцать лет...

На Нико...—  
гаснет ветер,  
и увидеть пора —  
т о й Николиной нету,  
есть д р у г а я гора...

На Нико...—  
только за три  
получаса?.. Игра! —  
Есть дорога лишь в завтра,  
нет пути во вчера.

На...  
Никто не в ответе  
и ничто — не виной...  
Я съезжаю к кювету  
по гряде травяной.

Немо в утреннем синем,  
словно рухнул обвал.  
Душно пахнет бензином,  
Остывает металл...

\* \* \*

✻   ✻   ✻

✻      ✻      ✻

Цветочный мед потек слезой соленой...  
Шагал я с вами,  
жизни не щадя,

Но удалось врата страданья мне

Пройти,—  
как те — лесные —  
ветровые,—  
Со светлой верою,  
что неживые  
Простят живым разлуку на войне.

\* \* \*

Я не таюсь:  
свой стих я отдаю  
Любому, кто захочет, на расправу.  
Он вам по нраву или не по нраву,  
Вы гордость не заденете мою.

Скажу одно:  
туманные намеки  
Искать в моем стихе то там, то тут —  
Уж вы поверьте мне! —  
напрасный труд.  
Когда мне сладко —  
медом пахнут строки.

*Перевела с еврейского Н. Горская*

## *Анатолий Бранин*

\* \* \*

Когда ушли бои от нас,  
Забыв свои манатки,  
Попался мне противогаз —  
Резина для рогатки.

Потом попалась каска мне —  
И тоже пригодилась:  
Под бугорком частенько в ней  
Грачатина варилась.

Я пацаном в ту пору был  
И в жизни смыслил мало:  
Отец на фронте немцев бил,  
А я грачей и галок.

С друзьями лазил по садам,  
Курил на сеновале...

Нас безотцовщиной тогда  
За это называли.

«Ишь, взяли волю, сорванцы! —  
Грозили нам старухи.—  
Вот погоди, придут отцы,  
Они возьмут вас в руки!»

Смеялся фронт издалека  
Над этими словами.  
Пришли домой два мужика  
С пустыми рукавами.

Другие вовсе не пришли,  
Остались там, где были;  
Обняв сырую грудь земли,  
Про сыновей забыли!



## Владимир Бурич

\* \* \*

Детство

Северный полюс  
ангины

к ноге прижался  
теплый тюлень грелки

голову сжали  
наушники земных полушарий

термометр  
вынутый из подмышки  
показывает  
температуру океана.

## ЭСТОНСКИЙ ВИТРАЖ

Поле  
шлет в город  
буханки хлеба  
и камня

пьет болотную воду  
керамическим горлом

Мокрый ягненок стога  
стоит  
на березовых ножках

Трактор  
натягивает струны  
на вечное кантеле  
пашни.

## Александр Богучаров

\* \* \*

Я далеко от матери ушел,  
От бабушкиной рощи удалился.  
Вослед дымок моей деревни вился  
И нежным облаком в вечернем небецвел.  
Не изменить, не плакать, не вернуть,  
А возвращенье — миг перед уходом.  
И дымный ветер остудил мне грудь,  
И задыхаюсь перед старым бродом.  
Блеснул платок на скошенном лугу.  
Скрипел песок под лодкою пустою.  
Осталась мама там, на берегу,  
Как в сорок первом, самой молодою.

\* \* \*

Все лучшее осенью в поле,  
А значит — все лучшее в нас.  
И музыка русская, что ли,  
Надеждой печалит сейчас.  
Сейчас я прощаю обиды,  
С порога окликну врага  
И с ним за околицу выйду  
Увидеть мои берега.

\* \* \*

В деревне, в дороге, в больнице,  
В распутицу и в снегопад  
Не скрыться тебе, не забыться,  
Вернуться положено, брат.  
И все, что поныне терзало,  
И жжет, и терзает вдвойне.  
А сколько товарищей пало,  
А сколько неведомо мне,  
А сколько в пути оступилось,  
А сколько теперь не дошло,  
И все, что слезою пролилось,  
Тебя сединой обожгло.

Вздохнет он, томимый тщетою,  
О жизни пропащей своей...  
По осени чувство святое  
Тревожнее, чаще, живей.  
Земля отдает, на жалея,  
И мы отдаем, не скорбя,  
И, день уходящий лелея,  
Узнаем однажды себя.

## ОПЫТ ЗАВЕЩАНИЯ

Урезоним огонь,  
топоры подберем,  
катерок пропихнем через мели...  
Все оставим как есть —  
все обратно вернем,  
чем без мала неделю владели.

Эту синюю зелень на том берегу,  
эту синюю в прозелень воду,  
этот плес,  
этот мыс,  
эту в небе дугу,  
соловьиную с громом погоду...

Как сучки на растопку,  
что в ход не пошли,  
как поленья,  
что не догорели,  
оставляю дремотные сосны вдали,  
оставляю дремучие ели.

Ни пилить, ни рубить тут никто не мешал,  
и рубил, и ломал, что ломалось.  
Не дарю, не теряю, а просто не жаль.  
Оставляю лишь то,  
что осталось.  
Как лаврушку в дупле,  
как бутылку на пне,  
как кулек неистраченной соли,  
острова оставляю —  
на что они мне?  
Перекаты —  
по собственной воле.

Легкокрылый денечек, не дожитый  
здесь,  
отпускаю, к отходу готовясь.  
Потому лишь, что время свободное  
есть,  
составляю прощальную опись:

оставляю мудрейших неклюнувших  
рыб,  
пусть удачей своей щеголяют.  
Возле самой палатки родившийся гриб  
на судьбы произвол оставляю...

Как хотел, так и жил,  
ничего не берег,  
и никто не стоял над душою,  
а пожить как хотеть —  
ни словца поперек! —  
дело до удивленья большое.

Оставляю стакан —  
не хочу ни глотка...  
О, как смахивает на великость  
эта полная ясность,  
эта, до холодка,  
непривычная трезвая лихость:

умудряясь во здравом рассудке пребыть,  
полагаясь на твердую память,  
честь имею отбыть,  
ничего не забыть,  
все своею рукою  
оставить.

Лариса Васильева

\* \* \*

Сумрак,  
суморок,  
сумер...  
Натянулась струна — порвалась.  
Я узнала — ты нынче умер,  
в черном небе звезда родилась.

Вся земля о тебе рыдала,  
я не плакала — ты просил,  
чтоб живым тебя вспоминала.  
Ты любил меня.  
Ты простил?

Близ Владимира над могилой,  
над покоем сторожевым,  
я одной владею силой —  
вечно помнить тебя живым.

Среднерусские тихие реки  
мы не раз еще переплывем.  
Ты уйдешь от меня навеки  
лишь со смертью моей вдвоем.

*Петр Вегин*

### МАДЬЯРСКАЯ КОРЧМА

Итак, Фаркаш, музыка!  
Итак, до-ре-ми-соль...  
Склони свою неразумную голову к скрипке  
и смычком взрежь тишину,  
как взрезают вены,  
и докажи, что у нас в крови  
кроме красных и белых шариков  
есть еще шарики музыки!

Вот так, Фаркаш: до-ре-ми-до...  
Скальпель смычка!

Ну, попробуй, совладай с собой,  
совладай с этим зовом музыки в крови,  
когда курчавый флейтист  
подчиняет себе  
все тридцать четыре твоих позвонка,  
и рассыпанная канифоль взвизгивает под каблуками,  
и в мире есть лишь до-ре-ми,  
есть Фаркаш,

стоящий то ли на ступеньках,  
то ли на облаке надо всеми,—  
живой скрипичный знак с цыганскими глазами,  
черт, сменивший медную ступку на смокинг,  
сквозь дым и музыку почти неразличимый...

Вот так:

в корчме до-ре-ми-соль,  
а на дво-ре-до-ре-ме-тель!  
Ах, Фаркаш,  
люди в музыке чисты, как снег,  
все перед музыкой равны.

Вот так:

подпивший часовой мастер, профессионально  
щуря бесцветный глаз,— с костлявой  
певичкой,  
квартирный, забыв, что он власть и закон,  
с хрустальной женой ювелира,  
студентка, фотограф, цветочница, клоун,

зеленое — с белым, желтое — с красным,  
и под каблуками скрипит канифоль...

До! Ре! Ми! Фа!

Боль!

Нет такой струны, регистра, нету ноты — боль,  
это может только Фаркаш на своей скрипке  
провести через до-ре-фа-ми-соль

до-Боль,

чтобы все, что наболело, выплеснулось в танце!

Эта скрипочка простая, эта музыка проста,  
еще проще — кто танцует, еще проще — музыкант.  
Кто не слышал, тот услышит, а кто слышал, может быть,  
скажет: — Это удивительная музыка! — а может,  
пробубнит: — Провинциалы, это сущая буза...

Несмотря на это, Фаркаш, неразумной головою  
прислонись к усталой скрипке, припади,  
и до-ре-ми-фа, бузи свою Бузыку,  
а мы под эту музыку

станцуем и умрем!

\* \* \*

— Прошу тебя, придумай что-нибудь,  
так дальше невозможно жить! Ты знаешь,  
что ты в судьбе моей незрячей значишь.  
Любимая, придумай что-нибудь!

Хоть что-нибудь придумай,  
потому что  
без тебя рушится это стихотворение,  
и я из-под его обломков  
прошу тебя:  
— Придумай что-нибудь!..

«Я уже ничего не умею и только люблю».  
Так написал в 1913 году  
Гийом Аполлинер.  
Я опять ничего не умею и только люблю.

Но ты лежишь, вдыхая тишину,  
дыханьем оживляя тишину,  
и шепчешь, обессилив от отчаянья,  
как я шептал, бессильный от отчаянья:

— Прошу тебя, придумай что-нибудь,  
так дальше невозможно жить! Ты знаешь,  
что ты в судьбе моей незрячей значишь.  
Любимый мой, придумай что-нибудь...

— Любимая,  
придумай что-нибудь...

## БОЙНИ ПЕРЕД СНОСОМ

Памяти чикагских боен

I

Я как врач с надоевшим вопросом:  
«Где больно?»  
Бойни старые приняты к сносу.  
Где бойни?

II

Ангарообразная кирпичага  
с отпечаившеюся опалубкою.  
Отпеваю бойни Чикаго,  
девятнадцатый век оплакиваю.

Вы уродливы, бойни Чикаго,—  
на погост!  
В мире, где квадратные  
                        виноградины  
  Хэбитага¹  
собраны в более  
                        уродливую гроздь!

...Опустели, как Ассирийская мо-  
нархия.  
На соломе засохший навоза кусочек.  
Эхом ахая,  
вызываю души усопших.

А в углу с погребальной молитвою  
при участии телеока  
бреют электробритвою  
последнего живого теленка.

У него на шее бубенчик.  
И шуршат с потолков голубых  
крылья призраков убиенных:  
рыжий бык, черный бык, синий бык.

Ты прости меня, рыжий, убитый!  
Ты о чем наклонился с высот?  
Свою голову с думой обидной,  
как двурогую тачку, везет.

Ты прости, мой печальный кузенчик,  
усмехающийся кирасир!

С мощной грудью, как черный  
кузнечик,  
Черно-красные крылья носил.

Третий был продольно распилен, точно страшная карта страны, где зияли рубцы и насилия  
человечьей наивной вины.

И над бойнею грациозно  
слава реяла, отвеая,  
словно дева туберкулезная,  
кровь стаканчиком попивая.

Отпеваю семь тощих буренок,  
семь надежд и печальных уронов,  
чья спина от крестца до лопатки  
провисала, будто палатки.

Отпеваю стадно-спокойных чемпионов будущей бойни, тебя, будущая отбивная, отпеваю!..

Но звенит коровий сыночек,  
как председательствующий в  
звоночек,  
это значит: «Довольно быть.  
Подойди. Услышь и увидь».

### III

Только эхо в пустынной штольне.  
Боев нет в Чикаго. Где боины?

IV

И я увидел: впереди меня  
стояла Ио. Став на четвереньки,  
с глазами Суламифи и чеченки,  
стояла Ио. Посредине луга  
стояла Ио. Нимфина спина,  
горизонтальна и изумлена,  
была полна жемчужного испуга,  
дрожа от приближения слепня.  
(Когда-то Зевс, застигнутый супру-

любовницу в корову превратил  
и этим кривотолки прекратил.)

<sup>1</sup> Хэбитаг — выстроенный в Монреале дом нового типа, сложенный из отдельных домиков, как из кубиков.

Стояла Ио, гневом и стыдом  
полна. Ее молочница доила.  
И, вскормленные молоком от Ио,  
обманутым и горьким молочком,  
кричат мальцы от Кливленда до Рио:  
«Мы — дети Ио!»

Ио — герои скромного порыва,  
мы — ио!  
ио — мужчины, гибкие как ивы,  
мы — ио,  
ио — поэт с призванием водолива,  
мы — ио,  
ио — любовь в объятиях тоскливых  
обеденного перерыва,  
мы — ио, ио,  
ио — иуды, но без их наива,  
мы — ио!

Но кто же мы на самом деле? или  
нас опоили? но ведь нас родили!  
Виновница доилась и скучала,  
позор античный вспоминала вяло.  
«Страдалица!» — ей скажет в простоте  
доярка. Кружка вспенится парная  
с возвышенным процентом ДДТ.

V

Видно, спал я, стоя как кони.  
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

VI

Но досматривать сон не стал я.  
Я спешил в Сент-Джорджский Собор,  
голодающим из Пакистана  
мы давали концертный сбор.

Миллионы братьев в удушьях,  
миллионы сестер худущих,  
груди — выжатые лимоны,  
миллионы их, миллионы.  
И в честь матери из Бангладеша,  
что скелетик сына несла,  
с колокольчиком, без надежды

я включил, как «Камо грядеши?»,  
горевые колокола!

Колокол, триединый колокол,  
«Лебедь», «Красный» и «Голодарь»<sup>1</sup>,  
голодом, только голодом  
правы музыка и удар!

Колокол, крикни, колокол,  
что кому-то нечего есть!  
Пусть хрипла торопливость голоса,  
но она чистота и есть.

Колокол, красный колокол,  
расходившийся колуном!  
Хохотом, ахни хохотом,  
хороша чистота огнем.

Колокол, лебединый колокол,  
мой застенчивейший регистр!  
Ты, дыша, кандалы расковывал.  
Лишь возлюбленный голос чист.  
Голос чист, пока вы без трещины  
и серебряников в вас нет.  
Аллилуйя вам, хлеб и женщина,  
и рождаемый вами свет.

Колокольная моя служба,  
ты единственная моя страсть,  
но кому-то ежели нужно,  
чтобы с голоду не упасть,

даю музыку на осьмушки,  
чтоб от пушек и зла спасла.  
Как когда-то царь Петр на пушки  
переплавил колокола.

VII

Онемевшая колокольня.  
Боев нет в Чикаго. Где бойни?

---

<sup>1</sup> Знаменитые ростовские колокола.

## Николай Глазков

### ПЕСЕНКА

Сияет Большая Медведица,  
Полярная светит звезда...  
У нас на земле гололедица,  
Я думаю, что ото льда.

Пути и дороги заснежены,  
Я сам не по травке иду —  
И вижу, как милые женщины  
Проходят по скользкому льду!..

И каждая сто двадцать пятая  
На льду поскользнется впотьмах  
И молвит, торжественно падая,  
Тревожное «ох» или «ах»!..

Прохожий! Кто ты, я не спрашиваю.  
По снегу и льду не беги,  
Но, женщину видя упавшую,  
Ей на ноги встать помоги!

## Татьяна Глушкова

\* \* \*

Корабль одинокий несется.

*Лермонтов*

Все длинней новогодние ночи,  
все горчей запах спутанных хвой,  
и беспутная почта, и почерк,  
ни штрихом не похожий на твой...

Погляжу молодыми глазами,  
разожгу две высоких свечи  
и «Из Цедлица» снова на память  
стану нежные строки учить...

Что за сказки певались ночами!  
Что за речь в наше горло текла!  
Что за детство нам выпало! С нами  
так судьба молода, весела!

Как румяны крещенские зимы!  
Как метет по военной земле!  
Мы еще не видали России,  
мы — в Украине, украдкой, в селе,

где — коптилка, младенчество, голод,  
где — не запад, не юг, не восток;  
как далек мой разрушенный город,  
как он там одинок, одинок!

Новый год. Что ни день — високосен.  
Ни огня, ни хвоинки со мной.  
Но цветенье смолистое сосен  
вспыхнет осенью, летом, весной!

Уцелеем. Не выдан, не съеден  
этот нищенский, дерзостный дух.  
Сколько зим, сколько верст до победы?  
Сколько надо бессмертных старух,

чтобы звуки памятной речи  
не старели, чтоб снова, во тьму,  
я писала — на отчет, на вечном —  
то ль тебе, то ли бог весть — кому!

\* \* \*

*Б. Слуцкому*

Страница, странница, страна...  
Коснусь струны — и свет струится...  
Язык родной, как дух томится!  
Какая вольность нам дана!

Какая рознь, какая связь, —  
но вот сливается, двоится  
блаженство, вздор, причуда, власть  
твердить то — «кажется», то — «мнит-  
ся»...

Какая спесь! Но мне слышна  
на переломе ночи звездной  
твоя лесная тишина,  
разлитая по птичьим гнездам.

И вот уже почти в руке  
трепещет ветер, ветка, птица,  
и вновь висишь на волоске —  
и не касаешься страницы...

## *Владимир Гнеушев*

### ЗА КАЖДОГО ИЗ НАС

Обидели зачем-то человека.  
Уходит он, обидой поглощен.  
Как будто бы слепой или калека  
ступает в лужи сумрачные он.

Все для него отныне и навеки  
пойдет не так, увидится не так.  
Горюю я об этом человеке —  
родня он мне по людям, как-никак...

И женщина смеется, будто плачет.  
Снег оплывает каплями с ресниц.  
Вот замолчала резко. Это значит —  
сейчас заплачет. Чувствам нет границ.

Она бежит, как горестное чудо,  
сквозь белый снег, за первый поворот.  
Куда она торопится? Откуда?  
Где радость этой женщины живет?



Дрожит вино на краешке стакана,  
засалено пальто у старика.  
Туманно в небе. На душе туманно.  
И холодна, как мертвая, рука.

Где слово взять единственно простое,  
чтоб старику, хоть в малости, помочь?  
Но отшумело утро золотое,  
проходит вечер, наступает ночь...

Как часто мы туда или обратно  
спешим и задыхаемся, спеша.  
И пропадает в мире необъятном  
еще одна хорошая душа.

Давайте думать — мы уже не дети.  
Давайте драться каждый день и час  
за каждого из нас на белом свете,  
за каждого, товарищи, из нас.

## Александр Говоров

### РУСЬ ВЕЧНАЯ

#### Триптих

*Светлой памяти С. Т. Коненкова*

#### 1. ЛЕСОВИЧОК

— Сосновый?  
— Бор!  
— Еловый?  
— Бор!  
Бор, березняк, дубрава...  
Вон бор въезжает на бугор,  
Как войско на заставу,  
И, въехав,  
Замерло:  
— Ай, ширь  
По всей святой округе!..—  
И дуб как русский богатырь  
В сверкающей кольчуге.  
И каждый кованый листок  
Налит тяжелым звоном.  
И кажется, Лесовичок  
Идет к нему с поклоном.  
Тряхнув седую головой,  
Подносит хлеба с солью.  
Земли коснувшись бородой,  
Зовет его к застолью.  
Ведет к себе Лесовичок,  
Справляясь о здоровье.  
Он убирает и сучок,  
И камешек с дороги.  
И перед тем как сесть за стол,  
За скатерть-самобранку,  
Он, оглядев могучий ствол,  
На нем залечит ранку...  
Ему легко в лесу идти,  
Нести свою котомку,

Погладит нежно по пути  
И божью коровку,  
И добрый даст совет шмелю,  
Где нынче меда больше,  
Поможет к дому муравью  
Нести бревно...  
И после  
Стоит и шепчет он:  
— Леса!  
— Леса!  
— Леса!  
— Эй, вы, леса!  
Эй вы, леса родные!—  
Глядят с полян во все глаза  
Цветы  
голубые.

#### 2. ДОМОВОЙ

Как хорошо звучит:  
— Домой!  
— Домой!—  
И вот я дома.  
И вот —  
Усталость с плеч долой!  
И остается лишь со мной  
Приятная истома,  
Растекшаяся по избе  
Нежнейшим теплым звоном.  
О, как мечталось

В по-  
 ез-  
 де  
 О встрече с отчим домом!  
 О, как же сладок отчий дым,  
 Легки крыльца ступеньки!..  
 А в горенке:  
 — Тим-тим!  
 — Тим-тим! —  
 Поют часы на стенке.  
 И тот же сытый хлебный дух  
 Светло, душисто вьется,  
 И — тот же сад,  
 И — тот же луг,  
 И — столько ж  
 В окнах солнца...—  
 Что верится,  
 Сам Домовой  
 Сидит на теплой печке  
 И завивает над трубой  
 Седой дымок в колечки.  
 Сидит, усами шевелит,  
 Степенный,  
 Добрый,  
 Сытый.  
 И мир да лад  
 В избе хранит,  
 Хозяин домовитый.  
 Родной очаг сберег опять  
 От бурь и злого слова...

Ну, как же можно обижать  
 Такого Домового?!  
 Поклон, мой добрый Домовой!  
 Привет!  
 Хозяин дома!..

О, как звучит в душе:  
 — Домой!  
 — Домой! —  
 Усталость с плеч  
 Долой!  
 И остается лишь со мной  
 Приятная истома.

### 3. ВОДЯНОЙ

Лишь ночь вздохнет, и над рекой  
 Туман клубами катится,  
 И трубочку сам Водяной

Раскуривает, кажется.  
 Плывет в вечернюю зарю  
 Меж берегов изученных.  
 Плывет и шепчет:  
 — Накурю  
 Туману по излучинам.  
 Люблю над сонною рекой  
 Я трубочку раскуривать,  
 Дымки в туман над головой  
 Закручивать,  
 Раскручивать...—  
 Ах, старче,  
 Одевай давай  
 Туманом землю мягкую,  
 Чтобы пропах мой добрый край  
 Медком и негой мятною,  
 Чтоб жаждой с луга не свело  
 Ни лютика, ни клевера,  
 Не остужалось и село,  
 Не простужалось дерево.  
 Плывет он, радостью светясь,  
 Рукою гладит лилии...

Как тяжело ему сейчас  
 В век этой самой... химии.  
 Как тяжело ему хранить  
 Незлобность и отходчивость.  
 Ведь это ж людям воду пить  
 И рыбкой себя потчевать.  
 А вот поди, пойми людей! —  
 Ведь из-за них не спит ночей —  
 Река — чиста и чист — ручей,  
 Колодезь каждый вычищен...  
 И вот за это,  
 Ой-же-ей!  
 Пугают Водяным детей,  
 Как этим...

Змей-Горынычем!  
 Ну, а ему при всем при том  
 Так тяжело приходится —  
 Прочистит за ночь водоем,  
 А за день... Не отмоеся.  
 ...В туман закутается луг  
 И каждый кустик хиленький.  
 Ох, как бы Водяного вдруг  
 Не отравили химики,  
 Пока он медленно плывет,  
 Пока он спит у бережка  
 Иль трубочку свою сосет,  
 Раскуривая бережно...

## Владимир Гордейчев

### БАЛТИКА — 1947

В сосняке, песком сыпучим, вязким,  
шли мы к некой цели — в первый раз.

Три рубахи, все без запояски,  
весело плескались, пузырясь.  
Только вдруг железно и безлико  
грохотнула даль из-за дерев,  
и догадка смутная возникла,  
от которой стынешь, побледнев.  
Грохот креп, сравнимый только с гулом  
«юнкерсов», не видимых для глаз.  
Ахнув, я тогда еще подумал:

«Третья мировая началась!..»  
Но тотчас же свежестью подунул  
ветер знания полного, в упор,—  
и открылся взгляду по-над дюной  
вздыбленный, грохочущий простор...  
...Пели мы, в волну бросаясь, дети,  
по песку во всю пускались прыть.  
Мог ли кто на целом белом свете  
нас в ошибке нашей укорить?  
Сами мы смеялись над собою.  
Знать, была неопытность виной,  
что могли сравнить мы гул прибора  
только лишь с бомбежкой. С войной.

## Олег Дмитриев

\* \* \*

Уходит старая Москва,  
Как нянька старая, из дому,  
Где поколенью молодому  
Пора вступать в свои права.

Куда как много стали знать,  
Постигли мудрые науки —  
Забыли нянюшкины руки,  
А сказки стыдно вспоминать!

Служила честно, как могла,  
О дорогих своих радела,  
Да молодые то и дело  
Тиранить стали — не со зла...

Опять сказала невпопад,  
Опять замешкалась в столовой,—

Выходит, что у жизни новой  
Свои законы, свой уклад.

А за спиной — то вздох, то смех:  
Из пальцев выскользнула чашка...  
И, в уголке всплакнув, бедняжка  
Прощается, прощая всех.

Еще немножко поживет  
В Волоколамске иль в Калуге.  
Забудутся ее заслуги  
Средь нарастающих забот.

И все же лучший из детей  
Очнется ночью, чтобы снова  
Услышать нянюшкино слово  
Над колыбелькою своей.

### СОВРЕМЕННОМУ ВИЙОНА

Что слышал ты о Франсуа Вийоне?  
Он — сутенер, обманщик, вор в законе:  
Обчистил церковь, избежал погони,

Учил дурному глупых школяров,  
В пороке млел, как косточка в бульоне...  
О, ты не зря к Вийону был суров!

Еще не все! Он заколол монаха  
И виселицы ждал, дрожа от страха,  
Висел на дыбе — только бы не плаха! —  
Рыдая, падал в ноги палачу,  
Кутил, не отряхнув одежд от праха...  
О, как ты прав: «С ним знаться не  
хочу!»

Еще он сочинял стишки срамные,  
Их распевали пьяницы смурные.  
(А то, что за творения иные  
Он герцогом был щедро награжден,  
Не обелило дни его шальные...) —  
Ты прав: ужасен Франсуа Вийон!

## БОРИСОГЛЕБСКИЕ СЛОВОДЫ

Занавесь откинулась лесная.  
Посреди снегов —  
Белый город. Звонница сквозная,  
Без колоколов.

Хорошо от синевы, от шири!  
Краткая верста.  
Белый город. Церковь на отшибе,  
Купол без креста.

А потом мы смотрим на окрестность  
С башни угловой,  
Как смотрели только что на крепость  
С белой головой.

## ЛИЦО

Говорю с тобой сейчас,  
От любви не излечась  
Дальней стороной.  
Может, бог глядит на нас  
Сквозь прищур печальных глаз  
Женщины родной?

Осыпаются дожди,  
Им не видно впереди  
Краю и конца.  
Холод горней высоты  
Проступает сквозь черты  
Грустного лица.

Но божий суд настиг бродягу скоро:  
Его казнили после приговора —  
Повис в петле, не избежал позора!  
(Вот служ другой: что негодяй Вийон  
Был ночью принят за другого вора  
И умерщвлен такими же, как он!)

И все же мир толкует о Вийоне —  
Не о тебе, не о твоей персоне,  
Забывшейся о хорошем тоне, —  
От этого сойдешь ведь, брат, с ума!  
Кого ж теперь винить в таком уроне?  
Себя? Весь мир? Беднягу Франсуа?

Лес стоит вдали, как град огромный,  
И молчит земля,  
Меж стеною белою и темной  
Скатерть расстеля.

От шоссе сворачивает в поле  
Узкий след саней.  
Вот и все. А сердце видит боле,  
Дале и ясней:

Что — за первым лесом, что — за  
третьим.

Что — в дали земной.

Что — за нашим нынешним столетьем,  
За его спиной.

Знаю, льется этот свет  
Из далеких прошлых лет,  
Из других миров.  
Знаю, как давно возник  
Над землею этот лик,  
Нежен и суров.

Снова медленно взошли  
Очи светлые твои,  
Встали надо мной.  
Может, бог глядит на нас  
Сквозь прищур печальных глаз  
Женщины родной?

## Юлия Друнина

### СЛАЛОМ

Искры солнца и снега,  
Спуск извилист и крут.  
Темп что надо с разбега  
Наши лыжи берут.

Вновь судьба мне послала  
Страсть, сиянье, полет.

А не поздно ли — слалом?  
А не страшно — о лед?..

Напружинено тело,  
Каждый мускул — стальной.  
И плевать я хотела,  
Что стрясется со мной!

\* \* \*

И когда я изверилась, сникла, устала  
И на чудо надеяться перестала,  
Позвонил человек мне из братской страны,  
И сказал человек:  
— Вы мне очень нужны...—  
И сказал человек:  
— Я без вас не могу...—  
За окном закружились дома на снегу,  
Дрогнул пол, покачнулись четыре стены.  
Человек повторил:  
— Вы мне очень нужны...—  
Этот голос с акцентом!

Замедленный, низкий...  
А потом — бормотание телефонистки:  
— Почему вы молчите, Москва, почему?  
Отвечайте! Алло! —  
...Что ответить ему?  
Что давно я изверилась, сникла, устала,  
Что на чудо надеяться перестала,  
Ничего не хочу, никого не виню,  
Что в остывшей золе не воскреснуть огню...  
Только вслуж разве вымолвишь эти слова?

И молчала, молчала, молчала Москва...

## Анатолий Жигулин

\* \* \*

Воронеж, детство, половодье.  
Зеленый плавающий лед.  
И солнце держит за поводья  
Над белой тучкой самолет.

Военный — маленький двукрылый,—  
Защита грозная страны...  
А вдалеке, за рощей стылой,  
Поля озимые видны.

Там, за рекой, село Придача,  
За гулкой дамбой,  
За мостом.

И церковь белая маячит,  
Блестит серебряным крестом.

И тихий звон летит по свету,  
В упругом воздухе плывет.  
И знаю я,  
Что бога — нету...  
И кружит в небе самолет...

И жизнь моя еще в начале.  
И даль аукает: «Иди!..»  
И нет ни бога,  
Ни печали.  
И все, что будет,—  
Впереди.

\* \* \*

Больше многих других потрясений,  
Что отпущены щедрой судьбой, —  
Помню солнечный день предвесенний,  
Помню город разрушенный мой.

Бело-розовый, зыбкий — от снега,  
От кирпичных разрубленных стен, —  
Он теснился до самого неба,  
Словно в белом тумане летел.

Незнакомый, притихший, суровый —  
Словно призрачный, дымный погост...  
А вдали золотился сосновый,  
Наведенный саперами мост.

\* \* \*

У степного переезда  
Предвечерняя полынь.  
И откуда — неизвестно —  
Слишком ранняя теплынь.

Год назад пришла победа...  
Паровоз свистит вдали.  
Теплый руль велосипеда.  
Дух горячий — от земли.

Еду тропкой прищоссейной,  
Задеваю лебеду.  
А велосипед — трофейный,  
Очень легкий на ходу...

\* \* \*

Значок ГТО на цепочках  
На форменной куртке отца.  
И тополь в серебряных почках.  
И желтый песок у крыльца...

В эпоху сомнений и бедствий  
До самого смертного дня  
Нетленная память о детстве  
Уже не оставит меня.

И видится, словно в начале,  
Та первая в жизни беда.  
Как будто по свету не мчали  
Меня роковые года.

На ступенях знакомого спуска,  
Ах, как сердце забилося тогда!  
Вот и домик на улице узкой...  
Но была за углом — пустота...

Только виделись дальние дали —  
Необычно, просторно, светло.  
Только черные птицы летали  
И поземкой с обрыва мело.

Тополей обгорелые руки.  
Обнаженный пролет этажа...  
В первый раз  
Содрогнулась от муки  
Защищенная детством душа.

Я живу, еще не зная,  
Что дорога нелегка.  
И полынь в начале мая  
Не особенно горька.

Впереди иные грозы.  
Дышит с юга суховей...  
Тихо светятся березы  
По окраинам полей.

Непонятна, неизвестна  
Отуманенная синь.  
И дрожит у переезда  
Придорожная полынь.

Все видится дымное небо,  
Изломанный танками сад.  
Горбушка казенного хлеба,  
Что дал незнакомый солдат...

Как некое странное бремя,  
С тревожным моим бытием  
Дано мне застывшее время  
В усталом сознание моем.

Там хата с колючей соломой,  
Поющий за печкой сверчок...  
Какой-то солдат незнакомый...  
Какой-то старинный значок.

\* \* \*

Снова дрогнуло сердце от боли.  
Снова падают листья в ручей.  
На изрытом картофельном поле  
Собираются стаи грачей.

Впереди, за лугами пустыми,  
Где кончается желтый покос,  
Что там видится в розовом дыме  
За вершинами стылых берез?..

Вот и вечер пришел незаметно.  
И просторы уснули в тиши...

\* \* \*

Здравствуй, степная деревня!  
Белый сухой полынок.  
Стали родные деревья  
Черными пнями у ног.

Родина! Хатой саманной,  
Стылой лозой у плетня,  
Далью пустой и туманной  
Снова ты манишь меня.

Ветер за старой повестью  
Треплет кусты конопли.  
Нет и не будет на свете  
Ближе и горше земли.

Свет золотой и тревожный.  
Что еще там, впереди?  
На обнаженные пожни  
Скоро прольются дожди.

\* \* \*

Качается мерзлый орешник,  
Стучит на холодном ветру.  
И я — неприкаянный грешник —  
Опушкой иду поутру.

Блестит на дороге солома.  
Деревья стоят в серебре.  
И все мне, как прежде, знакомо  
В пушистом седом январе:

Болотца замерзшее блюдце  
И в теплом снегу — камыши...

Может, все-таки вправду бессмертна  
Хоть какая-то память души?

Может, в чем-то возможна бескрай-  
ность,  
Над которой не властны года?  
Если в смерти забудется радость,  
Пусть продлится хотя бы беда.

Чтоб лететь и лететь по раздолью  
Под стихающий крик журавлей  
Этой вечной березовой болью  
Над просторами сонных полей.

Все ли я сделал на свете,  
Чтобы спокойно глядеть  
В дали холодные эти,  
В эту сентябрьскую медь?

Может, за далью размытой,  
За луговиной степной  
Что-то навеки забыто,  
Что-то потеряно мной?

Что там темнеет у стога  
Сквозь просяное жнивье?  
Может быть, это дорога  
В дальнейшее детство мое?

Что там вечерняя синька  
Прячет в просторе полей?  
Может быть, это косынка  
Матери старой моей?

Но только уже не вернуться  
В прозрачную юность души.

Растаяла в годы скитанья,  
Как этих дерев серебро,  
Блаженная радость незнанья,  
Начальная вера в добро.

И только по склонам бесснежным,  
Где стога замерзший комок,  
Еще не угасшей надежды  
Струится наивный дымок.

\* \* \*

Деревья с черными грачами  
И горечь тающего льда.  
И размываемый ручьями  
Остаток санного следа.

А за темнеющим сараем,  
В тумане пойменных низин,—  
Кора зеленая, сырая  
Уже оттаявших осин.

И на окраине селенья,  
Где тучи теплые висят,

Тревожным духом обновления  
Уже окутан сонный сад.

И рядом с древней колокольной,  
Где синий свет и высота,  
Опять надеждою невольной  
Душа наивно занята....

О, если б все-таки оставить  
В грядущей неизбежной мгле  
Пускай не жизнь,  
Хотя бы память  
Об этой жизни на земле!

*Тамара Жирмунская*

#### СНЫ

Такие сны мне снятся в эту зиму,  
так радостно, раскованно и зримо  
все в них: от детских санок с бахромой  
до поезда, летящего стрелой.  
Провалы... Взлеты... Я спешу куда-то,  
одетая легко, щеголевато,  
как никогда одета не была,  
не по годам спокойна и смела.  
А сколько лет мне?  
Двадцать или десять?  
Не знаю я...  
Без паспорта, без денег,  
без аттестата, без диплома —  
р-раз —  
и вот уже на воздух поднялась.  
Опомнись! На четвертом-то десятке!..  
А это значит, я еще в порядке:  
и снег, и свет, и сердца сладкий стук...  
А то с чего бы мне приснились вдруг  
такие легкомысленные санки,  
такая куртка, красная с изнанки,  
подруги детства, и отец, и мать,  
и дурость юных —  
время подгонять.



## Леонид Завальнюк

### УТРО

Лепечет печь горячими устами  
О чем-то деревянном, земляном...  
Вот я мальчишка. Лезу за блином,  
Разбуженный покоем и теплом.  
...В большой печи  
Большие чугуны.  
Ночь кончилась. Но мгла еще бескровна.  
К стеклу прильнул мороз. И мутный диск луны  
Оконным косяком обрезан ровно.  
Там, за стеной, — замерзший огород  
Торчит щетиною капустных кочерыжек.  
А дальше там, за ним,  
Пустырь с кастрюлями дырявыми, без крышек  
И с белым чайником, открывшим ржавый рот.  
За пустырем — поля.  
За ними — стылый рельс  
И шпалы черные, как ряд рояльных клавиш...  
О жизнь моя, сыграй обратный рейс!  
Дай окунуться мне в бездонный теплый кладезь  
Пяти простейших чувств, без грусти о шестом.  
Дай к прошлому рукою прикоснуться,  
Побегать, порыбачить под мостом,  
И, удочки припрятав под кустом,  
С уловом сказочным опять сюда вернуться!

## Алексей Заурих

\* \* \*

Душу невольно ранит  
солнца прощальный свет,  
швабра прибоа драит  
галечника паркет.  
В мире, где вьюги люты,  
невеселы дела,  
как вы остры, минуты  
счастья, любви, тепла!  
Свет у прибрежной кромки,  
а за спиною — тень,  
бешеные воронки,  
день догоняет день.  
Все ж вы горьки, мгновенья,  
женственны и слабы,  
позднего откровенья,  
поздних даров судьбы.  
Сутолока вокзала...  
Осень... И звон ветлы...



## Анатолий Заяц

\* \* \*

В том городке  
Был молодости дом,  
Там ветры счастья близкого царили.  
За пять секунд  
До выкрика: «Подъем!» —  
Как поднебесно  
Мы во сне парили.

А там, под нами,  
Лодки на реке,  
Цветов и трав непреходящий праздник.  
Проснуться б мне  
В военном городке  
В тех двадцать лет,  
воистину прекрасных.

Тот миг вовеки память сохранит:  
Вдруг молния черкнет на небосклоне,  
И ты не знаешь толком —  
Гром гремит  
Иль пушки бьют  
на дальнем полигоне.

А разве это ты забудешь, брат:  
На быстротечном  
Утреннем привале  
Как мы глотали дымный концентрат —  
Знавал вкуснее пищу ты едва ли.

...Великое равненье по рядам,  
Защитный цвет  
Плывет в погонах красных,  
А плац гремит,  
Как новый барабан,  
И солнце звонко плавится на касках.

Со строем слит,  
Я капелька в реке,  
Охвачен песней юной и бессмертной.  
Ракеты — на исходных.  
В вещмешке —  
Жезл маршала  
И жезл любви безмерной.

Сошли лета.  
И все ж во мне живет,  
Не позволяя мыслить о покое,  
Тот первый строй,  
Тот самый первый взвод —  
Святое братство первое мужское.

...Там лес стоял.  
Он шумно в небо лез,  
Над лесом птицы алые витали.  
Мы сами были молоды,  
Как лес,  
Что задыхался  
Солнцем и цветами.

## Николай Зиновьев

### ДЕРЕВО ОДИНОЧЕСТВА

Там, где вера потеряна,  
выросло этой весной  
в трещине черное дерево  
между тобой и мной.

Прошлой зимы проро-  
чество,  
прошлый неясный страх, —  
дерево одиночества  
в наших скрипит ночах.

Ветви берут ли за душу  
или это шепот твой?  
...Утро застыло заживо  
в комнате нашей пустой.

То ли во сне ворочается,  
то ли шумит в окне  
дерево одиночества  
тенью  
на белой стене...

Дай же мне силы,  
любимая,  
я его так срублю,  
чтобы взошло рябиною  
наше с тобой Люблю!

Чтобы росло доверие...  
Но в этот ранний час  
поздно рубить дерево!  
Корни остались в нас.

## Натан Злотников

\* \* \*

Забудут наши голоса,  
Наклонности, привычки, платья.  
Москвы пусть помнят адреса,  
Любви старинные понятия.

Забудут наши имена  
И то, что жили мы на свете.  
Пусть помнят, что была война,  
Несправедливость, лихолетье.

Забудут тайны наших дней  
И зла суровые уроки.

\* \* \*

За длинною стеною Арсенала  
Вся молодость отцовская прошла.  
Здесь мама на углу моя стояла,  
Ждала, еще молоденькой была.

Извечный город. В заднепровской выси  
Гудки парили, цоканье подков,  
И стаи птиц, и шелесты трансмиссий,  
Пух тополей и голоса станков.

По той стене с отметинами боя  
Скользила тень, день близился к концу,  
На маме было платье голубое,  
А голубое нравилось отцу.

Летели искры от колес трамвая,  
Из проходной уже валил народ.

Пусть помнят, помнят пусть больней  
Пророков праведные строки.

Иная жизнь давным-давно,  
В иных условиях и границах.  
Но все ж забвенью не дано  
Смыть отсвет бед на наших лицах.

Какая нас снедала грусть,  
Какие горести — до срока!  
Но счастье было, помнят пусть,  
И мы дышали им глубоко!

Стена меняла цвет овой, остывая,  
От башни угловой и до ворот.

С толпою ветер, как из поддувала,  
Шел вдоль стены, горячий и тугой.  
Как девочка, на цыпочки вставала,  
Тянула мама взгляд свой над толпой.

Боялась потеряться в этой силе,  
Смущалась, находила наконец  
Того, с кем, как в ту пору говорили,  
Шла под венец. А вышло — под свинец.

Их ждали поезда и пароходы  
За серой арсенальскою стеной,  
Рождение детей... И годы, годы...  
Война... И годы, годы за войной...

## Василий Казанцев

\* \* \*

До соседней деревни не близко.  
Чтобы вовремя к школе поспеть,  
Вышли раньше. Искрится дорога.  
Лесь чернеется. Светит луна.

В зимнем поле безлюдно и голо.  
Скрип шагов раздается, как гром.  
В зимнем поле затишье и холод.  
Мы по белой равнине идем.

Вот охапка зеленого сена —  
Под раскатом упала с саней.  
Вот блестит на дороге полено —  
Кто-то с возом проехал по ней.

Мы бежим. Мы летим. Нас не много.  
Предрассветная ночь холодна.  
Лес чернеется. Блещет дорога.  
В небе тонкая тает луна.

## ПОВЕГ

...Соседи пировали за стеной.  
Мне был понятен шум, глухой и ватный.  
Там, как у нас, был холодец свиной,  
грибочки и напиток адекватный.  
Там, как у нас, стонала у дверей,  
вновь прибывших встречая, половица.  
Там, как у нас, спешили все скорей  
напиться, чтоб гармонии добиться.  
И так же, извинительно хмельной,  
в сентиментальной оттепели винной,  
хозяин громко ворковал с женой,  
хваля и величая половиной.  
И там и тут — гитары перебор  
и перепляс в одном и том же стиле  
и, будто был меж нами уговор,  
одни и те же песни заводили.  
И представляла я уже с трудом,  
что утро переменит тишиною,  
и стал чужим казаться этот дом  
с гостями за столом, накрытым мною.  
Подогревала водка их задор,  
и ни один не оглянулся даже,  
когда бочком я вышла в коридор,

где шубы, как подвыпившие стражи,  
и не пытались удержать меня,  
где грустью слов наивных и напрасных,  
на неокрепших ножках семеня,  
в подол мой длинный не вцепился

праздник.

Не помню, как тогда я вниз сошла.  
Слетела — как девчонка по перилам,  
сошла — как будто лестницу сожгла  
к тем рюмкам, пляскам, креслам и  
перинам.

И вот стою под снежной пеленой.  
Из окон звуки праздника сочатся.  
Вернуться бы... Да где он, дом родной?  
И разве вышла из дому сейчас я?  
А если нет, как возвращусь домой?  
Мой дом, о, где же ты, коль

все же есть ты?!

Вернуться бы... Да только где он, мой?  
Боюсь, что перепутаю подьезды.  
Стою под снегом, странно весела,  
еще ни шага в сторону не сделав,  
но ощущая и душой и телом,  
неумолимей снега, что — ушла.

\* \* \*

...Давно я не оптимистка,  
И, может, конец стране,  
Где щекотно и тенисто  
Ресницы твои на мне.

Но если и отдымилась  
Развалинами дотла,  
Оказана эта милость,  
И эта страна — была,

И многое в жизни смею,  
И, с меткой ее на лбу,  
Как целый народ, имею  
Историю и судьбу.

ПОТЕРЯННАЯ МОГИЛА

Место твоей гибели зовет  
Из дому меня... Оно — не близко.  
Я не знаю, что меня там ждет:  
Холм сыпучий? Камень обелиска?  
Может быть, звезда могилы братской?  
Может, просто степь — ей нет конца?..  
Как до места этого добраться,  
Принести тебе поклон отца?  
Место твоей гибели... Стена  
Между нами...

Зимы...

Вёсны...

Лета...

Я хочу сказать тебе: — Война  
Кончилась!..

Ты знаешь ли об этом?..

Знаешь ли, что нет у нас с тобой  
Матери?.. Дышала через силу,  
Но надежду, что придешь домой,  
Мучась, унесла с собой в могилу.  
Место твоей смерти...

Сквозь года

И зовет к себе, и обвиняет...  
Люди мы — и, значит, никогда  
Наша память нам не изменяет.

Полдень пышет. Солнце пыльной мглой  
Застлано.

И степью пережженной

Человек с поникшей головой,  
В тягостные думы погруженный,  
Вдаль идет.

Со всех сторон видна  
Степь. И тропка по степи змеится.  
Степь лежит без края.

Вот она —  
Между небом и землей граница.  
Ни куста. Ни бугорка. В пыли  
Только степь бесцветна и уныла.  
Только комья серые земли —  
Это-то и есть твоя могила...

Над тобой кружится воронье, —  
Для того ли мать тебя растила,  
Чтоб с землей сровнялся? Чтоб в нее  
Молодость ушла твоя и сила?  
Чтобы дела кончить ты не смог,  
Песни не допел своей любимой?..  
Брат! Несу тебе печальный вздох,  
Слезы стороны твоей родимой...  
Не холму передаю сквозь стон,  
А земле,

что начали мотыжить,  
Скорбь отца

да и земной поклон  
Тех, кому судьба судила выжить.

*Перевела с грузинского Елена Николаевская*

Сергей Козлов

\* \* \*

Пусть приснится мне ночью здешнею  
С головой в синева сосна,  
Дым серебряный, поле снежное,  
Словно холм в лесу — тишина.

Пусть приснится мне лошадь, роз-  
вальни,  
Солнце, сосны, копыта, смех.  
Под полозьями — светло-розовый,  
Белоснежный январский мех.

Пусть приснится мне дым березовый  
От шестнадцати деревень,  
Елки, сосны, копыта, розвальни, —  
Синей рыбой ныряет тень.

Синей рыбою в белой пене  
Машет тень голубым хвостом.  
В золотистом июньском сене  
На коленях стою с кнутом...

АД

Иду  
в аду.  
Дороги —  
в берлоги  
топи, ущелья  
мзды, отмщенья.  
Врыты в трясины,  
по шеи в терцинах,  
губы резино-разинув,  
одни умирают от жажды,  
кровью опившись однажды.  
Ужасны порезы, раны, увечья,  
в трещинах жижица человечья.  
Кричат, окалечась, увечные тени:  
уймите, зажмите нам кровотечение,  
мы тонем, вопим, в ущельях теснимся,  
к вам, на земле, мы приходим и снимся.  
Выше, спирально, тела их, стеная, несутся,  
моля передышки, напрасно, нет, не спасутся.  
Огненный ветер любовников кружит и вертит,  
по двое слипшись, тщетно они просят о смерти.  
За ними! Бросаюсь к их болью пронзенному кругу,  
надеясь свою среди них дорогую заметить подругу.  
Мелькнула. Она ли? Одна ли? Ее ли полузакрытые веки?  
И с кем она, мучась, сплелась и, любя, слепилась навеки?  
Франческа? Она? Да Римини? Теперь я узнал: обманула!  
К другому, тоскуя, она поцелуем болящим прильнула.  
Я вспомнил: он был моим братом, надежным слугою,  
он шлейф с жемчугами, как паж, носил за тобою.  
Я вижу: мы двое в постели, а тайно он между!  
Убить? Мы в аду! Оставьте у входа надежду!  
О, пытки моей беспощадная ежедневность.  
Слежу, осужденный на вечную ревность.  
Ревную, лететь обреченный вплотную,  
вдыхать их духи, внимать поцелую.  
Безжалостный к грешнику ветер  
за ними волчком меня вертит,  
и тацит к их темному ложу,  
и трет меня об их кожу,  
прикосновенья — ожоги!  
Нет обратной дороги  
в кружащемся рое.  
Ревнуй! Эти двое  
наказаны тоже.  
Больно, боже!  
Мúка, мúка!  
Где жод  
назад?  
Вот  
ад.

# Наум Кислик

## ПЕСНЯ

Так уж мир этот странный заверчен,  
и вращения нельзя превозмочь:  
день сгорит, и обуглится вечер,  
и дотлеет короткая ночь.

Может, зла никому не попомнишь,  
может, руку ничью не пожмешь,  
но на помощь в беззвездную полночь  
только юность свою позовешь.

И, почти что не чувствуя боли,  
вдруг поверишь, совсем как живой,  
что лежишь не в постели, а в поле,  
и под вздохом — ледок пулевой.

И не вечная память, не слава,  
только черный разорванный дым  
да еще беспощадное право  
оставаться всегда молодым.

Скоро стихнут глухие удары,  
ты немного еще потерпи,  
все равно ведь тебя санитары  
не отыщут в горящей степи.

Лишь одна тебе будет отрада,  
та, что сам ты по строчкам сложил,  
будто жизнь свою прожил как надо,  
а теперь умираешь, как жил.

## ПЕРВЫЕ ДНИ

Ох, какая была теснота,  
одинокства не было вовсе,  
а еще и повадились гости  
в эти дни заявляться спроста.

В эти первые мирные дни  
все тянулись к душевной беседе,  
кто остался в живых из родни,  
сослуживцев, друзей и соседей.

Сервировка была не строга:  
клали доски на табуреты,  
выставляли на стол, на газеты  
винегреты — и вся недолга.

Светлой памяти честь отдана  
и живым, чтобы были здоровы...

Шумно пили мужчины до дна,  
пригубляли подростки и вдовы.

И хмельной ветеран с костылем  
толковал им доступно и внятно,  
что беда зарастает быльем  
и что будущее — благоприятно.

Был он, видимо, осведомлен  
из источников неких секретных,  
и поэтому фактов конкретных  
был не вправе докладывать он.

И была в эти дни теснота  
на земле, на золе, на погосте,  
и такая была чистота —  
одинокства не было вовсе.

## КАК УЧИТЕЛЬ СОЧИНЯЛ СТИХИ

Не то здесь волки-переярки,  
не то немецкие овчарки,  
поодичавшие с войны,  
в полях плутали до весны.

Не то между плетней поземки  
с тягучим посвистом текли...  
Ночами в маленьком поселке  
учитель сочинял стихи.



Без передышки, без помарки  
взгонял по лесенке слова...  
Стенали волки-перярки,  
томила за стеной вдова.

Горела вся, себя не помня,  
а ночь — длинней, чем бабий век,  
а то зимою ровно в полночь  
в поселке вырубали свет.

И ночь покрыла б все грехи.  
И керосину было жалко.  
Но и при тлении огарка  
учитель сочинял стихи.

Он сочинял, пока свеча  
не дочадит, пока подойник  
в сених не грохнет сгоряча  
и не проплачет дверь по-вдовьи.

И замычит несътый скот,  
и под мерцанием подслепым

собьется очередь за хлебом  
в далекий тот нелегкий год.

Но были дни его легки,  
поскольку меж газетной прозы,  
еще не чуя в том угрозы,  
он прозревал свои стихи.

Он повторял свои стихи,  
он бормотал их отрешенно...  
А школа выстыла до звона  
и до костей — ученики.

А он им что-то о журналах  
под потолком в разводях талых,  
где в клубах пара свет мигал,  
со странным жаром излагал.

А снег заваливал окрестность,  
и кругом шли над головой  
то лучезарный гром оркестра,  
то дальний сумеречный вой.

## Дмитрий Ковалев

\* \* \*

Что мне бессмертие!  
Я днем единым  
Хочу пожить,  
Земля моя, твоим.  
Глазам младенческим  
И старческим морщи-  
нам,  
Что как у матери, —  
Я больше верю им.  
Еще я верю  
Жестким, что в мозо-  
лях,

Рукам  
И думающей голове:  
С мечтой ребячьей  
О рыбацких зорях,  
С любовью к старику,  
К птенцу,  
К траве.  
И с жалостью  
К несчастным,  
Всем недужным,  
Особенно — к калекам  
С малых лет,

Нет матери —  
Так никому не нужным,  
К не защищенным  
От неожиданных бед.  
Хочу хоть как-то разде-  
лить,  
Их болью  
Очеловечить и себя,  
Хочу,  
Чтоб наше счастье,  
С радостью, с любовью,  
Подобным было  
Доброму лучу.

### ПАМЯТЬ ВЕТКИ <sup>1</sup>

Память Ветки в душе не уронена.  
В Ветке мама моя похоронена...

Грубый крест,  
Из железа сваренный.  
Скорый тлен —  
Где веночки свалены.

<sup>1</sup> Ветка — городок на реке Сож, на Гомельщине.

С Сожа видимы липы старинные:  
Верх усохший,  
Гнездо аистинное.

В даль — пески,  
Распашные, нехлебные:  
Ты сбирала там травы целебные.  
Все ждала...  
Уж спешить было некуда...  
Все откладывал:  
Все было некогда.

А не стало —  
И нет мне забвения,  
И ни дня — без тебя,  
Ни мгновения...

Как темна ты была —  
Глушью в замяти.  
Отчего ж  
Так светло моей памяти?..  
Как твой холоден холм —  
Снежный тучею.  
Отчего же в душе это, жгучее?..  
Сердцу чутче с тобой,  
Человечнее.  
Даже ближе  
Случайные встречные...  
Мать — сырая земля,  
Мать — родимая,  
Людность мне без тебя  
Нелюдимая.

## В ПОЛЯРНОМ

Все тот же ветер,  
Зол и неприкаян.  
Я — с кем навек простился —  
Повстречал.  
Здесь столько говорит мне каждый  
камень  
И каждый у гранитных скал причал.  
Знакомо всё.  
Но все здесь незнакомы.  
И я здесь не известен никому.  
Остановлюсь у памятного дома,  
Напомню прошлым о себе ему.  
Знакомых имена — в названьях улиц.

Не от морской волны —  
Мирской молвы  
О вас услышу,  
Вспоминая умниц  
И радуясь,  
Что вновь живые вы...  
Я с вами тосковал,  
Ходил в походы.  
Вы в сердце,  
А не в море, навсегда...  
И только переменчивость погоды  
Без перемен  
Да сопки и вода.

*Александр Коваль-Волков*

\* \* \*

К себе возвратился я снова.  
Как в том довоенном году —  
По улице града Ростова,  
По городу детства, иду.

И, верно, один я заметил,  
Что мне и пятнадцати нет,  
А город просторен и светел,  
Как память мальчишеских лет.

И все мне до боли знакомо:  
Большой пионерский дворец,  
Бессонное здание райкома,  
В котором работал отец.

К нему загляну непременно.  
На время оставив дела,  
Отец в гимнастерке военной  
Навстречу шагнет от стола.

Еще впереди все победы  
И фронт, где останется он,  
Еще формируется где-то  
Стрелковый его батальон...

Счастливая школа задорно  
Мне свой посылает привет.  
Вздымая фанфары и горны,  
Равняет шеренги рассвет.  
Качается остров Зеленый  
В донской набежавшей волне,

И роща ко мне просветленно  
Выходит на той стороне.

И дом наш в акации белой  
Семейной любовью храним,  
И я во дворе, оробелый,  
Мальчишкой стою перед ним.

И сердце, любя и страдая,  
Стучит, никого не виня,  
И мама, совсем молодая,  
К себе прижимает меня...

## *Владимир Корнилов*

\* \* \*

Адмиралтейская игла  
Стихам знакома исстари.  
А мне мила, а мне светла,  
Которая у Выставки!..

Вокруг панельные дома  
И реже — знать кирпичная.  
А надо всем — она одна,  
Такая непривычная!

Когда темно, когда светло,  
Когда в тумане слепо,  
Она буравит, как сверло,  
Наваленное небо.

Я на девятый влез этаж  
И ход закрыл наружу,  
Чтоб вечных не решать задач  
И не морочить душу.

Такая, господи, тоска,  
Так холодно и страшно,  
Что аж до чертиков близка  
Останкинская башня.

И молча отворю окно,  
И млею перед нею,  
Как будто лучше — никого  
И никого — роднее...

## Владимир Костров

\* \* \*

В день и час, когда на Химках,  
Крякнув, треснет старый лед,  
Нападающий на юге  
Первый гол свой не забудет,  
И сосулек длинных россыпь  
Зазвенит на всех домах,  
И, ликуя, вспыхнет роспись  
На Крутицких теремах;  
В день и час,  
Когда в Сокольниках объявятся  
скворцы,

И от первых поцелуев  
Вздрогнут рослые юнцы,  
Расцветет Центральный рынок,  
Говорлив и тороват,  
Я пройду по переходу,  
Переходу на Арбат.  
Ты меня в тот день, родная,  
Неприменно ожидай  
Не у ресторана «Прага»  
И не у кафе «Валдай».  
Ведь несу тебе недаром  
Я весенние цветы —  
Ожидай меня у входа  
Института Красоты.  
Мы субботний день распишем  
По минутам и часам,  
Как идут мимозы к рыжим  
И насмешливым глазам!  
Золотое чудо жизни.  
Хвойный запах от волос.  
Добротой и оптимизмом  
Дышит твой курносый нос.  
Посмотрись-ка ты в витрину —  
И увидишь: там и тут

Золотистые веснушки  
С\*переносицы бегут.  
Пусть известный косметолог  
Мазь умеет составлять,  
Но эту милую неправильность  
Не надо исправлять.  
Сколько разного народа,  
Но за ними ты не стой,—  
Это очередь у входа,  
Что ведет за красотой.  
Ты и так мне всех дороже,  
До корней твоих волос.  
Нам не надо белой кожи,  
Не к лицу нам римский нос.  
Марья, Машенька, Мария,  
Древнерусская княжна,  
Рыжих глаз асимметрия  
И лукава и нежна.  
Нет, не новое, столичное,  
А туманное, вдали...  
Что-то очень есть старинное,  
Старомодное в любви.  
Ты идешь и улыбаешься  
У проспекта на виду.  
Я любовь свою, как барышню,  
Столицею веду.  
Словно легкая простуда —  
Возле сердца холодок.  
Я веду свою простужку,  
Чуть держа за локоток.  
И дорогою недлинною  
Шепчу едва-едва  
Старомодные, старинные,  
Столетние слова.

## Эльмира Котляр

\* \* \*

Не опрокинулась,  
не перевернулась.  
Жизнь, как вода,  
восвояси вернулась,  
тихо и ровно  
вошла в берега.  
Ну, для чего ты  
меня сберегла?

## ПАМЯТЬ

Салюты —  
счастья минуты!  
Рядом идем по Манежной,  
точно и я прикрыта  
шинелью заснеженной.  
А в твоей комнатухе,  
на жесткой подушке,  
как две птицы счастливых!  
И воздух теплый, легкий...  
И две картофелины  
булькают в похлебке.

\* \* \*

С покупками бредущие супруги  
как будто позабыли друг о друге.  
Тропинка их,  
забаррикадированная бытом,  
молчит о чем-то позабытом.

А той любви затерян след,—  
клубок недоумений, бед...  
Как два названья  
забытых улиц —  
два воспоминанья.

*Игорь Кохановский*

\* \* \*

Самородок лежал в пыли  
громыхавшего полигона,  
отбиравшего полегоньку  
золотой оброк у земли.

Незамеченный вгорячах  
производства, сезона, плана,  
самородок, открытый, как рана,  
как старатель без дела, чах.

Рядом прииск гудел, как бунт,  
день и ночь золотинки вылизывал,  
по-бульдोजьи бульдозеры грызли  
посеревший от влаги грунт.

Самородок особняком  
рядом ежился зябко, зримо.

...Как-то в сумерках грузный верзила  
в грязь вдавил его каблуком.

Отбурлит сезон, отпоеет,  
смолкнет хриплой пластинкой на вече-  
ре...

Самородок замрет, незамеченный,  
вмерзнет в землю еще на год.

И припомнится, что испокон  
было так: добывая — тратили...  
А потом наткнутся старатели  
на заброшенный полигон.

И качнет весы самородок...  
Знать, не зря обручен с морокой  
труд рискованного мужика...

Да к тому же рука легка.

## Анисим Кронауз

### ШЕСТИЭТАЖНЫЕ ТОПОЛЯ

Я стоял у окна,  
И три шестиэтажных тополя  
Тянулись к небу сучьями в темноте.  
И вдруг один из трех,  
Крайний от моего окна,  
Вспыхнул оранжевым пламенем...

Кто поджег его:  
Фары автомобиля,  
Или пожар где-нибудь,  
Или салют,  
Или иллюминация,  
Или просто за стеной моя жена  
Нажала выключатель в кухне?..

У меня ведь теперь отдельная квар-  
тира,

И, войдя в одну из ее комнат,  
Можно поджечь любой из трех  
Шестиэтажных тополей.

Вот он снова гаснет.  
Я слышу щелк выключателя  
И шаги жены.  
Я смотрю в темноту:  
Благополучие и довольство  
Плещутся у моих ног.  
Я понимаю,  
Что с этим борется четверть чело-  
вечества,

А остальные три четверти  
Стараются этого достичь.

Может быть, я слишком долго  
Ждал своих деревьев,  
Ждал своих окон.  
Но это так заманчиво:  
Одним движеньем пальца  
Поджигать и гасить  
Шестиэтажные тополя...  
И, словно слабый ток,  
Меня покалывает  
Что-то похожее на счастье.

## Вадим Кузнецов

### СЕРЕДИНА ЛЕТА

Ну вот и снова липа зацвела!  
Пугая ночью высверками света,  
проходят грозы.  
Середина лета,  
начало долгожданного тепла.

Соседи шумно празднуют отъезд  
на юг,  
на море,  
к радости безделья.  
Я в первый раз  
не чувствую веселья  
в знакомой тяге к перемене мест.

Не то чтоб я  
к былым утехам глух,  
но мир встает в особом измеренье,  
и обретает зримость утверждение,  
что старый друг —  
надежней новых двух.

И я стремился к новому,  
пока  
однажды не заметил изумленно  
резную завершенность листьев клена,  
изящество капустного вилка.

А может,  
просто не был я готов  
понять величье молодого сада,  
где на деревьях,  
кутаясь в прохладу,  
висят комочки будущих плодов.

Пусть грянет ветер,  
копны вороша!  
И унесется звонкий, словно мячик!  
И женщина от нежности заплачет,  
и захлебнется жалостью душа!

И станет больше на земле тепла,  
и не потянет странствовать по свету,  
но не затем,

что середина лету,  
не потому,  
что липа зацвела!..

## Валентин Кузнецов

\* \* \*

В вагоне тесно, как в трубе,  
Толкались шляпы, кепки, шубки.  
Сидела женщина в купе,  
Покусывая нервно губки.

Сидел мужчина, воду пил.  
Он был растерян и встревожен.  
А поезд все не отходил,  
Как будто к рельсам приморожен.  
Она спросила:  
— Вы на юг?  
— Зачем! — ответил.  
Взял газету.  
Молчал, молчал. Сказал не вдруг:  
— Не знаю сам, куда, но еду.

Наморщил лоб до белизны,  
Чело его сковала дума.  
— Хочу уехать от весны,  
От вас. От зелени. От шума.—  
«Чудак,— подумала она  
И брови вскинула в изломе.—  
При чем здесь шум? При чем весна?  
И я — мы вовсе незнакомы!»  
—Я знаю, что сказали вы  
Себе. Сейчас. В минуту эту.

Не подымая головы  
Он продолжал глядеть в газету.

Он бормотал:  
— Моя вина  
Лишь только в том...  
Вы не поймете...  
Вы женщина. Вы как волна:  
Нахлынете и отойдете.

Взгляните: вот сидят грачи,  
На мокром дереве в апреле.  
Да не грачи они — ключи,  
Ключи от песни, не от двери!  
А в небе стелются дымы...—  
Она ему сказала:— Тучки!—  
Оң пояснил:— Хвосты зимы,  
Зима уже дошла до ручки.

«Видать, свихнулся старина,—  
Подумалось соседке снова.—  
Неужто я ему волна?  
Ну что же есть во мне морского!  
Он сумасшедший. Он чудак.  
Не разберутся в нем и судьи.  
Он видит все совсем не так,  
Как вижу я. Как видят люди.  
Грачи — ключи. А я — Волна!  
Ей-ей, закручивает мудро».

Поэт уснул. А женщина  
Куда-то схлынула под утро.

## Татьяна Кузовлева

\* \* \*

Когда декабрь, устав от бега,  
к сугробу тихо припадет,  
когда на сердце тяжесть снега  
падет с расслабленных высот,—

остынет белая страница,  
чернея, сузится окно.  
И прокричит ночная птица:  
постой! — но не остановиться,  
и горло льдом обожженно.

Беги,— но краток путь по свету,  
обманчива его длина.  
Чуть слышным выдохом согрета,  
полоска узкая рассвета  
качнется в прорези окна.

И все, что больно, что любимо,  
вернется на зовущий крик.  
Так искра вспыхнет в толще дыма.  
День краток. Ночь неизмерима,  
судьбы неописуем лик.

\* \* \*

Сквозь снег...  
Но снег идет сплошной стеной.  
Сквозь снег...  
Но снег разъединяет лица.  
Сквозь снег...  
Но снег стоит передо мной,  
и я пред ним должна остановиться.

Сквозь снег  
твоих зрачков не разглядеть,  
сквозь снег  
движенья губ неразличимы.  
Сквозь снег  
проходит жизнь, проходит смерть,  
единые, как женщина с мужчиной.

Я жизнь свою несущ тебе  
сквозь снег.  
Здесь до меня не хожены дороги.  
Дышу сквозь снег,

Неуловим лёт лёгких лодок,  
но память — неподкупный страж —  
диктует нам, впадая в раж,  
короткий перечень находок  
и длинный перечень пропаж.  
На то и время декабря,  
на то и поздние светанья.  
Все кончено, я говорю.  
И в поздней горечи свиданья  
твоим дыханием горю.

зову тебя сквозь снег,  
иду сквозь снег, покуда держат ноги.  
Преследуемая из века в век  
летающих звезд стремительным каскадом,  
земля моя летит со мной сквозь снег  
под призрачным, под белым стегопадом.  
Мы рождены, мы в мир пришли сквозь снег,  
его полет над Русью не наруша.  
Метельны взгляды из-под узких век,  
и призрачны, метельны наши души.

Нам все искать, кого-то звать сквозь снег,  
загадкой слыть для тех, кто трезво судит.  
Любить сквозь снег, и уходить сквозь снег,  
и знать, что снег последний вздох остудит.

И если чуда ждет твоя душа,  
я кликну чудо — ветер встрепенется,  
я кликну снег — и он сойдет, спеша,  
я кликну Русь —  
и Русь мне отзовется.

*Вячеслав Куприянов*

\* \* \*

Снег еще только учится ходить  
и сразу же  
репетирует весну:  
тает.  
Деревья  
беспомощно разводят ветвями:  
— Нет,  
говорить мы можем только по листьям,

исписанным солнцем. —  
Скоро  
седая зима  
склонится над чистой школьной те-  
традью  
и выведет первый в своей жизни  
неровный  
лыжный  
след.



# Юрий Левитанский

## ИЗ КНИГИ «ДЕНЬ ТАКОЙ-ТО»

\* \* \*

Давно ли покупали календарь,  
а вот уже почти перелистали  
и вот уже на прежнем пьедестале  
себе воздвигли новый календарь,  
и он стоит, как новый государь,  
чей норов до поры еще неведом,  
и подданным пока не угадать,  
дарует ли он мир и благодать,  
а может быть, проявится не в этом.  
Ах, государь мой, новый календарь,  
три сотни с половиной, чуть поболе,  
страниц надежды, радости и боли,  
спрессованная стопочка листков,  
билетов именных и пропусков  
на право беспрепятственного входа  
под своды наступающего года,  
где точно обозначены уже

часы восхода и часы захода,  
рождения чей-то день и день ухода  
туда, где больше нет календарей  
и нет ни декаблей,  
ни январей,  
а все одно и то же время года.  
Ах, государь мой, новый календарь!  
Что б ни было, пребуду благодарен  
за каждый лист,  
что будет мне подарен,  
за каждый день, такой-то и такой,  
из тех, что мне  
бестрепетной рукой  
отсчитаны и строго и бесстрастно.  
...И снова первый лист перевернуть —  
как с берега высокого нырнуть  
в холодное бегущее пространство.

### ПОПЫТКА УТЕШЕНИЯ

Все непреложней с годами, все чаще и чаще  
я начинаю испытывать странное чувство,  
словно я заново эти листаю страницы,  
словно однажды уже я читал эту книгу.

Мне начинает все чаще с годами казаться —  
и все решительней крепнет во мне убеждение —  
этих листов пожелтелых руками касаться  
мне, несомненно, однажды уже приходилось.

Я говорю вам — послушайте, о, не печальтесь,  
о, не скорбите безмерно о вашей потере, —  
ибо я помню, что где-то на пятой странице  
вы все равно успокоитесь и обретете.

Я говорю вам — не следует так убиваться,  
о, погодите, увидите, все обойдется, —  
ибо я помню, что где-то страниц через десять  
вы напеваете некий мотивчик веселый.

Я говорю вам — не надо заламывать руки,  
хоть вам и кажется небо сегодня с овчину, —  
ибо я знаю, что где-то на сотой странице  
вы улыбаетесь, как ничего не бывало.

Я говорю вам — вы сами потом убедитесь.  
Я говорю вам — ручаюсь моей головою.  
Ибо, воистину, ведаю все, что случится  
следом за тою и следом за этой главою.

Я и себе говорю — ничего, не печалься.  
Я и себя утешаю: не плачь, обойдется.  
Я и себе повторяю: ведь все это было,  
было, бывало, а вот обошлось, миновало.

Я говорю себе — будут и горше страницы,  
будут горчайшие, будут последние строки,  
чтобы печалиться, чтобы заламывать руки,—  
да ведь и это всего до страницы такой-то.

\* \* \*

Всего и надо, что взглядеться,— боже мой,  
всего и дела, что внимательно взглядеться,—  
и не уйдешь, и никуда уже не деться  
от этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться,— боже мой,  
всего и дела, что помедлить над строкою —  
не пролистнуть нетерпеливою рукою,  
а задержаться, прочитать и перечесть.

Мне жаль не узнанной до времени строки.  
И все ж строка — она со временем прочтется  
и перечтется много раз, и ей зачтется,  
и все, что было в ней, останется при ней.

Но вот глаза — они уходят навсегда,  
как некий мир, который так и не открыли,

как некий Рим, который так и не отрыли,  
и не отрыть уже, и в этом вся печаль.

Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас  
за то, что суетно так жили, так спешили,  
что и не знаете, чего себя лишили,  
и не узнаете, и в этом вся печаль.

А впрочем, я вам не судья. Я жил, как все.  
В начале слово безраздельно мной владело.  
А дело после было, после было дело,  
и в этом дело все, и в этом вся печаль.

Мне тем и горек мой сегодняшний удел:  
покуда мнил себя судьей, в пророки метил,  
каких сокровищ под ногами не заметил,  
каких созвездий в небесах не разглядел!

\* \* \*

Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет,  
и удивится — как близко черемухой пахнет,  
пахнет влюбленностью, пахнет любовным признаньем,  
жизнь впереди — как еще не раскрытая книга.

Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет,  
и удивится — как быстро черемуха чахнет,  
сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет,  
пахнет снегами, морозом, зимой, холодами.

Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется,  
кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется  
и задохнется — как пахнет бинтами и йодом,  
и стеарином, и свежей доскою сосновой.

В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом,  
и стеарином, и свежей доскою сосновой.  
Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами  
и — ничего не поделать — черемухой пахнет.

Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем.  
Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признаньем.  
Что бы там ни было с нами, но снова и снова  
пахнет черемухой — и ничего не поделать!

## Владимир Леонович

### ГРУЗИЯ

1

Красота не виновата  
в непомерности избытка.  
Сад возрос витиевато...  
Вай, художник, что за пытка!

Не гляди на цвет граната —  
красота не виновата...

Задохнулся — и на русский  
перевел в слезах от счастья  
вашу негу, ваши сласти  
без усущки и утруски.

Дело счастья — дело божье.  
Холоднее,

дальше,  
выше  
от прекрасного подножья:  
каждую травинку вижу.

Круг — небесная воронка  
свода тесного, — ужели...  
Ниже-ниже, еле-еле —  
мелкий жемчуг жаворонка:  
И наиждет — и рассыплет,  
канет в глубину пространства.  
Кто-то, может, кто-то выпьет  
эту чашу постоянства.

2

В полдень белый —  
невозбранно —  
вновь по улочке Кашена  
я взбираюсь от Майдана  
так нетвердо и душевно...

Стороне стою на правой,  
и трезвею, и ни с места:  
черноглазое семейство,  
через крышу — ствол корявый.

Через пол и через крышу.  
Как теснились и нуждались —  
это я прекрасно вижу.  
Не срубили — догадались.

Я — душа — переселенец,  
помнящий земные сроки,  
вижу снова, что младенец  
обнимает ствол широкий...

А пока стою на правой,  
на меня глядит, как бука,  
некто сотканный из звука  
бородатый и лукавый.

— Дерево земли прекрасной  
и дитя — благословенны! —  
Было дивно и мгновенно!  
Страшно было и согласнo!

И побрел-побрел — слоновьей  
легкою своей походкой  
за последнюю любовь, —  
а вы думали: за водкой?

3

В поле снежном, в черной бане  
не бывали мы с тобою...  
В душный полдень — ледяное  
не допили тибаяни...

Нам отныне врозь без вести  
пропадать судьба судила.  
Есть одно такое диво...  
Доберемся врозь и вместе

до ступеней Зедазени,  
где идет небесный берег,  
до чудесного спасенья  
при слезах столиц обеих,

## Семен Липкин

### КОЧЕВНИКИ

Разбрал небожителей гром-богохульник,  
Облака поплыли голова к голове,  
А внизу, одинокий, ни с кем не в родстве,  
Загорелся багульник, забайкальский багульник,  
Синим с пурпуром пламенем вспыхнул в траве.

Говорят мне таежные свежие травы:  
«Мы, кочевников племя, пойдем сквозь года  
Неизвестно когда, неизвестно куда.  
Ничего нам не надо, ни богатства, ни славы,  
Это мудрость — уйти, не оставив следа.

Полиняет игольчатый мех на деревьях.  
Кто расскажет насельникам дикой земли,  
Что и мы здесь когда-то недолго росли?  
Мы — кочевников племя. Кто же вспомнит в кочевьях,  
Что багульника пепел рассыпан вдали?»

## КИПАРИС

За листвою, зеленеющей в зное,  
Дышит море, и бледен закат.  
Я один, но со мной эти двое:  
Воробьи в кипарисовой хвое  
Серым тельцем блаженно дрожат.

Хорошо моим братикам младшим  
В хрупкой хижине, в легкой тени,  
И акация ангелом падшим  
Наклоняется к иглам увядшим,  
И, смутясь, ей внимают они.

Не о них ли душа укололась?  
Не таит ли в себе кипарис  
Твой тревожный, тревожащий голос  
И улыбку, в которой веселость  
И восточная горечь слились?

Ведь и я одарен увяданьем  
И на том эти ветви ловлю,  
Что они пред последним свиданьем  
С грустной завистью и ожиданьем  
Смотрят: вправду ль живу и люблю?

## *Инна Лиснянская*

\* \* \*

За ночь одну пожелтели березы,  
Поздней красой меня сводят с ума.  
Господи боже, кому мои слезы,  
Господи боже, кому я сама?

Другом забыта, покинута музой,  
В сад с непокрытой иду головой,—  
Нету сейчас неразрывней союза,  
Чем с пожелтевшею за ночь листвою.

Каждый листок, как отдельное слово,  
Скоро закружит в густой вышине.  
Веткой березовой стать я готова,  
Только не будет той милости мне.

Слишком грешна, чтобы сделаться  
частью  
Музыки дерева, муки презрев,  
Слишком я долго не верила в счастье  
Соединенья людей и дерев.

## Марк Лисянский

### ТЕЛЕГРАММА

Письма чаще приносят в наш дом по утрам,  
Нам вручают и ночью и днем телеграммы.  
Я боюсь телеграмм,  
Я боюсь телеграмм,  
Потому что на свете есть папы и мамы.

Я боюсь телеграмм, как боятся огня  
Из нацеленных в душу незримых орудий,  
Потому что повсюду друзья у меня,  
Потому что есть просто хорошие люди.

Мы живем вопреки беспощадным ветрам  
И от них не находим надежного средства.  
Я немало таких получал телеграмм,  
От которых в клочки разрывается сердце.

Я беру телеграмму — иначе нельзя, —  
Подвергаюсь немедля смертельному риску.  
Нет, она запечатана вовсе не зря,  
И недаром ее отдают под расписку.

Я боюсь телеграмм,  
Я боюсь телеграмм  
Среди белого дня,  
Среди ночи кромешной,  
Потому что беда мчится молнией к нам,  
Ну а радость плетется дорожкой неспешной.

Завтра ты вылетаешь навстречу судьбе,  
Завтра встретимся мы...  
С плеч — огромная глыба.  
Говорю почтальону, тебе и себе:  
— Все в порядке...  
Спасибо! Спасибо! Спасибо!

## Владимир Лифшиц

\* \* \*

Окраина деревни. Зимний день.  
Бой отгремел. Безмолвие. Безлюдье.  
Осадное немецкое орудье  
Громадную отбрасывает тень.

Ногами в той тени, а русой головой  
На солнечном снегу, в оскале смертной  
муки  
Распялив рот, крестом раскинув руки,  
Лежит артиллерист. Он немец. Он не  
свой.

Он, Ленинград снарядами грызя,  
Возможно, был и сам подобен волку,  
Но на его мальчишескую челку  
Смотреть нельзя и не смотреть нельзя.

Убийцей вряд ли был он по природе,  
Да их и нет,  
Нет ни в одном народе,  
Выращивать их нужно, добывать,  
Выхаживать, — готовых не бывает...

Они пришли.  
И тех, кто убивает,  
Мы тоже научились убивать.

## «АСТОРИЯ»

В гостинице «Астория»  
Свободны номера.  
Те самые, которые  
Топить давно пора.

Но вот уж год не топлено,  
Не помнят — кто в них жил.  
(А лодка та потоплена,  
Где Лебедев служил...)

И стопка не пригублена —  
Пока поберегу.  
(А полушубок Шубина  
Под Волховом, в снегу...)

Здесь немец проектировал  
Устроить свой банкет,  
Обстреливал, пикировал,  
Да вот не вышло. Нет.

А мы, придя в «Асторию»,  
Свои пайки — на стол:  
Так за победу скорую,  
Уж коли случай свел!

Колдуя над кисетами  
Махорочной трухи,  
Друг другу до рассвета мы  
Начнем читать стихи.

На вид сидим спокойные,  
Но втайне каждый рад,  
Что немец дальнбойные  
Кладет не в наш квадрат.

Два годика без малого  
Еще нам воевать...  
И Шефнер за Шувалово  
Торопится опять.

Еще придется лихо нам...  
Прощаемся с утра.  
За Толей Чивилихиным  
Гитовичу пора.

А там и я под Колпино  
В сугробах побреду,  
Что бомбами раздолбано  
И замерло во льду.

Но как легко нам дышится  
Средь белых этих вьюг,  
Как дружится, как пишется,  
Как чисто все вокруг!

И все уже — история,  
А словно бы вчера...

В гостинице «Астория»  
Свободны номера.

## Борис Лозовой

### В РАЗВЕДКЕ

Над долиной Берелеха  
полог ночи опустился,  
и постукивает сухо  
звездным посохом мороз.  
Он по руслу разгулялся,  
он по пойме расходился,  
он прошелся по увалам,  
склоны сопот прихватил.

И накинуд на распадки  
шкуру серого тумана,  
и шуршит туман, сползая  
в русло северной реки.  
В снег зарылись куропатки,  
горностай забился в нору,  
и эвен сидит в яранге  
у тревожного огня.

И машины прихватило  
на Колымской автотрассе,  
шофера их побросали,  
экспедиторы ушли.  
И рассказывают байки  
возле печки на заправках,  
прикрывая лоб ладонью  
от струистого тепла.

А под мхами и корнями,  
под суглинками и глиной,  
под булыжником и галькой  
прячет золото река.  
И поблескивают тускло  
зерна рыжего металла,  
уходящего под землю  
от лопаты и кайла.

Дремлют маленькие солнца  
кровожадных самородков,  
не бывавшие от века  
на поверхности земли.  
Мы пришли сюда за ними,  
распрягли своих оленей.  
Ставим белые палатки —  
скоро печки загудят!

А потом мы срубим баню,  
до бела разгоним печку —  
и из бани прямо в прорубь  
и обратно на полок!

И взрывчатка захохочет,  
и распадки засмеются,  
солнце рыжею лисицей  
из-за сопки поглядит.

Уползет туман из поймы,  
и запахнет теплым хлебом,  
и эвен уйдет со стадом  
на озере Чиняки...  
А пока мороз лютует,  
притаились самородки,  
и дрожащими кругами  
окольцована луна.

## Майя Луговская

\* \* \*

Азиатскую книгу луна распахнула.  
Так причудливы тени кустов саксаула,  
Будто буквы Корана.  
Поднимаемся рано.  
Проезжает наряд пограничный... Я тоже  
На границе свершений, в радостной дрожи.  
Легкий ветер листает страницы песков.

Звезды меркнут — мой вечный, мой  
временный кров.  
Мне бы вечно сидеть у пустынных костров.  
Но не все родники здесь изучены мною.  
Я привыкла к туркменскому синему зною.  
Я опять отправляюсь в маршрутное счастье.  
Позавидуйте мне — проявите участие!

## Михаил Львов

### НА ЮБИЛЕЕ

*Сергею Наровчатову*

Еще ходившие не грузно,  
Прицельные, как при стрельбе,  
Мы заявили всесоюзно  
И всенародно о себе,  
О поколении поэтов,  
Пришедших нежными с войны.  
Еще нам — тысячи рассветов  
До юбилейной седины.  
Знавали мы и попаданья  
На фронте, в жизни и в стихах.  
Знавали мы и пропаданья  
Не только без вести в боях.

И все-таки прошли знаменно  
Путь от войны до седины.  
Под юбилейные знамена  
Теперь мы вместе сведены.  
Припомним лучшие минуты,  
А не пропащие часы.  
Припомним в нашу честь салюты,—  
Положим это на весы;  
И зависть в юношей зароним,  
Чуть прихвастнем, чуть утаим,  
И малость гордости позволим  
Себе и сверстникам своим.

## Иван Лыцов

### НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Все окна настежь, но никто не слышит,  
Как дождь ночной идет: все спят давно.  
И так легко в груди, и сердце дышит  
Так ровно! И светло у нас окно.

Все сверху льнет, а небо льнет все книзу.  
Слились так близко тучи и поля.  
И что-то ласковое ходит по карнизу:  
То с облаком целуется земля.

Негромкий шум всю ночь к лугам исходит,  
Блистанием охвачены леса...  
Любимая, не плачь, ведь все проходит:  
То тихо плачут ночью небеса.

Все утром встанут, будет все так бодро,  
Так просветленно станут облака  
Сиять над миром. Снова будет ведро!  
...Поплачь и ты, не видно мне пока.

## Иван Малохаткин

\* \* \*

Утренний свет осыпался  
В позднюю рожь у пруда.  
В заводи месяц купался —  
Долго качалась вода.

Тихо в окрестностях луга.  
Там, где дымилась стерня,  
Голосом старого друга  
Кто-то окликнул меня.

Может, слышалось просто.  
Нет ни друзей,  
Ни родни.  
Там, в неразгаданных верстах,  
Все растерялись они.

И колокольчик рассвета  
Нынче томительно глух.  
Вновь за околицей лета  
Кто-то спокойно потух.

И, принимая тревоги  
Все, что идут по пятам,  
Этой судьбы и дороги,  
Я никому не отдам.



\* \* \*

Нас любит город только раз.  
Второго раза не бывает.  
Уедешь, скроешься от глаз,  
И тут же город забывает!  
Ты старше во второй приезд,  
А солнце — что-то холоднее.  
Невзрачным кажется подъезд,  
Где так светло стоял ты с нею!

Цветы на площади не те,  
И слишком тягостны рассветы.  
В своей наивной простоте  
Ты совершил поездку эту.  
Не возвращайся никогда  
Туда, где памятью немеют.  
Увы, чужие города  
Любить нас дважды не умеют!

### ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ленинградский университет.  
Тихо галереей-коридором  
Прохожу. Спиною чую: вслед  
Кто-то жжет настороженным взором.

Чуткий до болезненности Блок,  
Писарев, одушевленный гневом:  
«Что на этом свете сделать смог?  
Мир каким порадуешь посевом?!»

Руки скорбно на груди сложив,  
Озабоченный глядит Некрасов.  
Человек — не только хлебом жив,  
Человек рожден для новых сказок!

Со стены Ульяновы сверлят  
Взглядами и нежно и сурово:  
«Время не вернется назад.  
Не страшись свое промолвить слово!»

Менделеев. Два огромных неба —  
Голубые строгие глаза.  
«Разбазаришь жизнь свою нелепо,  
Если ничего не доказал!»

Коридор двенадцати коллегий  
Жжет глазами строгими меня.

Не спасаюсь в торопливом беге,  
Я стою в наплывах белых дня!..

\* \* \*

Нет, я не стал скупее в чувствах,  
Я осмотрительнее стал.  
О, как порой бывает грустно,  
Что бисер попусту метал!

Мне надоела мелочь схваток,  
Любовь, где больше мрак да мрак,  
Вот потому-то чувств остаток  
Несу я осторожно так!

БАНЯ-ЛУКА

Высоко в горах Герцеговины  
Мелочь принимается в расчет,—  
Если утопить стекло кабины,  
Грейдерною пылью занесет.

Правая выхватывает фара  
Возле груды пьюков<sup>1</sup> и лопат  
Знак дорожный горного обвала,  
Чтоб не угодить под камнепад.

Повороты вывихнуты круто,  
Жизнь копейкой пляшет на кону,  
Скалы не подвластны стали Круппа,  
Люди не подсудны никому.

Но взглядишь внимательней и зорче  
В родовые каменные корчи,  
В эти схватки гнева и любви,—  
Высоко в горах Герцеговины,  
Где по склонам катятся лавины,  
Чуждого пришельца улови.

Он храпит в пещере перевала,  
Никогда его не волновало,  
Что о нем в народе говорят.  
Высоко забрался этот шустрый  
Немудреный отпрыск Заратустры,  
Может, серб, а может, и хорват.

Что они умеют, эти руки,  
И какому служат ремеслу?—  
Опрокинуть в пыльной Баня-Луке  
Мусорную урну на углу.

Одобряю. Стоящее дело...  
Мчалось время голову сломя—  
И за ним чуть-чуть недоглядела  
Связанная с временем семья.

В Баня-Луке битники босые,  
Люты, худощавы и смуглы,

Не как в Штатах и не как в России,  
А совсем особые — свои.

Битники не выражены словом  
И не истолкованы пока.  
В Баня-Луке, в городе торговом,  
Улица прямая широка.

Есть мечети. Но молиться негде.  
Отвернулся от страны Аллах.  
В Баня-Луке, на прямом проспекте,  
Битники дежурят на углах.

На проспекте битники дежурят,  
Брови хмурят, чуингвам жуют,  
Сигареты «Филип Моррис» курят,  
Фуги Баха про себя поют.

Ночь светла. Погода неплохая.  
Засвистит вожак — и там и тут  
Вдоль всего проспекта, громыхая,  
Мусорные урны упадут.

А когда вконец надоедает  
У свободы в рабстве пребывать,  
Баня-Луку битник покидает,  
Чтоб свободным сделаться опять.

Там багрец и охра в листьях палых,  
Там рабами Рима в облаках  
Выбит путь на выщербленных  
И не реставрирован никак.

Там, в пещере мертвого пророка,  
Подложив под голову гранит,  
В забытии железном, одиноко  
Отпрыск Заратустры возлежит.

Он храпит, худой, длинноволосый,  
Бородой обросший, трезвый в дым,  
И на эпохальные вопросы  
Отвечает храпом молодым.

---

<sup>1</sup> Пьюки — кирки (местное).

Лариса Миллер

\* \* \*

И мы с тобой внесли свои пожитки  
В огромный дом, где было все в  
избытке  
Еще до нас. Где гибли и цвели,  
В любви клялись и клятвы нарушали,  
Впадали в ересь, берегли скрижали  
И верили, что лучшее — вдали.  
Но что нам тяжкий опыт всех веков  
И знание иных тысячелетий,  
Когда мы снова не находим слов  
И немые, точно первые на свете,  
Перед лицом и счастья и утрат.  
И в доме, что Овидий и Гораций  
Воспели и оплакали сто крат,  
Как братья за перо? И как не братья?

\* \* \*

Ну вот и мы умудрены,  
И мы познали груз вины,  
И гнет любви, и вкус страданья,  
И горечь позднего свиданья,  
И жизни праздной благодать,  
И полный тягот год недужный,  
И знаем, чего стоит ждать,  
И знаем, чего ждать не нужно.  
И, боже, как прекрасно жить -  
Вот так, с открытыми глазами,  
Умея пренебречь азами  
И не боясь утратить нить.

\* \* \*

Дней разнотелих вьется череда,  
Приходит срок — пустеют города  
Улыбок, встреч и долгих разговоров,  
Согласья тихого и молчаливых взоров.  
Но я земли не уступлю ни пяди  
В том нежилом и опустевшем граде,  
И не сожгу его, и не разрушу,  
И ничего, что было, не нарушу.  
Он будет мною охраняем свято.  
Я помню краски каждого заката.  
Я буду приходить туда в мечтах,  
Распугивая оголтелых птах,  
За долгий срок привыкших  
к запустенью,  
И, наклоняясь к каждому растению,  
Касаться лепестков в знакомых крапах  
И медленно вдыхать забытый запах.

Какой бывает тишина  
И как она взрываться может,  
Когда душа искушена,  
Когда кусок немалый прожит,  
Когда знакомо все кругом —  
Листа осеннего прожилки,  
Пушок у сына на затылке  
И лестница при входе в дом.  
И я, распахивая дверь  
И точно зная, что за нею  
Ждала вчера и жду теперь,  
В нее вхожу, благоговей.

\* \* \*

И снова я заговорила  
Тогда, когда молчать бы надо.  
Какая-то глухая сила  
Велит мне третьи сутки кряду  
Искать слова и все, что ныло,  
Бумаге поверять без толку,  
Когда всего-то надо было  
Лишь выплакаться втихомолку.

## МИРАЖ

Щенок был одинок — он в детстве потерялся  
И вот теперь с трудом в собаки выбивался,  
Тут переспит, там драку обойдет,  
Где выпросит кусок, где стянет, где найдет.  
Короче говоря, жилось бедняге туго,  
Бездомный, он искал в любом мальчишке друга.  
Однажды увязался за одним,  
Весь день сопровождал, хвостом вилая,  
В глаза смотрел, подобострастно лая,  
Но от порога был опять гоним.  
За чьим-нибудь крыльцом, под чей-нибудь забор,  
Когда бы спать бродяжка ни ложился,  
Один мираж ему туманил взор,  
Один блаженный сон ему упорно снился,  
Один и тот же сон, сегодня, как вчера:  
Ошейник. Цепь. Собачья конура!  
И он на привязи с утра и до утра!

Юнна Мориц

\* \* \*

То ли плеск, то ли бульканье  
                                зяблика,  
То ли вздох, то ли блик, то ли  
                                всхлип,—  
То ли в облачной области аблока,  
То ли в зарослях ветреных лип.

Это слышимо в полночь и в утренник,  
На прохладе и в душной глуши.  
Что за птица, какой целомудренник  
Этот голос извлек из души?

Возникает и в лодке, и в поезде,  
Шла за хлебом — и слышала вслед,  
И растратила молодость в поиске,  
Обнищав на обратный билет.

А вчера — до новинок охотница  
Уверяла подружку одну,  
Что душа моя вечно находится  
У какого-то звука в плену.

\* \* \*

Черкаскы. Свирепость сирени.  
Трещат перепонки оград.  
И гроздью свисают ступени,  
Туманные, как виноград.

Затмились отвагой и весом  
Природы, питающей нас,  
Ворота под медным навесом  
И все выкрутасы террас.

Плоды над котлами нависли  
В садах, где варенья бурлят.  
У дачников даже при мысли  
О яблоках — зубы болят.

Качелями связаны сливы.  
Не зная, что это взаимно,  
Мы молоды оба и живы,  
И живы и молоды мы!

Лицо твое столь крутолобо,  
Что выглядит светлым в тени,  
Мы живы и молоды оба  
И странствуем всюду одни.

Ситро допивая у кассы,  
Мы поезда ждем у окна,  
Чтоб наспех покинуть Черкаскы  
И выпить всю чашу до дна.

\* \* \*

Отворяю семь дверей —  
Больно перепонкам.  
За последней из дверей —  
Сердце матери моей  
Над моим ребенком.

Там скорлупкам нет числа,  
Слишком дело хрупко!  
Кипяченые масла  
Для младенца припасла  
Белая голубка.

Колдованьем над питьем  
Голову ломая,

Упивается дитем,  
Этим новеньким житьем,  
Горлица хромая.

И, держа на животе  
Ляльку в одеяле,  
Что-то варит на плите,  
Чтобы ноги при дите  
В старость не хромали.

Вот и счастье — что жива,  
Слабая, как муха.  
Ей младенца голова

Подставляет под слова  
Золотое ухо.

Мне не слышно в стороне,  
Что это за речи.  
А оно растет во сне,  
А оно уже вполне  
Ликом человеچه.

А она живет при нем,  
Меньшится воочью,  
Словно ветка над огнем.  
Это больно видеть днем,  
Но больнее — ночью.

## ОСЕННИЙ ЮГ

Как ветрено! Как неудобно!  
От неба, где ярость огня,  
Доносится ежеминутно  
Остуда грядущего дня.

Сквозняк пробирает ущелья,  
Над садом — холодная тень.  
Прощайте, блаженство безделья,  
И ты, вдохновенная лень!

Еще на неделю растянет  
Вино этот рай над людьми.  
Магнолия дышит страстями,  
Которые старше любви.

Еще обойдемся накидкой  
Под ливнем — одной на двоих.

Опутан серебряной ниткой  
Мускат, словно вымыслом — стих.

Но, вымысел с правдой сличая,  
Лимонный склоняется плод  
Над чашкой грузинского чая,  
Душе обещающая оплот.

У вымысла — все обиходно,  
В нем — смыслы, он прет на  
рожон.  
Как ветрено! Как превосходно!  
Как пасмурно! Как хорошо!

Под струями ливня с вокзала  
Отъедет полночный состав,  
Чтоб тайну во мне указала  
Душа, за окошком привстав.

## ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Когда на склоне дня с холодных облаков  
Мельчайшая звезда свисает земляникой  
И слышно голоса простуженных волков  
Оттуда, где леса дрожат на воле дикой  
И снег немнущийся блистает на холмах,  
И мнутя сумерки на лестницах в домах,  
Где лампы — желтые и суп разит петрушкой, —  
Я слышу дуновение и взмах  
И следом вижу, как с молочной кружкой  
Беззубое дитя идет к столу,  
И дерево, сочащее смолу,  
Нас освещает золотой игрушкой.  
Ребенок с кружкой молока в руке  
Блаженствует в разодранном чулке  
На табурете, сдобренном подушкой,  
И смотрит в елку, видя вдалеке  
Луну на облаке, метель на каблуке,  
Дым над избушкой, ветер с погремушкой,  
Летанье легкой птицы над кормушкой  
И земляничную звезду на стебельке.  
Ребенок дует в кружку, остужая  
Горячее коровье молоко,  
И всюду взором странствует легко,  
Любую область мира освежая.  
Его лицо, страстей не выражая,  
Хранит молчание о доблестях души —  
Не маяться и не скучать в глуши,  
В тени, в тиши. Масличным светом урожая  
Сияет шар на шелковом шнурке,  
Луна на облаке и яблоки в кульке,  
Одной и той же нитью окружая  
Ребенка с кружкой молока в руке  
И земляничную звезду на стебельке,  
Наш зимний вечер так изображая.

*Александр Москвитин*

## МГНОВЕНЬЯ

Вижу вновь себя, как видят сны,  
может быть, за сутки до войны,  
на рассвете с бабушкой вдвоем  
мы степной тропинкою бредем,  
может быть, за час, всего за час  
до того, как солнца медный таз  
горизонт расплавит ободком,  
чтоб скатиться в росы кувырком,  
может быть, за несколько минут  
до того, как маки расцветут.

Вижу вновь себя, как видят сны,  
может быть, за год до той весны,  
на закате в жуткой мгле высот  
стая птиц беду и смерть несет,  
может быть, за несколько секунд  
до того, как взрывы рассекут  
горизонт и, плавясь от огня,  
небо с визгом рухнет на меня,  
может быть, за миг, всего за миг  
до того, как я исторгну крик.

Вижу вновь себя, как видят сны,  
под салютом праздничной страны,  
в плеске маршей, факелов, знамен,  
медных труб, плакатов и колонн,  
в стайке повзрослевшей детворы

довоенной взрывчатой поры,  
на скончанье гибельной страды,  
в самом сердце счастья и беды...  
Свет знамен, огня багряный свет  
выкрасили память в маков цвет.

Людмила Мухина

\* \* \*

Уж такие, видно, пляски русские...  
 Поплывет красавица, как пава,  
 Да взмахнет высоко кистью узкою,  
 Поведя бровями величаво,  
 И покажется: под рукавами пышными  
 Притаились сказочные птицы.

Вот взмахнет еще — взлетят повыше  
Над плечами статными кружиться.  
Башмачок сафьянный — алой  
лодочкой  
Выплывает из цветного ситца.  
Точно песня вольная летит молодочка,  
Будто не касаясь половицы.

\* \* \*

Весна ранняя, несмелая  
Рассмеется — погрустит.  
Вечеру пороша белая.  
Поутру подголубит.  
Огоньком осинка вздуется  
Из-за мокрого сучка.

Постоит весна — любитесь.  
 Попрощается — «пока...».  
 Улетает — вьет порошею  
 Возле ивок — желтых бус.  
 Не робейте, мол, хорошие,  
 Завтра ласковой вернусь.

*Александр Николаев*

## ГАДАЛКА

Заклинала сто раз или триста:  
— Пятака на судьбу не жалей! —  
И звенели тихонько мониста  
из серебряных царских рублей.

Пятака для гадалки не жалко,  
что корысти мне в том пятакe?  
По руке мне гадала гадалка  
в разноцветном цыганском платке.

Повторяя название линий,  
романтически-царственный жест,  
поднимала от холода синий,  
ревматически скрюченный перст.

Я в гаданья гадалки не верю  
и не ставлю гаданья ни в грош,  
но она нагадала потерю,  
а куда от потери уйдешь?

Видно, так установлено свыше, на себе я не раз проверял: на минуту прилег или вышел — и минуту уже потерял.

Потерял дорогую улыбку  
или доброжелательный взгляд,  
но не можешь исправить ошибку  
и вернуть ту улыбку назад.

Мы привыкли терять то и дело невзначай, мимоходом, в пути. Тут гадалка как в воду глядела, легче нам потерять, чем найти.

И еще предсказанье гадалки  
я запомнил себе на беду,  
будто счастье легко я найду,  
как консервную банку на свалке.

И пустился я в путь спозаранку,  
и пошел вдоль дорожных огней,  
и нашел я консервную банку  
и цветную наклейку на ней.

Мне негаданно встретилось счастье,  
но совсем это было не так,  
а гадалка в том счастье участие  
принимала всего на пятак.

*Елена Николаевская*

\* \* \*

Мне снился не ты,  
А душевный покой,  
Особый покой, совершенный,  
В котором жила,—  
Не ранимый тоской,  
Тот самый, забытый, блаженный...  
Не жест, не лицо  
И не слово в тиши,—

А радость, что вдруг накатилась...  
Мне снился не ты —  
Состоянье души,  
В котором с тобой находилась  
Когда-то... За гранью годов...  
За чертой...  
Унынию чуждый и страхам —  
Душевный покой, не подмятый тщетой  
Стараний, рассыпанных прахом.

\* \* \*

К тебе иду — куда бы я ни шла,  
К слиянью рек, к сплетению тропинок,  
В крошечной мгле, при свете звезд-  
крупинки. —

К тебе иду — куда бы я ни шла.

Какая б ширь меня ни обожгла,  
Какой бы дождь ни исхлестал до  
сседин,  
Чего бы я ни натерпелась за день,—  
К тебе иду — куда бы я ни шла.

К тебе иду — по травам и по льду,  
К тебе иду — и в радости и в грусти.  
Куда бы я ни шла — к истоку, к  
устью,  
На праздник, на беду, — к тебе иду.



## Сергей Орлов

\* \* \*

Всю ночь за лесом где-то шла гроза,  
И мне казалось, что на белом свете  
Я молод вновь, как высказать нельзя,  
И сплю на фронте в эшелоне третьем.  
Возле дороги в травах и лозе  
Раскинув руки, ниц упав неловко,  
Я сплю один, похоронив друзей.  
Полк отвели на переформировку.  
Горят на горизонте города,  
Кричат дороги, пыль белей известки,  
А мне не будет в жизни никогда  
Спокойней, чем на этом перекрестке.  
Как будто в древней песне — позади  
Уже Россия за холмами где-то.  
И на плече моем, присев, сидит,  
Как на холме, птенец, теплом согретый.  
Меня не будит ни орудий рев,  
Ни марш пехоты, проходящей мимо.

Высокий день встает из-за холмов,  
И солнце раздвигает клубы дыма  
Из-за холмов, из-за моей спины,  
Покрытой солью белой гимнастерки.  
Кончается четвертый год войны,  
И где-то дребезжат окошка створки.  
А это все за лесом шла гроза,  
Гром полыхал и падали зарницы.  
Слезами застилали мне глаза  
Друзей погибших молодые лица,  
Была душа тревогою полна,  
Забывшие сильнее болели раны,  
И вспыхивала белая стена,  
Печатавшая перекрестье рамы.  
На горизонте вновь стоял пожар,  
Крича летели вспугнутые птицы,  
А я один, я без оружия, стар,  
И даже пальцем не пошевелиться...

\* \* \*

За рекой-рекою в зареке  
Возле самого села,  
Под вечер и в утра зареве  
Песня запросто жила.

Неожиданно запетая  
Миг назад, а может век,  
Словно дождь весенний, светлая,  
Легкая, как первый снег.

Словно конь буланый в яблоках  
На лугу в тени берез,  
В радуге она жила-была,  
В перезвоне ранних рос.

Я за ней ходил, обхаживал,  
Услыхав издалека.  
Знал и помнил слово каждое.  
Да не выдалась строка.

Пролетела беззаветная.  
И теперь сквозь все года  
Не забуду песню эту я  
И не вспомню никогда.

## ВЕСНОЙ

Все предвещает в мире перемены:  
Скворец на ветке, радуга в полях,  
И жемчуга на ниточке антенны,  
И окна неба в синих облаках.  
Все в мире предвещает перемены:  
Росток зерна, пробивший пласт земли,  
Далекий ливень, лебедь в хлопьях пены,  
Трубящие тревогу журавли.  
Рев олених на тундровых угодьях,  
И в устьях рек кипящий ход кеты,  
И солнца с неба кинутые сходни  
На синих плесах в зарослях тресты.  
И спящих женщин жаркие колени  
Полны предвестьем дрожи перемен,  
Рожденья жизни, завязи цветенья,  
Бессмертного в пожаре тока вен.  
Все ожиданьем перемен чревато,  
Чревато, даже если не полно.  
Леса, поля, рассветы и закаты,  
Высь поднебесья и морское дно.  
Пусть кто-то по иным приметам судит,  
По звону стали и счетам измен,  
И думает, что никогда не будет  
На всей земле счастливых перемен.

## КРУЖЕВНИЦАМ

За горами, за лесами,  
В заповедной стороне,  
Где поют в сугробах сани  
С подрезами в тишине.  
Снегу полная держава,  
Вся земля белым-бела.  
Там — собором многоглавым  
На юру стоит ветла.  
Там — дымки из труб, как спицы  
В синей выси-вышине.  
Звонко цвинькают синецы  
На оранжевой сосне.

Из мороза, льда и солнца  
Выстроены терема.  
Белым пламенем в оконца  
Смотрит алая зима.  
Там полы белы намыты,  
Занавески голубы.  
Без утайки там открыто,  
Между делом вроде бы,  
Сказки те, что все на свете  
До сих пор как чудо чтут,  
В кружевечком сельсовете  
Бабы запросто плетут.

## Лев Озеров

\* \* \*

Листва закипает, как наши двадцатые,  
Когда Маяковский с Асеевым в дружестве  
Писали стихи о любви и о мужестве,  
Ходили обритые и не усатые,  
Когда Пастернак в бормотанье восторженном,  
Стремительном, миротворяще-встревоженном,  
Слагал свои строки и тут же выбрасывал,  
Сквозь жизнь пробираясь движением брассовым.  
Когда над Есениным рдяными красками  
Пылали все зори рязанские истою  
И Хлебников числа свои перелистывал  
И впроголодь пел, детворою облаканный...  
Листва закипает, как годы начальные,  
Уже отдаленные дымкой забвения,  
И новые к жизни идут поколения,  
Но листья кипят, будто годы те дальние,  
Те годы начальные, годы двадцатые:  
Мы нищие были, мы были богатые.

## Булат Окуджава

### ЧУДЕСНЫЙ ВАЛЬС

Заезжий музыкант целуется с трубою.  
Пассажи по утрам, так просто, ни о чем.  
Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою.  
Прижмись ко мне плечом.  
Прижмись ко мне плечом.

Живет он третий день в гостинице районной,  
где койка у окна — всего лишь по рублю.  
И на своей трубе, как чайник раскаленной,  
Вздыхает тяжело...  
А я тебя люблю.

Ты слушаешь его задумчиво и кротко,  
как пенье соловья, как дождь и как прибой.  
Его большой трубы простуженная глотка  
отчаянно хрипит...  
(Труба, трубы, трубой.)

Трубач играет туш, трубач потеет в гамме,  
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя...  
Но как портрет судьбы — он весь в оконной раме,  
да любит не тебя...  
А я люблю тебя.

Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,  
чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист, кружа...  
Не много ль я хочу, всему давая цену?  
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?

### ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,  
когда луны колесико затренькает по тракту,  
и силуэт совиный склонится с облучка,  
и прямо в душу грянет простой романс сверчка.

Пускай глядит с порога красотка, увядая,  
та гордая, та злая, слепая и святая...  
Что — холод ее ручек? Что — жар ее перин?..  
Давай, брат, отрешимся.  
Давай, брат, воспарим!

Жена, как говорится, найдет себе другого,  
какого-никакого, как ты, недорогого.  
А дальняя дорога дана тебе судьбой,  
как матушкины слезы, всегда она с тобой.

Покуда ночь длится, покуда бричка катит,  
дороги этой дальней на нас обоих хватит.  
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?  
Чего не потеряешь — того, брат, не найдешь.

От сосен свет целебный, от неба запах хлебный,  
а от любви бледной сыночек будет бедный,  
а дальняя дорога...  
а дальняя дорога...  
а дальняя дорога...

## Николай Панченко

\* \* \*

Никто ни к кому не приставлен мешать —  
идти по земле, как задачку решать,  
задачку решать,

как по делу идти:  
мы все, как ни странно, на старом пути.

Все те же засечки,  
светил ворожба,

на горке у речки —  
все та же изба.  
Все те же засовы

да ларчик без дна.

И он — не особый.  
И та же — она...

Оконные рамы  
все так же — крестом,  
исконные драмы и шутки — о том...  
И жуткая песня в кирпичной трубе,  
когда — ничего! — ни ему, ни тебе.

Никто не мешает — никто никому! —  
какую-то малость додумать ему,  
какую-то шалость оплаченных дней  
доплакать, додумать, дочувствовать ей...

А в этой больничной одежде,  
где я и четыре угла,—  
люби меня просто, как прежде,  
когда не любить не могла...

## Юрий Панкратов

## ЧУДАК

В облачение шерстяном,  
в теплой кожаной тужурке  
пребывает на дежурстве  
самоучка астроном.

Дымен воздух городской.  
Темен звездный гороскоп.  
Взором грозного циклопа  
смотрит в небо телескоп.

Ровно в полночь небосклон  
завершает круг почета.  
Свысока взирает он  
на работу звездочета.

Чудодей глядит до слез  
в пустоту над кровлей зданья,  
озабоченный всерьез  
состояньем мирозданья.

Понукая звездный воз,  
млечный выпас измеряет,  
распорядок древних звезд  
с картой пухлою сверяет.

Где-то буйствует гроза,  
милый милую теряет,

где-то мертвые глаза  
ворон медленный терзает,

кто-то в блеске мишуры  
задыхается от счастья,  
где-то Вечные миры  
разлетаются на части...

Ну а здесь блаженство.  
Лишь  
веток ветреная дрожь  
нарушает эту тишь.  
Дым сирени. Звездный дождь...

Вот и снова через небо  
по окружности стекла  
ослепительно и немо  
капля звездная стекла.

Поздно ночью астроном,  
вороша седые прядки,  
пишет в тоненькой тетрадке:

«На сегодня — в основном  
во Вселенной все в порядке»...

В общем ясно: все в порядке...  
Все в порядке — в основном...

\* \* \*

Плещет в омуте голавль,  
в лодке всхлипывает плица...  
Только мне опять не спится,  
только мне опять грустится.  
А засну — опять приснится  
птица гордая

журавль.

Рядом с горьким иван-чаем  
алый цветик-семицветик  
грозым пламенем качает  
сонный звездный семисвечник.

На лугу, где стынут ветлы,  
где пасутся кобылицы,  
обо мне ночные ведьмы  
сочиняют небылицы.

Плачет чибис и ненастье  
мне пророчит, как нарочно:  
— Человеческое счастье  
так случайно и непрочно...—  
Предвещает боль разлуки,  
свист змеи в созревшем хлебе.  
Знай, гордец, синица в руки  
лучше,

чем журавль в небе...

Только мне

опять не спится,  
только мне опять поется,  
и журавль,  
седая птица,  
надо мной крылами бьется...

## *Анатолий Передрев*

### ВОСПОМИНАНИЕ О СТАРШЕМ БРАТЕ

То ли сон о старшем брате,  
То ли память детских лет:  
Рук широкое объятье.  
Портупея. Пистолет.

Помню все на цвет, на запах,  
Помню, главное, на слух:  
«Дан приказ — ему на запад...» —  
Песня слышалась вокруг.

С этой песней на неделю  
Прибыл он под отчий кров...  
С этой песней скрипнул дверью,  
Слышу скрип его шагов.

Скрип сапог живого брата,  
Уходящего от нас,—  
Дан приказ — ему на запад,

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Зачем ты снова, как с повинной,  
У всей округи на виду,  
Стоишь на улице пустынной,  
Встречаешь тихую звезду?

Дан приказ,  
Приказ,  
Приказ.

...Он успел из-под Львова,  
Первым принявшим грозу,  
Написать, послать два слова:  
«Был в бою. Стоим в лесу...»

Не узнать мне, что с ним случилось  
Во втором его бою,  
Может, после не осталось  
Даже леса в том краю...

Не воротится назад он,  
Слишком столько долгих лет.  
Дан приказ — ему на запад...  
Портупея... Пистолет...

И в тишине ее призывной  
Опять душа твоя полна  
Какой-то грусти неизбывной,  
Мерцаньем дальнего холма.

Какой-то преданностью нежной  
Деревьям, дремлющим кругом,  
Какой-то тайною надеждой  
На отчий край, на отчий дом...

Ты помнишь песню полевую,  
Раздолье свежести и сил,  
Ты слышишь музыку живую  
Среди курганов и могил

И в тишине первоначальной  
Опять боишься одного —  
Уйти от памяти печальной,  
От вдохновенья своего.

Обнять рябину и признаться,  
Что очи матери родной  
Такой усталостью струятся  
И беззащитной синевой...

\* \* \*

Ты на виду повсюду, как на сцене,  
Ты в массовом сияешь тираже  
И все вокруг стремишься обесценить,  
Чтоб самому остаться в барыше.

Вот ты идешь расчетливой походкой,  
Вот смотришь ты из трезвости своей,  
Моей душой любуясь, как находкой,  
Когда темно и одиноко ей.

И наблюдая вкрадчивую позу,  
И в деловую вслушиваясь речь,  
Я думаю: какую можно пользу  
Из состоянья моего извлечь?!..

Знакомец мой, каким бы силам диким  
Ни разметать моей души в клочки,  
Ты все равно останешься безликим...  
Не поправляй, пожалуйста, очки.

## МЕРТВЫЙ САД

В саду безмолвья и беды  
От края и до края —  
Деревьев черные ряды,  
Процессия немая.

И в пустоте его ветвей,  
Во всей его округе  
Воронье карканье слышней  
И завыванье вьюги.

И где-то там, в глуши времен,  
За стужей железной,

Он безмятежный видит сон,  
Он слышит шум мятежный.

Там осеняет землю сад  
Таинственную кущей,  
Листвой, летящей наугад,  
Оградой цветущей.

Он обнимает небосвод,  
Звезду легко колебля,  
И соловей его поет  
Во мгле великолепья...

## ПЕХОТА 41-ГО

Только выйду за ворота,  
Только выбегу —  
И вот  
Вижу: движется пехота, —  
По бокам стоит народ...

За колонною колонна  
Колыхаются полки —  
Непреклонные знамена,  
Неуклонные штыки.

За шеренгою шеренга —  
Грудь равняется на грудь —  
Пылью светятся железной,  
Пóтом, блещущим, как ртуть.

За винтовкою винтовка —  
Монолитный взмах руки...

Алюминиевые только  
Им мешают котелки.

Этих касок половодье!  
Труб ликующая медь!..  
Мне догнать бы их сегодня,  
Попрощаться бы успеть.

## Давид Петров

### В КАРАНТИНЕ

Когда дышать, и думать, и держать  
эксперимент не оставалось силы,  
в лабораторию ко мне входила мать  
и что-то мне родное говорила.

Не ты, не сын, не женщина одна,  
давнишня, но связанная с нами.  
Не ты, не сын, а мать моя без сна  
меня поддерживала тихими словами.

Я жил, дышал, я мыслил и держал  
иглу микробиолога без дрожи.  
А мать я вновь из снов коротких гнал,  
чтобы с тобою повидаться все же.

Я ведь уже глотнул того вина,  
тем хлебом благодатным подкрепился,  
чтоб сутками без отдыха и сна  
с холерою оживший разум бился.

Когда вернулся я из тех краев,  
где море бирюзово и прекрасно,  
я сына обнял и лицо твое  
зацеловал. Мы зажили согласно.

Я той работы адской не зову.  
Но в ежечасном жизненном боренье  
без материнских слов не проживу,  
не стану победителем в сраженье.

## Сергей Поликарпов

### ГОРОД БОЛЬШОЙ СУДЬБЫ

Москва!  
Снедаемый тоскою  
По бурным улицам твоим,  
По голубому Подмосквовью  
С леском лысеющим седым, —  
Заложницею  
Подпись в книгах  
Гостиниц оставляю я.  
Нет на земле желанней ига,  
Чем ваше,  
Отчие края!  
Его вовек с меня не ста́ит  
Сердечный жар других краин...

Дымы над пригородом ста́ей  
Взмывают с жерловых вершин

Фабричных труб.  
Ах, дым Отчизны,  
Тебя бы век я воспевал,  
Когда б весенней голуби́зны  
Ты от людей не заслонял,  
Когда б не стал пластами копать  
На лица наши и сердца...

Тревожный слышу чей-то шепот,  
Речь не доведши до конца,  
Я слышу мудрость указаний,  
Я вижу грозность на челе...  
Не меньше я,  
Чем все,  
Хозяин  
На отчей, на родной земле!



И коль стрясается с душою  
Подчас горючая беда,  
Коль боли в ней гудят порою,  
Как будто в поле провода,—  
То оттого,  
Что я не волен  
Простить ни в людях,  
Ни в себе  
Пустых словесных колоколен  
В твоей, Москва,  
Большой судьбе.

Что мы в твоих кварталах?  
Млечность,  
Ветрам покорная земным.  
А ты идешь упрямо в вечность

Путем нетореным своим.  
Одежка старая не в пору,  
И синева небес низка.  
Взбежав на Ленинские горы,  
Полощешь в небе облака.

Москва,  
Сто раз с тобой прощаясь,  
Сто раз сказав тебе:  
— Живи! —  
Я познавал, как зреет завязь  
Моей пожизненной любви.  
Но, по твоей земле ступая,  
Клянусь за немощь все слова...  
Стою в дверях родного края.  
Ну вот и свиделюсь,  
Москва!

## *Анатолий Поперечный*

### СЕЛЬВИНСКИЙ

Август догорал.  
На косогоре  
Дыбилась полдневная трава,  
И дымилось в предзакат околье,  
И неслышно в сердце шла страда.

Он сидел огрузно на веранде,  
По-борцовски руки положив,  
Думая о главном, вероятно,  
Том, что еще в песню не вложил.

Песня,  
Что казачьим шла наметом,  
Шалая, Гривастая,  
Как пляс,  
Шла она,  
Как вызов стихоплетам,  
Борзописцам,  
Рыцарям на час...

\* \* \*

А на деревне тихо-тихо.  
Отлаяли собаки тишь.  
Луна качается, как тыква,  
И опускается в камыш.

Коровы спят, и спят телята,  
И спит, тяжелая впотьмах,

И ярилось самоварно солнце,  
Ветры улюлюкали грозу.  
Это разливался Салывонский  
Песнью под гармонь и под слезу.  
В шапке ли медвежьей,  
В шубе лисьей,  
Песня шла по яростной земле...  
Словно годы,  
Опадали листья.  
Клены догорали на заре...

Он сидит,  
Чуть грустный  
И суровый.  
Сердце плавниками в мир стучит,  
И вот-вот его раздастся  
Слово,  
Как подкова,  
В песне прозвучит.

Хозяйка их, чуть виновато  
Забыв усталость на губах.

Лишь я не сплю,  
Той тишиною  
И звездопадом в травы сбит,  
Москвою, другом и женою  
Как бы навеки позабыт,—

Как тот пловец,  
Что до середины  
Доплыл  
И канул в глубину...  
О нет, я жив!  
И так сродни мне  
Земля,  
Дымящийся овин,  
За огородом —  
Поле в маках,  
И лодка в гиблых камышах,

И чуть светящийся во мраке  
То ль купол храма,  
То ль очаг...

Я здесь родился.  
В тополь —  
Вырос,  
Почуял песни знобкий звон,  
Той,  
Что не надобно на вынос,  
На площадной аукцион.

## Эрнст Портнягин

\* \* \*

Степь дотянулась  
до самой черты снеговой,  
мне подарила  
частицу забытых просторов.  
В этом году  
я не раз был одернут судьбой,  
в этом сезоне  
достаточно ран и проколов.  
Только и сил,  
чтобы тело забросить в седло  
и, припадая к горячей  
и пляшущей холке,  
видеть, как черный клинок —  
вороное крыло —  
небо рассек  
и посыпались солнца осколки.  
То ли мерещится  
после трехдневного жара:  
вещая птица

нависла над долей моей,  
конь вороной  
охраняет меня от удара.  
Зубчатой тенью  
в дорогу впечатался мрак.  
Ворон летит  
и грозит непроглядною мглой.  
Я отпускаю поводья,  
а друг — не дурак,  
тоже ведь знает,  
что рано прощаться с землею.  
Тоже ведь знает,  
что рано прощаться со мной:  
время приходит  
судьбе и недугам перечить...  
Ворон свернул  
и пропал в ущелье глухой,  
синий чабрец и полынь  
полетели навстречу.

## ПРАДЕД

Их тоже мучил вечный спор:  
свободы нет без принужденья!  
Страна искала свой простор  
и находила продолженье  
восточных контуров своих  
за Каспием и за Уралом.  
И у форпостов боевых  
тревога скулы заостряла.  
И ороchonские леса,  
и монголоидные дали  
сужали синие глаза  
и желтизны в них добавляли...  
А самый тихий был упрямым,  
не мельтешил, не торопился,

к домашним охладил делам,  
навек с близкими простился.  
В нем жил неизлечимый спор:  
бессмертие или забвенье!  
У самых северных озер  
лежать остался без движенья.  
Ни панихиды, ни креста,  
лишь тело привязали к нартам,  
и только имя навсегда  
привязано к российским картам.  
Присяга не кому-нибудь,  
а только богу и державе!  
Он видел только даль и глубь —  
единный путь к посмертной славе.

\* \* \*

Клубится пар в осенней мгле,  
ложится изморозью в падах.  
Я обсыхаю в зимовье,  
отогреваюсь на полатах.  
Прокопчена изба насквозь,  
проконопаченная глухо,  
и, дай-то бог, сегодня в ночь  
щенком порадует Чернуха.  
Она — работница сама,  
она — хранительница рода.  
Из-за нее лишился сна  
хозяин Ваня Черноротов.  
Он говорит, что зверь не тот,  
распуган шумною работой,  
что без собаки пропадет  
вся соболиная охота.  
Что лайка новая нужна,  
что старую угробить жалко...  
Скулит Чернуха до утра  
и вздрагивает под лежанкой.  
Рассвет. Белеют морока,  
в озерный лед стучит рука.

А борода чернее вара.  
Слепая голова щенка  
в огромных пригоршнях Ивана.  
У дома материнский вой —  
петля ошейника тугая.  
Разъята прорубь ледяная,  
разжаты пальцы над водой.  
Порода. Линий чистота.  
Купель. Крещенская вода.  
И канули четыре камня,  
четыре голых существа  
без права на существованье.  
А пятый не пошел на дно,  
рванулся в белое пятно,  
навстречу воздуху и свету.  
Ему, шальному, суждено  
любого зверя брать по следу...  
Я этим нравам не судья,  
еще вода осталась в легком  
с того сентябрьского дня.  
Подводный сумрак. Полутьма.  
Решается моя судьба  
под перевернутою лодкой.

## *Анатолий Преловский*

### ЗИМНЯЯ ГОСТЬЯ

Дом в снегу, и дорога зальдела,  
и слабеет по-зимнему свет.  
Вот и птица в окно залетела  
по законам недобрых примет.

По законам недоброй природы  
ищет птица тепла и зерна:  
не нужны ей простор и свобода —  
нужен кров для голодного сна.

\* \* \*

Так все укрыто листом и туманом,  
так занавешено дождиком... но  
стежкой лесной иль путем

караванным  
выйдешь ты к месту тому все равно.

Лист отлетит, и туман растворится,  
дождь приустанет, чтоб ты повстречал

Ты зачем у меня поселилась,  
нагнетая тревогу и грусть?  
Все уже в моей жизни случилось,  
я уже ничего не боюсь.

Ничего для меня не осталось,  
лишь тебя накормить, обогреть,  
чтобы ты за меня попыталась  
и летать, и гнездиться, и петь.

темные избы, замшелые крыльца,  
кладбище, церковь — начала начал.

Вот и стоишь безглагольно и свято,  
вот и глядишь на пустые поля  
с нежностью сына и зоркостью брата,  
тихой слезе проступить не веля.

Кажется, именно здесь ты родился,  
жил и скончался, а это — другой  
к древу познания плечом прислонился,  
чтобы дышать безымянной рекой.

\* \* \*

Калина цветет безымянно,  
ничейно струится река,  
и веет великою тайной  
от каждого в поле цветка.

Постой, помолчи и послушай,  
как этот незванный рассвет

Чтобы напиться воды у колодца,  
и жеребенка с дороги согнать,  
и дожидаться осеннего солнца,  
и непрожитую жизнь вспоминать.

неназванным трепетом душу  
пронзает и сводит на нет.

Послушай дрозда на заборе,  
и к темной его воркотне  
вспорхнет неизлитое горе,  
что камнем лежало на дне.

## *Борис Примеров*

\* \* \*

Еще, зная, сердце не изжито,  
Коль поутру дожди стучат  
В воображенье, как копыта  
Неудержимых жеребят.

Стучат, как будто не нагонит  
Их время — огненная пыль,  
И хочется сказать: о кони,  
Напрасно топчете ковыль!

Все как во сне во мне, как в трюме  
Затопленного корабля.  
И только сердце давят думы,  
Живые, как сама земля.

И только ветер непослушный  
Срывает с веток медь и ржу  
Затем, чтоб, вслушиваясь в душу,  
Писал я так, как я дышу.

Пишу, как чувствую, угрюмо,  
Как будто на сердце земля  
Легла и давит тучной думой,  
Густыми травами шумя,

Как будто в схватке рукопашной  
Сошлись — быть или не быть —  
Передо мною день вчерашний  
И то, что нужно пережить.

## *Евгений Рейн*

### АВГУСТ

По грибы собираюсь с женой.  
Припасая кусище ржаной,  
Два крутых яйца и колбаски.  
Я сегодня удачлив, как бес.  
Чуть залезли мы в брёховский  
лес —  
Подосиновик темной окраски!

Краснобурый, вишневый почти,  
Полукилограммовый почти,  
А вокруг разбежались маслята.  
Через час я по пояс промок,  
Но зато был набит кузовок,  
И казалось еще маловато.

И набили рубашку тогда,  
И пошли отдохнуть на стога,  
Закусили и всласть задымили.  
Глянул в небо я. Шли облака.  
Так была красота велика,  
Что меня облака утомили.

Я глаза опустил, и у ног  
Я увидел ножи, кузовок  
И жену с животом округленным.

Минут август, сентябрь и октябрь,  
Затворится осенний алтарь,  
И зима развернется рулоном.

И тогда-то, дай бог, к рождеству,  
Дочь Анюта увидит сестру  
Или столь долгожданного брата.  
Август, август! Грибы и стога.  
Как, земля, ты проста и строга,  
Рассудительна как и богата.

## Роберт Рождественский

\* \* \*

Неправда, что время уходит!  
По неподвижному времени.  
Мимо забытых санок  
Мимо иртышских плесов  
Там, за нашими спинами,—  
И одинокое дерево,  
Под невесомыми бомбами  
Руки,  
не дотянувшиеся  
Там, за нашими спинами,—  
Там  
обожженные плечи  
Над затемненным городом  
«А-а-а-а-а...» — отдается гулко.  
Мы покидаем прошлое.  
Ржавый кустарник  
И мы на нем оставляем  
и надеваем синтетику,  
вредную для здоровья.  
Идем к черте, за которой —  
Неправда, что время уходит!  
Этого уходим мы.  
По его протяжным долинам.  
посреди сибирской зимы.  
с ветром неповторимым.  
мгла с четырех сторон.  
согнутое нелепо.  
заиндевевший перрон.  
до пайкового хлеба.  
снежная глубина.  
деревенеют от боли.  
песня:  
«Вставай, страна-а!...»  
Будто в пустом соборе...  
Хрустит песок на зубах.  
призрачно топорщится у дороги.  
клочья отцовских рубах  
недолгие слезы жен.



Я ждал — и взвизывались вороны:  
оглоблей черкнув по заре,  
прикатывал он из района  
на выбракованном одре.

И, сумку свою разгружая,  
вываливал почту на стол.  
Чужая беда — не чужая,  
пока от своей не ушел.

Пока ты от мира зависим,  
пока не замкнулся в себе...

О горка измявшихся писем,  
и в каждой — по целой судьбе!

Ты помнишь их, мрачный  
начальник?

Дождавшись, чтоб город затих,  
мне вновь воскрешать их ночами  
и в мыслях дописывать их.

По мертвым мы отголосили.  
Но в алых подтеках зарниц  
и ныне над мирной Россией  
летят треугольники птиц.

## Давид Самойлов

### ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЯ

Забудем заботы о хлебе,  
Хлебнув молодого вина.  
Вспомним заботы о небе,  
Где плавает в тучах луна.

Забудем заботы о доме  
За этим веселым вином.

Вспомним заботы о громе,  
О ливне, о ветре ночном.

Забудем заботы о детях,  
Об их беспричинных слезах.  
Вспомним заботы об этих  
Осиных в осипших лесах.

### ГОСТЬ У ЦЫГАНОВЫХ

— Встречай, хозяйка! — крикнул  
Цыганов.  
Поздравствовались. Сели.

Стол тесовый,  
Покрытый белой скатертью, готов  
Был распластаться перед Цыгановой.  
В мгновение ока — юный огурец  
Из миски глянул, словно лягушонок.  
А помидор, покинувший бочонок,  
Немедля выпить требовал, подлец.  
И яблоко моченое лоснилось  
И тоже стать закускою просилось.  
Тугим пером вострился лук зеленый.  
А рядом — царь закуски — груздь  
соленый

С тарелки беззаветно вопиял  
И требовал, чтоб не было отсрочки.  
Графин был старомодного литья  
И был наполнен желтизной питья,  
Настоянного на нежнейшей почке  
Смородинной, а также на листочке  
И на душистой травки. Он сиял.

При нем ждала прохладная капуста,  
И в ней располагался безыскусно  
Моркови сладкой розовый кружок.  
На круглом блюде весело лежали  
Ржаного хлеба теплые пласты.  
И полотенец серые холсты  
Узором взор и сердце убажали.  
— Хозяйка, выпей! — крикнул  
Цыганов.

Он туговат был на ухо. Хмельного  
Он налил три стакана. Цыганова  
В персты стакан граненый приняла  
И выпила.

Тут посреди стола  
Вознесся борщ и был разлит по мискам.  
Поверхность благородного борща  
Переливалась тяжело, как парча,  
Мешая красный отблеск с золотистым.  
Картошка плавилась в сковороде.  
Вновь желтым самоцветом три стакана  
Наполнились. Шипучий квас из жбана  
Излился с потным, пенистым дымком.

блинком

Чтоб поднять,

варначьте!»

КОНТУЖЕН.

— Будь здорова!

**А Цыганова**

# МИХАЙЛОВСКОЕ

Деревья пели, кипели,  
Переливались, текли,  
Качались, как колыбели,  
И плыли, как корабли.

Всю ночь, до самого света,  
Пока не стало светло,  
Качалось сердце поэта —  
Кипело, пело, текло.

\* \* \*

Мне снился сон. И в этом трудном сне  
Отец, босой, стоял передо мною.  
И плакал он, и говорил ко мне:  
«Мой милый сын, что случилось с тобою!»

Он проклинал наш век, войну, судьбу.  
И за меня он требовал расплаты.

А я смиренно говорил ему:  
— Отец, они ни в чем не виноваты!..

И думал я. И понимал вдвойне,  
Как буду я стоять перед тобою  
С таким же гневом и с такой же болью...  
Мой милый сын, увидь меня во сне!

## ЛЕГКАЯ САТИРА

Торопимся, борясь за справедливость,  
Позабывая про стыдливость  
Исконных в нас, немых основ,  
Которые причина снов.  
Порой, душой командуя, как телом,  
Считаем покаянье главным делом  
И, может, даже посрамленьем зла.  
И тут закусуваем удила.  
Хоть собственной души несовершенство  
Вкушаем, как особое блаженство.

храм.

Нас восхваляет критик наш румяный,  
Метафоры любитель и ловец.  
И, наконец, покровы истины туманной  
Слетают с ясной стройности словес.



\* \* \*

Там, где холят и голубят  
самолюбье всех сортов,  
ничего всерьез не любят —  
ни железа, ни цветов.

Как не вспомнить: «Все для  
фронта,  
для победы над врагом!»  
В поле — рожь до горизонта,  
а в печи — металлолом.

Лишь послышится: «Поспела»,  
лишь скомандуют: «Пора!»,  
разгружал я —  
было дело,  
ныло тело —  
бункера.  
Лишь послышится: «Готова», —  
сталь, испытанный металл,

\* \* \*

Стынут березы, легки и наги,  
над зеркалами весенних луж.  
По полю, радуясь мутной влаге,  
вьется дороженька — желтый уж.

Поздно в санях, а в телеге рано, —  
словом, распутица, только вброд.  
Утренний наст еще ждет бурана,  
но — переламывается год.

\* \* \*

Снова, снова дожил до весны я —  
тук да тук под левое плечо!  
Сны шальные,  
силы потайные,  
сколько раз вы вспыхнете еще?!

Сколько раз, — откуда что берется, —  
радуюсь ли, плачу ли навзрыд,  
жизнь моя, ты вспыхнешь, как  
береста,  
что — и в воду брошена — горит.

из половника большого,  
как лепешки, разливал.

Сеял хлеб, держал железо,  
колдовал над ним не зря.  
Это было мне полезно,  
откровенно говоря.

Там, в горнилище Урала,  
стали близки, вняты мне  
грусть земли, тоска металла  
по рабочей пятерне.

Помню, было не до вздохов  
там, где лился жаркий пот.  
Не встречалось пустобрехов,  
где забот  
был полон рот.

Все восхитительнее восходы,  
все ненавистнее зимний снег, —  
тайно под ним партизанят воды,  
веря заранее в свой успех.

И не беда, что в лесу еловом,  
где ни полянок, ни узких троп,  
только в июле под хвойным кровом  
сникнет зажатый в кольцо сугроб.

Становлюсь таким же заводилой,  
как ручьи, как первая трава,  
и, согретый весточкой от милой,  
млею так, что кругом голова.

Словно морок — море у задворок,  
что ни речка, что ни озерко.  
Самым первым вытаял пригорок,  
а с пригорка видно далеко.

## Николай Сидоренко

### И ВЬЕТСЯ БЕЛАЯ ДОРОГА...

Гуляет ветер  
                    в листьях, в травах—  
Весенних,  
                    свежих,  
                                    дождевых.  
То налицо,  
                    то наизнанку  
Переворачивает их.  
И зелень  
                    переходит в зелень,  
Где потемнее,  
                    где светлей.  
И вьется  
                    белая дорога  
По озими — среди полей.  
А озимь  
                    переходит в небо —  
В голубизну  
                    и в синеву.  
С полями вместе,  
                    с небесами  
Одним дыханием живу.  
Россия,  
                    ты дана судьбою

От колыбельной —  
                                    навсегда.  
Тебе отрада —  
                                    мне отрада,  
Твоя беда —  
                                    моя беда.  
Здесь  
                    матери моей могила,  
Могила  
                    матери ее,  
И потому  
                    навек прочно  
Мое  
                    земное  
                                    бытие...  
А ветер ходит  
                                    в листьях, в травах—  
Весенних,  
                    свежих,  
                                    дождевых.  
То налицо,  
                    то наизнанку  
Переворачивает их.

\* \* \*

Есть холм один в округе местной,  
И больше нет таких примет.  
Над ним кружится снег небесный,  
Летающий сквозь небесный свет.

Порою, перейдя долину,  
Всхожу свободно и легко  
На плоскую его вершину,  
С которой видно далеко.

Не для того ль холмы и горы  
Земля взнесла на высоту,  
Чтоб показать свои просторы,  
Открыть для взора красоту.

Здесь все прекрасно, как впервые,—  
На сотни верст и в двух шагах.  
Сияют дали снеговые,  
И стынут слезы на щеках.

Судьбе подвластен неизвестной,  
Живу и не считаю лет...  
Ложится тихо снег небесный,  
Летающий сквозь небесный свет.

## О БОРЬБЕ С ШУМОМ

Надо привыкнуть к музыке за стеной,  
к музыке под ногами,  
к музыке над головами.  
Это хочешь не хочешь, но пребудет со мной,  
с нами, с вами.

Запах двадцатого века — звук.  
Каждый миг старается если не вскрикнуть — скрипнуть.  
Остается одно из двух —  
привыкнуть или погибнуть.

И привыкаем, кто может,  
и погибаем, кто  
не может, не хочет, не терпит, не выносит,  
кто каждый звук надкусит, поматросит и бросит.  
Он и погибнет зато.

Привыкли же, притерпелись к скрипу земной оси!  
Звездное передвижение нас по ночам не будит!  
А тишины не проси.  
Ее не будет.

## ПОЛНЫЙ ОТДЫХ

Я отбился от времени, от его часовых,  
от минутных, секундных и прочих иных,  
от его передрыг, от его заковык,  
от его отрывных, от его записных.

Я отбился от спешки его и усмешки.  
С удовольствием мешкаю,  
потому что в течение последних часов  
сам себя ощущал шестеренкой часов.

А в безвременье, во вневременности  
груз годов почему-то не трудно нести.

Посижу, полежу, помолчу, подремлю  
и запасец терпенья скоплю  
и подумаю: как там они без меня?  
Отдыхать больше нету мочи.  
И включусь в прохождение белого дня,  
в проплавание черной ночи.

И опять шестеренкой своей зацеплю  
шестерню современности,  
потому что я, в сущности, очень люблю  
бремя времени попеременно нести.

Геннадий Серебряков

\* \* \*

В малиннике малиновка поет,  
Как будто бы малинки роняет.  
Ее простую песню охраняет  
Высоких сосен бронзовый полет.

И я, остановившись в отдаленье,  
Как в детстве, замираю, не дыша.  
И сладкой болью полнится душа,  
Отвыкшая почти  
от удивлений.

Сергей Смирнов

## СВЕТ И ЗВУК

Сперва сверкнет  
                                бесшумно и огромно,  
И только через несколько секунд  
Дойдут обвалы сдержанного грома  
И тишину  
            разрывно рассекут.  
И снова — посверк, зримый и  
                                мгновенный,  
За горизонтом, в сумраке сыром.  
И, чуть помедлив,  
                                снова со вселенной  
Разрывно  
Разговаривает  
Гром.

## ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Во всем приметы, сердцу дорогие:  
Лютеет стужа, как никто иной.  
В какой-то древнерусской летаргии  
Лежит земля под белой пеленой,  
А в бездне ночи,  
трепетной и синей,  
Мерцают звезды, будто битый лед.  
И ходит с тихим громом на буксире  
Незримый  
стратосферный самолет.

## НЕ НАЗЫВАЯ АДРЕСАТА

Что случилось?  
Не сразу поймешь, почему,  
Ни с того, ни с сего, узаконилось это:  
Занавешены окна в угрюмом доме  
И на всех этажах  
ни движенья, ни света.

Почему этот свет так нелепо угас,  
Что не действует даже ночью порою?  
Может, электросеть подкачала у вас,  
Потому и светильники вышли из строя?

Нет,  
пожалуй — без нужных защитных  
очков  
Вы на «солнце» свое устремляете взоры.  
И вселилось во глубь ваших душ и зрачков  
Ослепление, которое сгинет не скоро...

Ни приветливых глаз,  
Ни улыбчивых лиц,  
Ни распахнутых настежь дверей  
хлебосольства.

Словно бельма,  
глядят на столицу столиц  
Все ряды  
Занавешенных окон посольства.

*Ирина Снегова*

\* \* \*

Помню, вижу:  
поезд. Мчимся к морю!  
Лбом в стекло — смотрю на белый свет.  
Как он пуст!.. Но вон на козогоре  
Девочка стоит и машет вслед.  
Мимо, мимо! Дым ползком вдоль  
пашен,  
Листья, травы, платья красный цвет...  
Дальше, дальше!.. А она все машет,  
Все стоит.  
И я машу в ответ...  
Сколько раз гремящие составы

Мчали нас, пространство распоров,—  
Как же ты, ей-богу, не устала  
Нам махать вот так со всех бугров?  
Девочка...

В блаженстве и в печали,  
От судьбы спеша или к судьбе,  
Мы тебя уже не замечали,  
Мы давно забыли о тебе.  
А теперь...

Теперь все дальше поезд.  
Я его помедлить не прошу.  
Я стою в большой траве по пояс,  
Я рукой вслед поезду машу.

## ДЕВЯТОЕ МАЯ

У сигареты сиреневой пепел...  
С другом я пил, а как будто и не пил.  
Как хорошо на зеленой земле:  
Небо в окне и цветы на столе.

У сигареты сиреневый пепел...  
С братом я пил, а как будто и не пил.  
Пил я Девятого мая с Вадимом,  
Неосторожным и необходимым.

Дима сказал: — Почитай-ка мне  
стансы,  
А я спою золотые романсы,  
Ведь отстояли Россию и мы —  
Наши заботы и наши умы...

# СОЛОВЕЙ

Птицы свищут в мокрых перехлестах  
Ветра и ветвей.  
Где-то там, без памяти о гнездах,  
Замер соловей.

Сколько в свистах новостей, посылок,  
Радостей лучу!  
Только голос вдруг, как после  
ссылки:

«Я домой хочу».

И дрожмя дрожит листва сырая,  
Лепестки бренчат.

У сигареты сиреневый пепел...  
С другом я пил, а как будто и не пил.  
...Как вырывались сирени из рук  
у матерей, дочерей и подруг!

Мы вспоминали черты и детали.  
Мы Боратынского долго читали.  
И поминали почти между строчек  
Скромную песенку «Синий платочек».

У сигареты сиреневый пепел...  
Жалко, что третий в тот день с нами  
  нё пи́л.  
Он под Варшавой остался лежать,  
С ним мы и выпили — за благодать.

Это — он! О гнездах забывая,  
Певчие молчат.

Но как только, отпылав, отщелкал,  
Замер соловей,  
Все опять по гнездам, тихомолкам  
Дупел и ветвей.

Лишь трава пятнистая ночная  
Встрепенется, чу!  
«Я домой хочу, куда не знаю,  
Я домой хочу».

\* \* \*

*M. E.*

Дождь оборвал на полуслове  
Под семафорные круги...  
Твои шаги теперь во Пскове,  
В Михайловском твои шаги.

Льет дождик, пахнущий полынью,  
Над омраченную Москвой.  
Мне хорошо теперь под синью,  
Что ты под зеленью святой.

С каких-то лип очей не сводишь,  
Твердишь рассеянно: «Да-да».  
Мне хорошо, что ты там ходишь.  
Ведь я там не был никогда.

АРГУМЕНТ

О том, что мы сюда не прилетели  
С какой-нибудь таинственной звезды,  
Нам доказать доподлинно успели  
Ученых книг тяжелые пуды.

Вопросы ставить, право, мало толку,  
На все готов осмысленный ответ.  
Все учтено, разложено по полкам,  
И не учтен лишь главный аргумент.

Откуда в сердце сладкая тревога  
При виде звезд, рассыпанных в ночи?  
Куда нас манит звездная дорога  
И что внушают звездные лучи?

Какая власть настойчиво течет к нам?  
Какую тайну знают огоньки?  
Зачем тоска, что вовсе безотчетна,  
И какова природа той тоски?

ОЛЬХА

Я обманул ольху.  
В один из зимних дней  
На берегу застывшей нашей речки  
Я наломал заснеженных ветвей  
И внес в тепло, которое от печки.

Не то, что нам апрель преподнесет,  
Когда земля темнеет и курится,  
И в синем небе проплывает лед,  
И в синих водах пролетают птицы.

Тогда глядится в зеркало ольха,  
В серьгах расцветших — славная  
обнова!  
Ну, не сирень, а все же неплохо.  
Сирень когда? А я уже готова.

Сережки нежным золотом сквозят,  
Летит по ветру золотистый цветень.  
Земля черна, но свадебный наряд  
Ее пречист, душист и разноцветен.

Что в семечке от наших скрыто глаз,  
На свет выходит сокровенной сутью.  
Итак,

Я в тот запомнившийся раз  
Домой принес мороженые прутья.  
Смеялись люди: — Экие цветы!  
Уж лучше б веник ты поставил в  
воду. —

Но от печной, домашней теплоты  
Включился некий механизм природы.

Жизнь пробудил случайный обогрев,  
Сработали реле сторожевые.  
На третий день, взглянув и обомлев,  
Мы поняли, что прутья те — живые!

В них происходят тайные дела,  
Приказ, аврал, сигналы по цепочке.  
Брожение соков. Набухают почки.  
И дрогнула ольха, и зацвела.

Висят сережки длинные подряд.  
Разнежились. По десять сантиметров.  
Пыльцой набухли.  
Жаждают.  
Ждут.  
Хотят  
Программой предусмотренного ветра.

Он облежит, он лаской обовьет,  
А без него и тягостно и плохо.  
Ольха цветет, надеется, зовет,  
Еще не зная страшного подвоха.  
Но нет корней, и почвы нет, и нету  
В глухих стенах земного ветерка.  
Цветет в кувшине пышным  
пустоцветом  
Обманутое дерево ольха.

Не пить воды, на солнышке не греться,  
В июльский дождь листвою не шуметь,  
И в воду ту в апреле не глядеться,  
И продолженья в мире не иметь.

Что из того, что радостно и звонко  
Раздастся песня раннего скворца?  
Летит, пылит на мертвую клеенку  
Досадный мусор — мертвая пыльца.

\* \* \*

Какого вкуса чувства наши —  
И скорбь и лютая тоска?  
И впрямь горька страданий чаша?  
Любовь и впрямь, как мед, сладка?

Горчинка легкая в стакане  
У грусти явственно слышна.  
Живая соль на свежей ране,  
Когда обида солона.

Среди страстей, среди боренья  
Я различить тотчас берусь  
И резко-кислый вкус презренья,  
И кисловатый скуки вкус.

Под вечер — горькая усада  
И на просвет почти черно,  
Вино дождя и листопада,  
Печали терпкое вино.

Но все оттенки — бред и бренность,  
И ничего не слышит рот,  
Когда стоградусная ревность  
Стаканом спирта оплеснет.

Все так. И пусть. И горечь тоже.  
Приемлю мед, приемлю соль.  
От одного меня, о боже,  
По милосердию уволь:

Когда ни вьюги и ни лета,  
Когда ни ночи и ни дня,  
Когда ни вкуса и ни цвета,  
Когда ни льда и ни огня!



## ЖУРАВЛИ УЛЕТЕЛИ...

«Журавли улетели, журавли улетели!  
От холодных ветров потемнела земля.  
Лишь оставила стая среди бурь и метелей  
Одного, с перебитым крылом, журавля».

Ресторанная песенка. Много ли надо,  
Чтоб мужчина сверкнул полупьяной  
слезой?

Я в певце узнаю одногодка солдата,  
Опаленного прошлой войной.  
Нет, я с ним не знаком и не знаю  
подробно,

О каких журавлях он тоскует сейчас.  
Но, должно быть, тоска и остра и  
огромна,  
Если он выжимает слезу и у нас.

«Журавли улетели, журавли улетели!  
От холодных ветров потемнела земля.  
Лишь оставила стая среди бурь и  
метелей  
Одного, с перебитым крылом, журавля».

Ну какой там журавль?! И какая там  
стая?

И куда от него улетела она?  
Есть квартира, поди,  
Дочь, поди, подрастает.  
Помидоры солит хлопотунья жена.

И какое крыло у него перебито?  
И какое у нас перебито крыло?  
Но задумались мы. И вино не допито.  
Сладковатой печалью нам душу свело.

## Валентин Сорокин

### СТИХИ О ЛЕРМОНТОВЕ

#### 1. ВСТРЕЧА С АШУГОМ

Смелый в скалах не умрет от  
жажды,  
Хоть родник и нелегко найти...  
Слышал я, что Лермонтов однажды  
Повстречал ашуга на пути.

Каждый — воин своего народа,  
А меж ними — кровь и палачи.  
Их мирила умная природа  
Птицами и звездами в ночи.  
Не солдат маршировала рота,  
А звенели реки да ключи.

И мерцали горы величаво.  
Жителям аулов не спалось.  
И сиянье вечности и славы  
С высоты торжественно лилось.  
И, костром порывистым согреты,  
До утра не разошлись поэты.

Говорил поручик большеглазый:  
— Есть одна земля у нас и  
мать...

О кунак, я кланяюсь Кавказу,  
Сын России.  
Больно враждовать!

На коня вскочил он, как  
мальчишка,  
Припадая к гриве головой.  
И летела бурка, словно вспышка,  
По холмам долины заревой.

#### 2. НАД БЕШТАУ ВЕЧЕР

Принагнулись и затихли травы.  
Нет пути беспечному веселью.  
Нынче в полдень старая дубрава  
Растеряла листья по ущелью.

Грани скал под солнцем отблестили,  
Над Бештау вечер скоротечный.  
И все те же звуки льются в дали,  
Тот же мрак струится бесконечный.

Навесное небо прокололось —  
Ливней иглы до земли продеты.  
Не его ли затерялся голос,  
В этих рощах не найдя ответа?..

#### 3. В ГОРАХ

Орел, орел, ты все кричишь в горах,  
Бросая взор на тропы и деревья.

И временем искромсанные перья  
Торчат, как стрелы, в реющих  
крылах.

Ты до сих пор упруг и крепкотел,  
И знаю я, среди вот этой сини —  
Когда-то так же на тебя глядел  
Русоволосый пасынок России.

И, слушая черкесский дикий свист,  
Он чувствовал движение планеты.  
И сиротливо опускался лист  
На вышитые златом эполеты...

Шептались приглушенно камыши,  
И, глядя в даль, туманную для  
глаза,  
Он думал о бессмертии души,  
А ты кружил над скалами Кавказа.

#### 4. ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА

Легкий рой лепестков,  
Горных речек пороги.  
Мерный цокот подков  
По грузинской дороге.

Дремовитость и зной,  
Путник жаждой томится.  
Далеко за спиной  
Засыпает столица.

Где-то фыркнул олень,  
Утки прынули с криком,  
Словно барсова тень,  
Камень вздыбился рядом.

Сакля точкой огня  
Проплыла за рекою,  
Всадник тронул коня  
И привстал над лукою.

Острый ветер подул,  
Смерча вестник долинный,  
Вот знакомый аул,  
Тонкий плач мандолинный.

Въехал гость в полутьму,  
В запах сена и чая...  
И горянка ему  
Улыбнулась, встречая.

*Лидия Степанова*

\* \* \*

Этим летом душным и горячим,  
Что казалось — рухнет небосвод,  
Было что-то, видимо, иначе,  
Если вспомнить позапрошлый год.  
Что не так — сама я не отвечу:  
Та же речка, те же берега,  
За деревней так же, что ни вечер,  
Вырастали новые стога.  
То же солнце медленною птицей  
Покидало к ночи небеса.  
На лугах, заросших медуницей,  
Вызревала первая роса.  
Что ж не так? И клен не в состоянии  
Мне помочь. В зеленом словаре  
Мало слов, и лунное сиянье  
Вверх ползет по сморщенной коре.  
Если б то, что стало не похоже  
На бывшее, мне бы дало знак...  
Не дает. И я не знаю, что же  
В этом мире все-таки не так.

\* \* \*

А в каждом доме хоть один человек, но живет.  
Иду вдоль деревни, и люди стоят у ворот.  
Приветы, вопросы о том, как учусь и живу,  
А я отвечаю, рюкзак опустив на траву.  
И дальше иду, и опять прерывается шаг.  
И те же вопросы, и брошен на землю рюкзак.  
У нового дома, где пес на завалинку лег,  
Опять разговоры, рюкзак отдыхает у ног.  
И так постепенно с начала деревни в конец,  
К последнему дому, в котором живет мой отец.  
Его обнимаю — и виснет рюкзак на спине.  
К чему тут слова: все известно ему обо мне.

*Алла Стройло*

### СТИХИ О САМОВАРЕ

У телевизора есть предок —  
Ведерный жаркий самовар.  
Он собирал в кружок соседок,  
Не допуская зряшных свар.  
Он был расцвечен и озвучен,  
Огня бежал живого ток,  
И был тугой спиралью вкручен  
Крутой, кипучий кипятик  
В его узорчатые краны,  
А в медные его бока,  
Как нынче в синие экраны,  
Гляделись пристально века.  
С ним горевали, и кутили,  
И коротали вечера.  
Детишки крантики крутили,  
С мороза грелись кучера.  
Не тот надутый, золоченый,  
Угодник разных праздных бар,  
Я славлю дымом прокопченный,  
Видавший виды самовар,  
Что был душою в доме каждом,  
И не гляди, велик ли, мал,  
В семейном деле, самом важном,  
Участье жарко принимал.  
Друзей притягивал окружем:  
Гоняй чай и — будь здоров!  
И кровно связан был с оружием  
Искусством тульских мастеров.

Он обжигал с мороза губы  
И грел мятежные сердца,  
Его о г о н ь,

в о д а

и т р у б ы

Не ради красного словца.  
...Иными токами пронизан,  
Прогресса шумного дитя,  
Семиведерный телевизор  
Всех предков вытеснил шутя.  
Он магнетизмом души сводит,  
Кого такой не охмурит?  
Направо крутишь — песнь  
заводит,

Налево — сказки говорит.  
В потоке теленовостей  
Я стала психотелепаткой,  
Я стала телепсихопаткой,  
До мировых сенсаций падкой,  
И — ни друзей,

и — ни гостей.

Я в полутемном помещенье  
Сижусь и вечером и днем,  
Ни угощенья, ни общенья...  
Гори он голубым огнем!  
Ведь эдак душу загублю.  
И, не бросаю веку вызов,  
Продам к чертям я телевизор  
И самовар себе куплю.

## Федор Сухов

### ПОДСНЕЖНИК

Был явлен я на свет в середине марта,  
По-старому — начальный день весны,  
Когда Авдотья Замочи Порог  
На вытканые за зиму холсты  
От полноты душевной прослезилась.  
Холсты осели и отяжелели —  
Авдотьиной насытились слезой.  
Потом мороз ударил. А потом  
Меня в передний угол положили  
И стали ждать, когда освобожу  
Я этот свет от своего дыханья.  
И только дед мой, он не ждал, он  
верил

В дыхание подснежника, он знал:  
Подснежника морозом не убить!  
И отступился от меня мороз,  
А вытканые за зиму холсты

Мой дед на собственный припрятал  
саван.

Мир уходящим! И благословенье  
Всем приходящим!

Верую в весну,  
В ее черемуху, в ее ромашку.  
И ощущаю кровное родство  
С любой пришедшей на луга  
травинкой  
Не потому, что сам травкою стану,  
А потому, что я дышу, живу  
И благодарно кланяюсь Авдотье,—  
Она при появлении моем  
От полноты душевной прослезилась,  
Погожее мне посулила лето  
Своей — сквозь солнце пролитой —  
слезой.

## Дмитрий Сухарев

\* \* \*

Не осуди, что оскудел  
Словами гулко-горенья.  
Пустынный ветер прогудел  
И остудил стихотворенья.  
Постылый ветер из пустынь  
Принес в мое благое лето  
И сушь, и хлад, и мрак, и стынь,  
Но, может, временное это?

Не осуди, что тороплив:  
Не поспешим — и в Лету канем!  
Я как зоолог, что в отлив  
Спешит звезду найти под камнем.  
Спешу на берег слушать гул,  
Но краток час моей охоты —  
Опять в работе утонул,  
Опять нахлынули заботы.

Моя охота не проста:  
Поди добудь звезду из гула!  
Остались перья от хвоста,  
А суть предмета ускользнула.  
Метет хвостом по небесам  
Мной не добытая комета.  
Не осуждай меня! Я сам  
Сужу, стыжу себя за это.

## Татьяна Сырыщева

\* \* \*

Недели две пока еще войне,  
а мы сидим над Мойкой на бревне.

Ты торопился с Дальнего Востока  
в свой Ленинград, где скоро так  
жестоко

начнет царь-голод с жизнью воевать,  
а ты в окопах будешь зимовать.

Уже в пути и дети, и картины,  
и Медный Всадник скрыт наполовину

речным песком, насыпанным в мешки...  
Он уцелеет, взрываю вопреки.

А нам с тобой на этих днях  
прощаться.  
Я ровно месяц буду возвращаться

домой, на юг. По Волге буду плыть.  
Душа, как пристань, будет голосить,

предчувствуя грядущие утраты...  
Сидим над Мойкой.

Женщина солдата  
с вещами провожает. Плач — навзрыд.  
Она рыдает, он ее стыдит.

Заря крыло распахивает шире —  
одна и та же при войне и мире.

И говорит с досадою солдат:  
— Да брось ты плакать! Люди вон  
глядят.

— И пусть глядят... Раз не могу  
иначе...  
Ведь горе у меня, вот я и плачу!

...Давным-давно уж кончилась война,  
и мирные менялись времена,

и впечатлений горы нанесла мне  
большая жизнь. А это — как на камне,

резцом углублено, звучит, звеня:  
«И пусть глядят! Ведь горе у меня...»

## Николай Тарасов

\* \* \*

Но правда не в том и не в этом.  
Успеть на последний урок,  
расстаться с непонятым летом  
и осень втолкнуть на порог.

Бескрайнее  
                    снежное  
                                поле,  
как жизнь —  
                    от вины до вины,

где все,  
                    что я принял, и понял,  
и вынес из прошлой войны.  
Прекрасно —  
                    и столь же не ново! —  
явиться  
                    и кануть во мгле,  
изденье  
                    из легкого слова  
оставив  
                    на шатком  
                                столе...

\* \* \*

Обрываются давние связи.  
Я не в силах судьбу изменить.  
И, все так же

                    нелеп,  
                                несуразен,  
чуть держу  
                    эту тонкую нить...  
Было имя.

                    Был голос.  
                                И было  
что-то в легком движении руки.  
А потом

                    затуманилось,  
                                сплыло,  
но осталось  
                    в осколках строки.

Гаснет день.  
                    Гаснут первые звезды.  
Гаснут всплески  
                    свиданий и лет.

Гаснем мы.  
                    Но сквозь ветры и версты  
брезжит наш  
                    остывающий  
                                след.

\* \* \*

По случаю очередного дня  
Рождения единокровной тети  
Я был примерно мамою отруган  
За то, что оторвался я от круга  
Семейного и что в конечном счете  
Я позабыл понятие «родня».

А это несмываемый позор;  
И у меня («Запомни, бога ради!»)  
Родни не так уж много в этом мире:  
Сестер у мамы (теток мне) — четыре,  
Да их мужья — родных четыре дяди,  
И лишь десяток братьев и сестер

Двоюродных (а стало быть, родных!),  
Да плюс (не сглазить!) дюжина  
племяшек...  
Я должен чтить столь тесный круг  
родни,  
Не путать, наконец, рождений дни

Хотя бы этих родственников наших!  
(Не говоря уже об остальных...)

Да, виноват. Да, я кругом неправ...  
И слушал я, ни в чем не прекословя,  
И добрым словом чествовал родню  
(В которой я действительно ценю  
На русской, польской и еврейской  
крови

Замешенный

чуть сумасбродный нрав).  
И понимал, что я — кругом злодей,  
И не желал при всем при том

прощенья,  
Поскольку я не мог перемениться,  
А вспоминал единственные лица  
Родных —

не по случайности рожденья,  
Но по законам совести людей...

## ОЖИДАНИЕ ЗИМЫ

Как долго приходится ждать новогодних обновок —  
Еще изведешься до первой декабрьской пурги...  
Я, кажется, заболеваю  
забытой болезнью зимовок —  
Каким-то подобьем знакомой из книжек цинги.

Полгода бессменных бессонниц. Я словно кассета,  
В которой полгода (полжизни!) пластинка одна!  
Причуды погоды, приметы прихода рассвета —  
Одно на одно — на пластинку, сожженную светом!..  
Но душу не сменишь, когда засветилась она.

Верхушки деревьев, небесный конвертик над Пресней,  
Каре дворовое давно наизусть затвердив,  
Я вижу: мертвеет, тускнеет, становится все бестелесней...  
Так, может быть, самое время разбить объектив?

Быть может, рвануться из заводи неколебимой  
Честней, чем скрывать в себе этот мертвящий покой?!  
И вдруг мне почудился запах надежды и дыма...  
Ах, нет, не почудился: явственно, непобедимо  
Пахнуло уже отпылавшей последней листвой!

И тут я заплакал, когда осознал в полной мере,  
Что гибель — она не во мне, а в осенней поре,  
То смерть, без которой ничто не рождается в мире  
Ни в нашей душе, ни в асфальтовом нашем дворе.

Дня этого — ежерассветное шарканье, шорох,  
Бесчисленных метел и мыслей, сметающих страх,  
И порошок вчерашний (а ныне — безжизненный прах),  
И листьев увядший и тлением тронутый ворох,  
И дружеских писем («...ты знаешь, тебе я не враг...»),  
И женских записок («...но ты мне по-прежнему дорог...»).  
А осень слиняла в промозглый и серенький мрак,  
А солнце (и солнце!) за тучами — будто бы в шорах;  
Так, вместо блужданий в двусмысленных спорах и ссорах,  
Так, вместо метаний меж всяческих «ох» или «ах»,  
Считается все, что накоплено в норах и порах,  
И словно горит на высоких, веселых кострах!..

...Бывает иная зима долгожданное теплое лета.  
К утру заснежило. И я до двенадцати дрых.  
Что ж, мне не хватало, должно быть, лишь белого света!  
Да слова привета. Но это уже — во-вторых!

\* \* \*

Меж деревьев гуляет сквозняк —  
Листопад проредил березняк,

И уже беззащитно белы —  
До озноба! — березок стволы.

Листопадом продут березняк...  
Это — осень. А стало быть, знак,

Что и нас увлекают ветра,  
Что и нам наступает пора

Покидать эту рощу и дом:  
Мы чужие, мы дачники в нем,

За изрядную мзду, не за так,  
Мы гостили в тебе, березняк!

Это биржа удач, неудач —  
Ежегодные поиски дач,

Где сдают на сезон, напрокат,  
Вместе с комнатами — закат,

С электричеством — вид из окна  
И на все существует цена.  
Привыкаешь, приходит пора —  
И пора закругляться, пора.  
Через год...

Да гори ты огнем!  
Ей-же-ей — мне не надо хором:

Даже будка собачья мила, —  
Только пусть бы скучала, ждала,  
Почерневшие доски храня  
Не для «дачника», а для м е н я...

Ну, да что там! Набряк небосвод...  
Не увидимся мы через год:

Каждый лист твой влетает в пятак,  
Не повинный ни в чем березняк!

Не увидимся мы, дорогой,  
Слишком ты, березняк, дорогой...





Он к грядущим ушел поколениям  
Не гудком пароходным в дыму,—  
Тонколицым и чутким оленем,  
Лишь не чутким к себе самому.

Виновато на траурных лентах  
«Незабвенный» мы пишем о нем...

Отходил по Земле Коваленков.  
Отгорел одиноким огнем.

## Виктор Урин

### МОИ МИРЫ

В июле завершилась перевалка,  
и вот — живу на линии огня,  
где танковая армия Рыбалко  
в десантники зачислила меня.  
По сумеркам, по ночи, по рассвету  
иду, не зная — что там, впереди.  
Как маленькую круглую планету,  
диск автоматный прижимал к груди.  
Мирами были: котелок, и скатка,  
и та воронка, где решал залечь,  
и сами губы — длинно или кратко —  
солдатским миром обживали речь.  
На танке трясясь, пролетая косо,  
и не гадал, не думал до поры,  
что подо мною двигались колеса  
в орбите гусеничной, как миры.  
Война дымилась, как потухший  
кратер,  
остыл перекореженный металл,  
и свадебным кольцом —  
иллюминатор,  
венчая расстоянья, удивлял.  
В объятиях сомкнувшиеся руки,  
где целые миры заключены,

как праздничные радуги в излучке,  
предназначались для любой страны.  
И никаких не строю я иллюзий,  
когда в спортзале вижу паренька,  
он что-то ищет в баскетбольной лузе,  
как я в тот год на днище котелка.  
И, вроде бы ни капли не насытись,  
толкует каждый про свое кольцо,  
и постепенно проясняет синтез  
пусть разное, но общее лицо.  
И вовсе не в укор и не в заслугу  
пытаемся понять со всех сторон  
тот горизонт, что нас вертел  
по кругу,  
и подмосковный синхрофазотрон.  
И тут отнюдь не хаос, а единство,  
закономерности, а не изыск.  
Поют миры магнитофонных дисков.  
В виски стучит мне автоматный  
диск.  
Шершавая, она не без задира,  
вся наша жизнь,— удары и дары;  
и ни добра бы не было, ни мира,  
когда б не те военные миры.

### НАШ ПАМЯТНИК

Обиды не страшась, не требуя венца.

А. С. Пушкин

Кто памятник воздвиг своему поколению?  
Своим единоверцам, чей подвиг велик?  
Свидетельствую. Мы причастны к появлению  
Мятежных расцветающих гвоздик.

Нет, все мы не умрем. Мы останемся в семьях  
И строек и атак, завершающих бой.  
И славен будет тот, кто, шагая со всеми,—  
Державно оставался сам собой.

И слух о нас пройдет от планеты к планете,  
О том, как, в этот мир громобойный войдя,  
Мы алыми гвоздиками взошли на рассвете  
Под вихрями железного дождя.

И долго будут нам благодарны народы  
За то, что под огнем мы сложили мосты,  
Что в наш суровый век мы приблизили всходы  
Доверия, единства, доброты.

Велением борьбы и с мечтой о великом —  
Мы были поколеньем вешней новизны.  
О муза, будь послушна грядущим гвоздикам  
В садах освободившейся весны!

## Николай Флеров

\* \* \*

В осенний день в саду костер зажечь,  
Собрав листву в охапки желтых пятен,  
Огня услышать вкрадчивую речь  
И дым вдыхать, что «сладок и приятен».

На этот миг, а может быть, на час,  
Забыть про все, что есть, и все, что  
будет.

Одни воспоминания сейчас  
Пусть в памяти моей огонь разбудит.

И это так естественно притом:  
Ведь, как листва и как охапка прели,  
Твои года пылающим костром  
В труде, в пути  
Почти что отгорели.

Но в осень медленно костер горит.  
Красна и в снег увядшая рябина.  
С тобою долго время говорит.  
Ты чувствуешь, как слит с ним  
воедино.

И нет, не в прошлом ты сейчас живешь,  
А в нынешнем — в идущем и в грядущем,  
Где тот же труд всегда,  
Хоть молодежь  
Порой спешит, как будто к райским  
кущам.

И если остается от костра  
Зола, чтоб сад весною стал моложе,  
Пусть жизнь твоя — как ни была  
быстра —  
Поможет расцветающему тоже.

## Федор Фоломин

### МЕСЯЦ РОЖДЕНЬЯ

В чаше воздуха нет холодов —  
отсверкало зимы наважденье.  
Ах ты, май, перекличка садов,  
колыбель моя, месяц рожденья!

То ли вроде в младенчество впал,  
то ль родился таким бестолковым?!  
Прах природных кудрей расплескал  
в обновленном саду лепестковом.  
То ли стану свежей лепестка,  
приникая к Поволжью вплотную...

Жаждой обнят, боюсь расплескать  
чашу воздуха густо-парную.  
Волга жадно впитала Оку,  
расцвела белоснежно судами.  
Золотиться Кремлю-старiku  
на горах, окруженных садами.

И в дождях не почувешь тоски,  
вольной влагой взахлёб обладая...  
Лепестки вы мои, лепестки,  
простоватость моя молодая!

## Николай Фомичев

\* \* \*

Живущий сам на грошик медный  
И никогда не лезший в знать,  
Никак не мог я предков бедных  
К себе на праздник не позвать.

Но мать моя — уже в могиле...  
К отцу, не пьющему давно,  
Зятя с бутылкой приходили  
Затем лишь, чтоб распить вино.

А я, познав души основу,  
Не прятал то, что мне дано:  
Чтоб гордость подкормить отцову,  
Я шел сыграть с ним в домино.

Еще недавно (многих мненье)  
Отец бывал в игре толков.  
Единственное развлеченье  
Седых и дряхлых стариков.

Для вида находясь в азарте,  
Я мнимый пот со лба стирал.  
Ах, сколько выигранных партий  
Отцу я за год проиграл!

От удовольствия он крикал,  
В игре со мной непобедим...  
А я в душе украдкой плакал,  
Заранее прощаясь с ним.

## Яков Хелемский

### ИЗ АРМЯНСКОГО ДНЕВНИКА

Вещает обветренный туф  
Гарни и Звартноца:  
На тысячелетье уснув,  
Искусство вернется.

Проснется, взойдет из глубин,  
Из пыльных развалин.  
И зодчий воскреснет, любим,  
Понятен, реален.

Искатель, построивший храм  
Из песен, из камня,  
Годится в ровесники нам  
И нашим исканьям.

Взгляни на седую резьбу  
В базальтовых высях,  
Которую гений на лбу  
У вечности высек.  
Сквозь тысячелетье пройти,  
Остаться нетленным!

Свершения Нарекаци<sup>1</sup>  
Сродни этим стенам.

Что лирике годы, века,  
Пристрастие к датам?  
Десятого века строка.  
Волнует в двадцатом.

И юноши, странно тихи,  
Не жаждут дискуссий.  
Древнейшие эти стихи  
В их нынешнем вкусе.  
Поэзия, лавой сверкнув,  
Звучит не смолкая.  
Такой вулканический туф,  
Порода такая!

---

<sup>1</sup> Н а р е к а ц и — великий поэт армянского средневековья.

## Евгений Храмов

\* \* \*

...И я себе представил зимний день,  
и серый снег, и реденькую тень  
от дыма из трубы над тихим домом.  
Все это показалось мне знакомым.  
Но я не видел зимних деревень!  
Я вычитал все это. Мне приснилось.  
Да, это в снах явилось!  
Но когда?  
Давным-давно, в те гулкие года?  
Нет, лишь теперь, когда остепенилось  
все бывшее со мною.  
Да, когда  
все-все: улыбки, волосы, глаза,  
и возгласы, и быстрая гроза,  
и лодка шаткая, и ветка чистотела,

и мокрым солнцем пахнущее тело —  
смешалось и на дно души осело,  
чтоб больше не подняться никогда.

И лишь теперь явилась тишина.  
Покой, в котором движется работа,  
невидима она и не слышна,  
на солнцепеке не обожжена,  
не проступает капельками пота,  
но лишь она — товарищ и жена.

А мальчики в пыли гоняют мяч,  
девчонки кукол переодевают,  
и ветрам неожиданных удач  
свое лицо счастливицы подставляют...

\* \* \*

Все в тишину вплетает точный звук:  
певучая пчела и жесткий жук,  
и дятел дарит добрый дробный стук,  
и трудится не покладая рук  
кузнечиков невидимое братство,  
и если вдруг тяжелый самолет  
над миром с долгим грохотом пройдет,  
то это не звучит как святотатство.

\* \* \*

Теперь пускай очнется  
все то, что задремало,  
и Двинского канала  
вода пускай качнется.  
И наша жизнь начнется  
вся с самого начала.

В начале было Слово  
над мраком и водою.  
И повторю я снова,  
что мне светло с тобою.  
Ты чемоданы свяжешь,

мы поплывем в Кириллов,  
и ты опять мне скажешь  
все то, что говорила.

А все, что между было  
Началом и Сегодня,  
хочу, чтоб ты забыла,  
едва ступив на сходни.  
И, выпрямясь упруго,  
мы тяжесть наземь сбросим.  
И ни о чем друг друга  
мы никогда не спросим.

\* \* \*

Так вот я хотел бы о чем попросить.  
Когда начинается октябрь моросить  
и дали закроет туманом,  
что, если бы в эти ненастные дни  
мы вдруг оказались с тобою одни  
в каком-нибудь городе странном?  
В том городе странном у сонной реки

сидели бы странные рыбаки,  
они не смотрели бы на поплавки,  
а только бы в небо и в небо.  
Но можно не мчаться к той странной  
стране,  
когда бы хоть раз ты ответила мне:  
«И мне бы хотелось, и мне бы...»

## Владимир Цыбин

### СПАСИБО

Здесь тихо. Прозрачно. И росно.  
Раздолье для певчей души.  
Спасибо, зеленая роща,  
за тень, за грибы, за дожди,

что в облачном, зыбком распыле,  
в предчувствии снега и стуж,  
на белые вербы России  
осыпана звездная сушь.

Спасибо вам, вербные ветви,—  
не зря от зимы не вдали,  
чтоб стало светлее на свете,  
вы красные листья зажгли.

Кого это я окликаю,  
зачем же по свету кружу —  
и горько от вас отвыкаю,  
и долго от вас ухожу!

За старую рощей, за роздымью  
пыль звездная — что ковыли.  
Спасибо, певучая родина,  
за тихие избы твои.

Хочу быть созвучным, стоустым,  
душой прорываться в слова,  
чтоб собственной правдой и пульсом  
озвучиться, словно листва,  
чтоб в лиственном звонком погласье  
сквозь смутность,  
сквозь утренний дым  
почувствовать снова согласие  
мгновенья с мгновеньем иным.

Иду я, в росу наступая,  
продрогший, усталый,—  
и все ж

спасибо, тропинка лесная,  
за то, что куда-то ведешь.

Спасибо за блески на ветках,  
за шорох, за шелест,  
за тень,  
за то, что в зеленых просветках  
давно опрозрачился день.

\* \* \*

Дорогой безлюдной,  
минуя болотину,  
на тряской попутной  
я прибыл на родину.

Ну вот я на родине...  
Ну что, моя старая,—  
слепа ты и сторблена,  
твердишь мне:  
— Устала я.

Устала. Ах, мама,  
все прошлому роздано,  
один я,  
как мамонт,  
без ласки, без отзыва.

— Прости ты старушке,  
чтоб жизнь не слукавила  
с тобою —  
в церквушке  
я свечи все ставила...

Все вышло иначе,  
что было — то кануло,  
нет сыну удачи —  
все начато заново.

Я добрым и нежным  
стою перед избами,—  
цветением снежным  
все дали засыпаны.

И снова по-свойски  
мне на сердце просится,

вся в солнечном воске,  
прозрачная просека.

И звонкие версты —  
в ухабы, в проталины,  
и мерзлые сосны  
в серебряном таянье.

Где в зимнем бескрылье  
спит тишь —  
не шевелится  
под белою свилью  
у белого шелеста.

Пусть звонкая наледь  
и мхи покороблены —  
январь зажигает  
снега моей родины...

*Феликс Чуев*

## ЛЕТНЫЙ ПОЛК

Мои друзья, мои истоки!  
Среди красивых и родных  
на предполетной подготовке  
читаю летчикам — про них.

Стоят ребята молодые  
в размахе солнечных ветвей,  
обыкновенные, простые  
герои самых мирных дней.

— По самолетам! —  
как «по коням!» —  
наступит доблестный момент,  
и командир полка,  
полковник,

мальчишка, черт, интеллигент,  
лихой, улыбчивый глазами  
и ямочкою на щеке,  
счастливый солнцем, небесами  
на просветленном козырьке,—

он скажет: — Воздух держит плотно  
и самолет и экипаж.

Как зверь, до небушка голодный,  
упругим пламенем форсаж  
с бетонки вверх возносит первым  
его —  
он властвует один,

прижав к бокам стальные нервы  
роскошных крыльев и турбин.

За ним поднимутся огромно,  
сметя обрывки тишины,—  
и грохот над аэродромом  
запомнится, как мощь страны.

И вдаль летит протяжным гулом  
по струнам северных лесов:  
Чухновский,  
Громов,  
Анохин, Арцеулов,  
Глинка,  
Мосолов...

## Олег Чухонцев

\* \* \*

Что ми шумить, что ми звенить давеча рано пред зорями?

(«Слово о полку Игореве»)

Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий.  
Вот и погас красный фонарь — юность, курящий вагон.  
Вот и опять вздох тишины веет над ранью светающей,  
И на пути с черных ветвей сыплется гомон ворон.

Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,  
Ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков под мостом,—  
Кажется, все, что улеглось, талой водой взбаламучено,  
Всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом.

Это весна все подняла, все вверх тормашками вздыбила —  
Бестолочь дней, мелочь надежд — и показала тщету.  
Что ж я стою, оторопел? Или нет лучшего выбора,  
Чем этот край, где от лугов илом несет за версту?

Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли висит над просторами?

Что ворожит над головой неугомонный галдеж?  
Что мне шумит, что мне звенит издали рано пред зорями?  
За семь веков не оглядеть, как же за жизнь разберешь?  
Но и в тщете благодарю, жизнь, за надежду угрюмую,  
За неуспех и за пример зла не держать за душой.  
Поезд ли жду или гляжу с насыпи — я уже думаю,  
Что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой.

## Варлам Шаламов

### ПРАЧКИ

Девять прачек на том берегу  
Замахали беззвучно вальками,  
И понять я никак не могу,  
Что у прачек случилось с руками.

Девять прачек полощут белье —  
Состязание света и звука

В мое детство, в мое бытие  
Ворвалось как большая наука.

Это я там стоял, ошалев  
От внезапной догадки-прозренья,  
И навек отделил я напев  
От заметного миру движенья.



\* \* \*

Хранитель языка —  
Отнюдь не небожитель,  
И каждая строка  
Нуждается в защите.

Нуждается в тепле  
И в меховой одежде,

В некрашеном столе  
И пламенной надежде.

Притом добро тепла  
Тепла добра важнее,  
В борьбе добра и зла  
Наш аргумент сильнее.

## *Михаил Шаповалов*

### К ПОРТРЕТУ

Ряд безделушек, без которых  
Нельзя быть женщиной вполне,  
Запечатлен на полотне,  
Хоть не помянут в разговорах.

Но обнаженное плечо,  
Изгиб руки и бровь крутая  
Равно волнуют горячо  
Молчальника и красная.

Несовершенны наши вкусы.  
А ну, попробуй убери:  
Подсвечники, флаконы, бусы,  
И зеркало, и луч зари...

И что же? Женщина увянет  
Без всех уловок и прикрас  
И, неприветливая, глянет,—  
И не узнаешь этих глаз.

## *Игорь Шкляревский*

\* \* \*

Грач мастерит свое гнездо.  
Внизу железный ветер свищет  
и дым курьерских поездов  
летит в небесное жилище.  
И ты, как десять лет назад,  
невольно сдерживаешь слезы,  
когда за окнами рябят  
пристанционные березы!  
Минуя новый поворот,  
ты глушишь водкою простуду,  
а в горле все острее скребет  
тоска по дому, по уюту.  
И ты устал углы снимать,  
в чужих каморках обживаться,—  
от радости не заплакать,  
от горя вдруг не разрыдаться.  
В конце концов и ты устал  
любить, не будучи любимым,

и пахнет холодом металл,  
и бесконечность пахнет дымом.  
И вдруг на станции Латва  
откроют дверь в ночное поле,  
и в сердце первая трава  
забытой сладостью уколует.  
Откроют дверь в ночную даль,  
и оживут такие были,  
такая вечная печаль,  
как будто душу защемили!  
И ты свой призрачный уют  
не предпочтешь знобящей влаге,—  
так нежно жабы запоют  
в сыром кладбищенском овраге!  
И снова, сын родной земли,  
полюбишь каждый миг до дрожи,  
так, что и радости твои  
твоих печалей не дороже!

Ревную громады сосновых лесов,  
где бьют из земли родники ледяные,  
где свищут тревожные птицы ночные  
и зябнет вселенная в море овсов...  
Теперь это модно — природу любить!  
Холера вспугнула семейку чумную,  
решили поездки на юг отложить —  
невольню влюбились в природу родную!  
Ревную — упавшую мокрую рожь,  
и осень грибную, и полночь парную,  
когда мне ладони покалывал дождь,  
не просто люблю, а до боли ревную —

и предлистопадные тихие дни, и ответ рябины на бедной могиле, все то, что так громко они полюбили и так оскорбительно хвалят они. Откуда такая всякая прить, молчанка, отржка, казенщина слова? Ревную словесные чащи Толстого и тайную жажду — себя разлюбить! А слякоть, и стужу, и бледный рассвет — просто люблю и уже не ревную — все пусто! Умчались. И сыплет вослед ненастье крупцу свою ледяную...

## ЖЕНЩИНА

Ты крутишь с будущим романы  
и даже с вечностью на «ты»!  
А я над пропастью, как пьяный, —  
я испугался высоты...  
С идеей, маленькой, но трезвой, —  
на солнышке позагорать —  
ты ноги свесила над бездной.  
Дай мужество тебя понять!  
Я знаю, ты мышей боишься,  
но за чертой небытия,  
когда удобнее садишься,  
косынка треплется твоя.  
Однажды Демон здесь разбился!  
Он до отчаянья влюбился,

и закружилась голова.  
А ты по-своему права —  
ты от волнения не куришь,  
не смотришь в синеву с тоской,  
ты загораешь и ликуешь  
над слабоверною толпой.  
И ветер вечности прохладный  
твоих волос волнует рожь.  
И вот рукою шоколадной  
меня ты к пропасти зовешь!  
А я стою перед тобою,  
к скале прижатый высотой,  
и жутко под ноги посмотреть —  
боится снег туда лететь!

## БИТВА С ТАЙМЕНЕМ

«Собачья пасть» — порог непроходимый. Здесь и зимой, размалывая льдины, плюется дикой пеной водопад — над ним леса оглохшие парят!

О женщины! Один дурак влюбленный уже рискнул — гранитные клыки байдарку разорвали на куски!

А сам пловец, ударом оглушенный, в скалу вцепился и орет плашмя — без рюкзака остался и ружья.

Эй, не зевай! Плавник мелькает

черный, —

кровоточа, всплывает лещ озерный, не справился с могучею струей.

И лишь лосось, любимый и прекрасный,  
одолевая ток воды ужасный,  
в течение уперся головой!  
О синий крап на платиновых перьях,  
о фейерверк огня и серебра,  
весь в бурунах, как будто в черных  
                                песнях,  
он на стремнине властвует с утра.  
А ты, мой друг, изъеденный мошкой,  
ночь у костра отмучился в дыму,  
и по росе, как из деревни в школу,  
как на свиданье, ты бежал к нему.  
Ты звал его: «Смотри, играет кумжа!»  
Ты честно лгал: «Ни славы, ни любви,  
ни жалких денег — ничего не нужно.

Ударь! Ударь! И лесу не порви!»  
И, оседлав гранитную громаду,  
слепой от солнца, четко видел ты,  
как яростно он рвется к водопаду,  
снарядом вылетает из воды.  
Чехонь и лещ умеют тихо плавать,  
таймень — летать умеет над водой!  
И вырвала ликующая память  
из тусклых дней великолепный бой.  
Не вереск обдавал тебя угаром —  
ты помнишь крови сумасшедший гул?  
То наш таймень решительным ударом  
тебя едва с обрыва не столкнул!  
Запомнил ты, как в песнях водопада,  
разбрызгивая кровь и чешую,  
своим хвостом, широким, как лопата,  
цеплялся он за каждую струю?!  
Ты не забыл в беспамятстве счастливым,  
как ты бежал по скользким валунам,  
и он огнем лицо твоё обрызгал  
и разрубил пространство пополам.  
Пружинил спиннинг из стальной  
рапиры,  
но, молодым разиням не в пример,  
ты взял свое! Не зря твои кумиры —  
отвага, легкость, точность, глазомер.

Пусть бог удачи радостно смеется,  
ты это видел, мой упрямый друг,—  
в стремнине, полной холода и солнца,  
он чудо передал тебе из рук.  
Ты небу трижды прокричал: «Спасибо!»  
Ты жил от жалкой скуки вдалеке,  
и на краю скалистого обрыва  
лососю сердце ты вернул реке!  
Но почему так звонко начинался  
и так печально обрывался крик?..  
Неужто в душу молча надвигался  
когда-то здесь растаявший ледник?  
Ведь книгу жизни — Книгу золотую  
дубрав и речек, ласточек и пчел,  
где счастье снова ставит запятую,  
ты и на треть пока что не прочел.  
Но ты, как отрок, жаром огневицы  
охваченный, когда весь дом притих,  
тайком прочел последние страницы  
и стал взрослее сверстников своих...  
И вот теперь, дочитывая главы  
и жалкой славы и слепой тщеты,  
с улыбкой странной смотришь на забавы  
и, забываясь, вновь ликуешь ты!

\* \* \*

Куда идти? Везде туман и сон.  
Слух обострен — ритмичные удары  
отражены зеркальным плесом Шчары,  
там, за рекой, еще колотят лен.  
Я на пароме плес переплыву.  
Пойду на звук, меня окликнет кто-то,  
но я не стану помогать ему,  
не окунусь в горячку обмолота.  
Не потому, что каждому — свое,  
а потому, что перед льном и рожей  
боюсь склониться с вдохновенной  
ложью  
и окунуться в труд, как в забытие.  
Как тот затейник, не рвану рубаху,  
не подключусь уже на склоне дня,  
не обниму румяную деваху,—  
ведь завтра им работать без меня.  
И мне они подыгрывать не станут  
лихой частушкой или похвалой,  
зато и вслед с хитринкою не глянут,  
пройду спокойно по земле родной.

\* \* \*

Горький дым одиноких бессонниц,  
щебетание утренних школьниц,  
стук колес и пустые поля,  
пар над речкой и желто-зеленый  
тополь, битвой с грозой изнуренный,  
и в настылой воде колея,  
и молчанье твое ледяное,  
и бессилье тебя отдышать, —  
в общем, все это дело пустое.  
Ни о чем не хочу вспоминать!  
Лучше выпью немного вина,  
чтоб горячая кровь заглушила  
злую горечь!.. И чтобы луна  
прямо в душу мою не светила!  
Выпью старки за гордых поляков,  
что погибли в соседних полях.  
В сорок первом году против танков  
они бросились на лошадях!  
Лошадь падала, грива горела,  
кости в землю вминала броня...  
Что сказать? Ты меня одолела.  
Без любви ты сильнее меня!

*Нина Эскович*

### ХОЛОДНЫЕ ЗОРИ

Только осень, не я принаряжена  
золотой полосой венка.  
А моя простота не уважена,  
ни письма, ни гонца, ни звонка.

Зори холодны, кротки, обидчивы.  
Но, прозрачной себе уступя,  
троекратно, что в нашем обычае,  
от души расцелую тебя.

И уже за чертой изумления —  
как живешь? — приникая, спрошу.  
С высоты убоясь приземления,  
невесомой листвою кружу.

Над землею слегка возвеличены,  
устоят, изумленно горя,  
три последние край-земляничины  
и железный листок сентября.

## Виктор Яковенко

\* \* \*

В холодной роздыми сады.  
Давно прошла пора цветенья,  
Преобразив ростки сомненья  
В раздумий поздние плоды:

Не безрассудно ли живу,  
Не понапрасно ль время трачу?  
Живу — как бы ловлю удачу  
Иль по течению плыву?

Не зря ль отмерен этот путь  
Как жадное влечение к людям?

Но легок был он или труден —  
Его уже не зачеркнуть.

И, может, все-таки не зря,  
Коль научился удивляться  
Листвы тускнеющему глянцу,  
Прозрачной грусти сентября.

И, может, все-таки не зря,  
Коль чувствуешь в душе отраду,  
Когда горит над тихим садом  
Закат, как вешняя заря...

А может, все-таки не зря.

\* \* \*

На снегу, как осколки радуги,  
Красногрудые снегири  
Собирают озябшие ягоды,  
Словно капли остывшей зари.

Пусть меняется время года —  
Неизменна у нас в крови  
Безраздельная власть природы,  
Эта вечная песня любви.

В оснеженных еловых лапах  
Ощутим, горьковатый слегда,  
Луговины цветущей запах,  
Привкус майского молока.

# СЛОВО О ПОЭЗИИ





## ПОЭЗИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Этот год стал знаменательным для представителей моей профессии. Постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» оказало огромное воодушевляющее влияние на всю нашу работу. Разумеется, рано еще подводить какие-то итоги, но признаки оживления критики есть, характер и тон ее заметно меняются, усиливается аналитическое начало, повышается теоретическая вооруженность.

В критических работах по поэзии, как мне кажется, наиболее уязвимым моментом была их замкнутость в чисто профессиональной сфере. Упрек в «неумении соотносить явления искусства с жизнью», который содержится в Постановлении ЦК КПСС, полностью приложим к критике поэзии. Справедливо по отношению к ней и замечание о том, что «недостаточно глубоко анализируются процессы развития советской литературы и искусства...».

В преодолении этих серьезных недостатков, в повышении идейно-теоретического уровня, повышении активности и принципиальности в проведении линии партии в области художественного творчества состоят задачи критики на нынешнем этапе. И большую роль в оживлении критической мысли могут сыграть дискуссии по актуальным проблемам художественного развития.

Поэтому мне хотелось бы на страницах «Дня поэзии» вернуться к одной незаконченной дискуссии, имеющей, как мне кажется, актуальное значение.

Время накладывает свою печать на искусство, ибо искусство всегда отражает свое время. Каковы же существенные черты поэзии 50-х и 60-х годов, как она отразила свое время и как время сказалось в ней? В общей форме на этот вопрос можно ответить так, что в указанный период шло заметное обогащение духовного мира поэзии. Ища объяснение этому факту в возрастаю-

щем гражданском самосознании народа, в научно-технической революции, мы не должны забывать и о традиции. Высокая культура мышления почиталась издревле. Гераклит считал, что доверять неразумным ощущениям — свойство грубых душ. Однако поэзию питает не логика научных абстракций, а непосредственный опыт, чувство, переживания. Не случайно же путь эстетического познания пролегает от чувственного созерцания, непосредственных ощущений к обобщениям, к типизации. Гераклитово замечание не может скомпрометировать роль художественной интуиции, роль «умного сердца» как свойства таланта.

Однажды Курбэ на вопрос о том, что он думает, когда пишет картину, ответил что-то в таком роде, что он не думает, а переживает, волнуется... Вероятно, то же нередко происходит и с другими художниками. Понимая творческий процесс как процесс диалектический, мы тем не менее полагаем, что в какой-то момент в него включается мыслительный аппарат. Таким образом, в поэзии всегда остается место мысли, интеллекту, а культура поэтического мышления является одной из особенностей и важных слагаемых таланта.

Сделаем некоторое отступление и обратим внимание на традиционное, приобретающее все больший размах тяготение ученых к художественному творчеству. Размышляя об этом, известный советский физик-теоретик академик Б. Кадомцев высказал мнение, что художественным творчеством ученые как бы стремятся восполнить беспомощность науки в решении больших этических проблем. Они, считает Б. Кадомцев, исходят из предположения, что литература и искусство заслуживают особого почтения: им принадлежит важная роль в деле совершенствования рода человеческого.

Это «смыкание» науки и искусства показательно в том смысле, что эмоциональный и интеллектуальный комплексы значительной личности не исчерпываются научной деятельностью и ищут иного выхода, находя его в художественном творчестве. Кроме того, сам процесс научного познания,

Этот раздел открывается статьями, авторы которых — критики Ал. Михайлов и В. Кожин — делятся своими размышлениями о некоторых чертах развития современной поэзии.



открытие нового сопровождается не только гигантскими мыслительными и трудовыми усилиями, но и радостными озарениями, вдохновенными порывами; на пути к научному открытию человека подстерегают не только драмы, крушения надежд, но и радость узнавания, поэзия новизны, заключающая в себе и эстетический элемент. А дальнейший научный и технический прогресс накладывает отпечаток на образное мышление, на весь процесс художественного развития.

Теперь обратимся к поэзии 50-х и 60-х годов. На первом отрезке, во второй половине 50-х, по крайней мере, внешне наблюдается господство эстрады. Лирическая публицистика, фельетон, стихи актуального звучания нравятся молодежной аудитории, которая охотно заполняет клубы и концертные залы, чтобы послушать любимых поэтов. Но наряду с этим зреет и в 60-е годы проявляет себя в полную силу аналитическая тенденция. Поэзия идет вглубь, размышляет.

В этом тоже ощутимо влияние времени. Всякие суммарные определения, как правило, приблизительны, не точны, ибо не исчерпывают явления в целом, но к ним приходится прибегать, чтобы обозначить главное, характерное. С этой необходимой оговоркой можно было бы сказать, что время пафоса сменилось временем анализа.

В 50-е и 60-е годы, преодолевая сложности нашего внутреннего развития, духовная жизнь шла по восходящей линии, человеческая личность стремительно обогащалась сознанием собственной значительности, утверждая свое право и долг отвечать за судьбы мира. Это должно было вызвать и вызвало прилив творческих сил в народе, дало толчок к нравственному и интеллектуальному обновлению общества. Пафос духовного возвышения личности захватил и литературу, подчинил себе талант и лучшие движения души художников разных поколений.

Критика не раз обращала внимание на то, что литература и искусство последнего времени стремились глубже проникнуть во внутреннюю сферу жизни, что и в прозе, и в поэзии, и в драматургии, и в кинематографе возросло напряжение мысли. Это довольно четко обозначившаяся тенденция художественного развития, которую надо понять, осмыслить, которой надо постараться дать оценку.

В начале 1963 года «Литературная газета» провела короткую дискуссию, начинщиком которой выступил физик, научный сотрудник В. Клименко<sup>1</sup>. Ему отвечал Б. Сарнов, а затем в спор вмешалась редакция, которая и поставила точку, раздав всем сестрам по серьгам. На физика обрушили массу литературоведческой эрудиции, намекнули, что он берется не за свое дело, и успокоились, хотя ни Б. Сарнов, ни редакция не смогли поколебать главного тезиса В. Клименко об усложнении нашего мышления вообще и художественного мышления в частности.

«Мышление меняется у всего человечества одновременно, а не по профессиям,— писал он.— Новые методы исследования, а следовательно, и новый характер мышления являются общечеловеческим достоянием». И дальше: «Процесс интеллектуализации нашего народа идет такими темпами, что каждый год приносит качественные изменения». И еще одна небольшая цитата из статьи В. Клименко: «И то, что я говорил об изменении характера всенародного мышления, относится к рабочему ничуть не в меньшей мере, чем к филологу».

Исходя из этих справедливых посылок, В. Клименко самым категорическим образом отверг идею «культурной элиты». Он высказал свои мысли о современном характере образного мышления, считая, что поэзия должна отразить общий процесс интеллектуализации народа, должна думать «над важнейшими жизненными вопросами».

К этой давней дискуссии необходимо было вернуться, чтобы напомнить, что еще до выступлений критиков читатели с пониманием и сочувствием отнеслись к духовному обогащению поэзии как отражению общего процесса роста культуры и самосознания народа, они искали и находили в поэзии деятельное мышление, стремящееся не просто осмыслить мир, а и преобразовать его.

Интеллектуализм — явление в современном мире социальное. Красноречивое подтверждение этому мы находим в политике подавления разума, которую проводит ныне буржуазия.

«Массовая», «индустриальная» культура на самом деле стала барьером между массами народа и истинной культурой. А

<sup>1</sup> «Литературная газета», 26 февраля 1963 года.

проповедь «антиинтеллектуализма» имеет социальные, классовые корни. Страх перед силой разума, культ иррационального, стандартизация мышления — вот характерные особенности современной буржуазной идеологии. Американский публицист Герберт Аптекер пишет: «В империалистическом обществе, находящемся в стадии прогрессирующего маразма, — а США уже поражены им, — страх правителей перед человечностью все более усиливается. Они боятся чувства социального долга, коллективизма, любви, сострадания, мужества, солидарности, недовольства существующим порядком. Но главный их враг — человеческий разум»<sup>1</sup>. То же самое отмечает и Р. Хофштадтер, назвавший свою книгу «Антиинтеллектуализм в американской жизни».

Несомненный интерес для данной проблемы представляют высказывания и выводы западногерманского врача и социолога Бодамера. Бодамер в своих исследованиях пришел к горькому и пессимистическому выводу, что человеческие эмоции не находят никакого удовлетворения в техническом мире, и именно этим он объясняет взрыв недовольства среди молодежи. Прогресс науки и техники, по его мнению, оплачивается духовным регрессом, оскудением гуманитарного начала. Приспособление к машинизированному, бездуховному существованию человека выдвигается Бодамером в качестве главного социально-этического лозунга нашей эпохи! Альтернатива этому существованию — грядущее религиозное обновление через употребление наркотиков.

Бодамер подменяет отношения капитала и труда отношениями техники и человека, снимая таким образом классовые противоречия и игнорируя тот факт, что именно человек является двигателем технического и социального прогресса, что, опираясь на «культурную элиту», капитализм добивается успехов в науке и технике, но, подавляя личность трудящегося человека, его свободу, его интеллект, он тормозит социальный прогресс.

Между тем научно-технический прогресс оказывает влияние на всех активных членов общества, на их духовную жизнь, наконец, прямо и косвенно — на художественное творчество. Прямо — как отражение самого процесса научно-технической револю-

ции; косвенно — как отражение характера мышления и психологии общества в связи с научно-технической революцией.

Эти существенные характеристические моменты социального развития не нашли отражения в прошедших дискуссиях об интеллектуализме, зато в них выявилось немало терминологической путаницы, приводившей иногда к недоразумениям. А ведь дело вовсе не в терминологии. При всем своем несовершенстве термин «интеллектуальная поэзия» ближе стоит к современным понятиям, точнее отражает характер явления, чем утвердившийся ранее в литературоведческом обиходе термин «философская лирика» или «медитативная лирика». Но ведь и этот термин не исчерпывал всего явления, которое определял.

Дискуссии по данной проблеме были эпизодами литературной жизни, отражавшими внутреннюю потребность осмыслить явление художественного развития, одну из его тенденций. При этом была сделана попытка показать, что высокая культура поэтического мышления традиционна для русской поэзии. Ей свойственно стремление к познанию мира, к аналитическому его расчленению и — в конечном счете — к синтезу. Горький, например, писал именно о «глубочайшем философском интеллекте» русской поэзии XIX века.

Сегодня высокая культура поэтического мышления предполагает дальнейшее сближение искусства с наукой. Влияние науки сказывается на структуре языка поэзии, на характере поэтической метафоры и ассоциативных связях, на самом содержании поэзии.

Некоторые из участников дискуссии противопоставляли интеллектуальности гражданственность, как главную особенность развития поэзии последнего десятилетия. Но о чем тут спор? Гражданственность выражает общественную позицию поэта. Интеллектуальность отличает характер разного мышления и его кругозор. Надо ли доказывать, что высокая культура мышления только укрепляет гражданские позиции художника, вооружает его в идейной борьбе. Это отлично понимали еще в эпоху Возрождения. Страстное стремление к знанию, к истине Джордано Бруно назвал «героическим энтузиазмом», прямо связывая философию в поэзии с политическими и гражданскими деяниями. Излишне доказывать, что ищущая мысль побуждает к действию,

<sup>1</sup> «Литературная газета», № 38, 17 сентября 1969 года.

воспитывает активное отношение к жизни, пробуждает чувства добрые.

Есть и еще один аспект проблемы, требующий уточнения. А. Метченко в статье «Современное и вечное»<sup>1</sup>, отвергая понятие интеллектуальности как качественной специфики литературы, пишет: «Эта теория, как свидетельствуют факты, адресована главным образом к интеллигенции и находится наиболее горячий отклик в тех ее кругах, которые по тем или иным причинам слабо связаны с народными массами».

Автор не называет конкретных фактов и не очень ясно указывает адрес, к какой же интеллигенции отнести его замечание насчет слабой связи с народными массами, а это очень важно для выяснения вопроса. Действительно, в буржуазном обществе мы встречаемся с явлением «культурной элиты», интеллектуальность которой отгораживает ее от народа и стоит на пути социального прогресса. В такой трактовке вопроса А. Метченко совершенно прав. Но есть и другая сторона вопроса, которую он упускает из виду, есть и другие факты, свидетельствующие о широкой пропаганде антиинтеллектуализма, о стандартизации мышления как основе буржуазной идеологии по отношению к народным массам. Если посмотреть на проблему с этой стороны, то она принимает совсем иной оборот.

Не в этом ли и кроется коренная разница между интеллектуализмом в системе буржуазной идеологии и интеллектуализмом современного советского общества? Если в первом случае интеллектуализм рассчитан на «культурную элиту», а антиинтеллектуализм насаждается в широких демократических кругах, то во втором невозможен какой-либо расчет на элитарность. Интеллектуализм становится общественным явлением, поддерживается государственной политикой, в то время как в развитых капиталистических странах государственная политика насаждает массовый антиинтеллектуализм.

Необходимо заметить, что интеллектуализм не подменяет и не может подменить других понятий, характеризующих художественное творчество, таких, как партийность, народность, классовость. Он характеризует лишь одну черту, одну особенность искусства — его качественную специфику. И в этом смысле он не нов в русской литера-

туре. Главную особенность таланта Герцена, например, Белинский видел «не в художественности, а в мысли» и считал, что «такие таланты так же естественны, как и таланты чисто художественные»<sup>1</sup>.

Сегодня мы говорим и спорим об интеллектуализме и как об особенности поэтического мышления, и как о «структурной почве» поэзии. Распространенное заблуждение относительно «интеллектуальной поэзии» состоит в том, что ее представляют рационалистической, головной, расчетливой, лишенной душевного волнения. Но можно ли представить себе, что интеллектуальные бури XX столетия возникли только на голых абстракциях, что они не являются отражением борьбы человеческих страстей?!

Отбросим в сторону все то, что, увы, неизбежно сопутствует развитию поэзии, — и голый рационализм, и корыстный расчет, — тем более что отнюдь не всегда они связаны с интеллектуализмом, вернее, могут прикрываться его видимостью. Оставим объектом нашего внимания поэзию, которая не может возникнуть из абстракций, первоначальным ее возбудителем всегда является непосредственное ощущение. У иных поэтов — по складу натуры — эти непосредственные ощущения превалируют над мыслью, идеей, большее доверие оказывается интуиции, «умному» сердцу. Такие стихи, естественно, вызывают более живой и непосредственный эмоциональный отклик у читателей. Это качественная специфика стиха, противоположная философическому, аналитическому его складу.

В стихах такого рода чувства упрятаны глубже, они ощущаются подспудно, здесь можно наблюдать, как рвется в глубь неизведанного живая, трепетная, беспокойная поэтическая мысль, она проникает каждую клетку образа, она прочерчивается в бесчисленных радиусах ассоциаций. Рожденная и движимая чувством, она обезоруживает его, сдерживает, не дает разлиться половодьем; чтобы утвердить себя, выношенную и выстраданную поэтом.

Возьмем для примера стихотворение «Статистика» Вадима Шефнера, поэта строгого, сдержанного.

Статистика, строгая муза,  
Ты реешь над каждой судьбой,

<sup>1</sup> «Москва», 1969, № 1.

<sup>1</sup> В. Г. Б е л и н с к и й. Собрание сочинений в трех томах, т. 3. Гослитиздат, 1948, стр. 804—805.

Ничто для тебя не обуза,  
Никто не обижен тобой.

Не всматриваешься ты в лица  
И в душу не лезешь, — а все ж  
Для каждой людской единицы  
В таблицах ты место найдешь.

В рядах твоей жесткой цифири,  
В подсчеты и сводки включен,  
Живу я, единственный в мире,  
Но имя мое — легион.

Умру — и меня понемногу  
Забудут друзья и родня.  
Статистика, муза Итогов,  
Лишь ты не забудешь меня!

В простор без конца и границы,  
Бессмертной дорогой живых  
Шагает моя единица  
В дивизиях чисел твоих.

Сухое, отпугивающее название и исходный образ — статистика. Кажется, что еще более скучное, «непоэтическое» можно избрать темой стихотворения? А какое сильное впечатление производит этот сквозной, с неумолимой внутренней логикой развивающийся образ «музы Итогов»! И не так уж трудно представить, какого эмоционального напряжения стоило ввести в берега безупречной по композиции лирической медитации это горькое раздумье об итогах человеческой жизни в предощущении ее предела, конца...

Было бы наивно полагать, что в этом направлении поэтического развития не обходится без издержек, что все, сочиненное в стихах и претендующее на интеллектуальность, есть поэзия. Холодное умствование, рифмованные манипуляции даже с архисовременными идеями существуют и будут существовать вне поэзии, ибо в истоке их нет душевного движения, а поэтический образ заменяется рассудочной конструкцией.

Интеллектуализм как сумма знаний, эмпирическое усвоение культурного опыта человечества не достаточен ни в общественной, ни в научной, ни в художественной деятельности. Смысл ему дает нравственный идеал, гражданская позиция общественного деятеля, ученого, художника. Пушкин говорил о стремлении, о необходимости для художника в просвещении быть с веком наравне, но он также звал к действию:

Пока свободой горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы.

Просвещенность, образованность мыслились великими художниками непереносимым условием общественного прогресса. Поэто-му проблема интеллектуализма ни в какой мере не сводится к потоку информации, как полагают некоторые. Читатель ищет в художественном произведении не новой информации о мире, а нового понимания мира.

В поэзии выявился особый, небывалый доселе интерес к таким поэтам, как Баратынский, Тютчев, Анненский. Советские поэты старшего поколения ранее других уловили эту духовную потребность общества, по-разному сказавшуюся в их творчестве. Она нашла отражение и в поэзии молодого поколения, которое тоже неуклонно шло к анализу, к постижению философии времени. Таким образом обогащался интеллектуальный мир поэзии, отражающий изменения в духовной и нравственной жизни общества, связанный с бурным ростом гражданского самосознания, с бурным развитием всех творческих сил народа.

В этом плане интеллектуализм уже нечто большее, чем качественная специфика искусства, это явление, которое в той или иной мере затрагивает всю сферу нравственной, идеологической жизни и в этом *общем качестве* находит отражение в литературе. Но качественной специфики, особенностей той или иной творческой личности он не исключает. Сила дарования, связь с временем, общественный темперамент, гражданская активность — вот что определяет значение творчества поэта. Интеллектуализм выявляет не иерархическую принадлежность поэта, а характер его дарования.

Вернемся еще раз к Шефнеру, которому близка классическая традиция в поэзии. В стихотворении «Зеленострой» он опоэтизировал идею строительства через простую на первый взгляд аналогию весеннего обновления земли. Образный ряд его насыщен техницизмами, которые органично входят в поэтику данного стихотворения.

Уже в другом духе мартиновская метафора — «солнца атомный котел». Или такие строки:

Это  
Молния  
Сверкнула ночью,  
Чтобы разглядели мы воочью  
Громовержца  
Ядерное сердце.

Теперь уже нельзя не заметить то, что обогатило и значительно возвысило нашу поэзию 50-х и особенно 60-х годов, — ее аналитическую тенденцию, ее философичность. Именно в этом прежде всего и надо видеть ее интеллектуальность, культуру поэтического мышления, а не в эмпирическом, внешнем украшении стихов современным техническим и прочим реквизитом. Пафос исследования жизни, по-видимому, надолго определил перспективу поэтического развития.

Стремительное развитие технических, естественных наук, их поражающие воображение практические результаты существенно меняют не только характер мышления, но и психику современного человека. Оставаясь привязанным к земле, дорожа своею исходностью, «горсточкой горячей, милой, чуть горящей... матери-земли» (Вознесенский), он неизбежно чувством и сознанием своим включается в проблемы, порожденные открытиями науки и техники.

Еще два десятка лет назад казались бы загадкой, а сегодня уже не удивляют читателя такие образные сближения:

Дождь обложил со всех сторон  
И превратил округу  
В гудящий синхрофазотрон,  
В разрядник, в центрифугу.

Это строки из стихотворения молодого дальневосточного поэта Арсения Семенова, поэта философического склада, пытающегося разгадать сложный комплекс отношений человека и природы, остро чувствующего стремительный бег времени.

Небывалые скорости нашего века уплотняют стих, меняют ритмику, как бы вдыхают в него энергию движения. Е. Винокуров однажды удивленно воскликнул: «Время хлещет, — вот так из пробойн хлещет в трюм что есть силы вода». Или у А. Вознесенского: «Мимо санатория реют мотороллеры». Влюбленные за рулем сравниваются с рублевскими ангелами («Рублевское шоссе»), они мчат своих любимых, похожих на крылья за спиной. И дальше:

Их одежда плещет,  
Рвется от руля,  
Вонзайтесь в мои плечи,  
Белые крыла.

А вот из другого стихотворения:

...снова мертвой петлею  
несутся до рассвета

такие же отпетые  
шоферы и поэты!  
Их фары по спирали  
уходят в небосвод.

Из нового поколения поэтов Вознесенский, пожалуй, наиболее ярко и своеобразно отразил технический колорит нашей эпохи, но он же подал голос в защиту человечности против роботизации человека, убежденно и страстно провозгласив: «Все прогрессы — реакционны, если рушится человек». Именно этой стороною: человек и технический прогресс — отразился миру Вознесенского в стихах и поэме «Оза». А у Семенова человек поставлен перед бесконечно сложным явлением природы. И он тщится проникнуть в тайны их взаимоотношений, отдавая себе отчет в том, что «вечные останутся вопросы».

Е. Винокуров, который последовательно складывался как поэт размышляющий, чей исследовательский пафос воплощался в поэтическом анализе и синтезе, слагал гимны мыслителям:

Мыслители, наморщив лбы,  
Шли, — как в пике идут пилоты, —  
Во глубь материи,  
дабы  
Понять явление природы.

Поэзия заражается страстью научного поиска, не теряя из виду главный объект своего внимания — человека. Человек и технический прогресс, человек и мир природы, человек как разумное существо, подчиняющее своей воле технику, покоряющее стихию, — господствует в поэзии.

Диалектика полета!  
Вот она:  
Ведь не крылатый кто-то,  
Черт возьми, а именно бескрылый  
По сравнению даже с дроздофилой,  
Трепетный носитель хромосом  
В небесах несется, невесом!

В цепи таких ассоциаций горизонт поэтического мышления раздвигается до глобальных масштабов, но при этом все-таки главным объектом внимания остается человек, его жизнь, его судьба — и опять-таки в связи с жизнью и судьбою всей планеты. У того же Л. Мартынова, чьи строки приведены выше, есть такое стихотворение:

Невозможно  
Жить на белом свете  
И кружить лишь по своей орбите,  
Не вникая ни во чьи дела,  
Будто где-то на иной планете  
Погибают женщины и дети  
И набат гудят колокола.  
Невозможно жить на белом свете,  
Не вникая ни во чьи дела!

...В отчетном докладе XXIV съезду КПСС говорится:

«Мы за внимательное отношение к творческим поискам, за полное раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей,

вырабатываемых на основе метода социалистического реализма»<sup>1</sup>.

Понятно, что в пределах настоящей статьи невозможно показать хотя бы конспективно богатство и многообразие советской поэзии, для этого пришлось бы писать гигантский обзор. Задача состояла в том, чтобы показать исторически неизбежный характер одной из важных тенденций поэтического развития, в которой проявляются индивидуальные свойства таланта, которая вносит новый штрих в многокрасочную палитру советской поэзии наших дней.

---

<sup>1</sup> «Коммунист», 1971, № 5, стр. 70.

## ЗАМЕТКИ О ПОЭТИЧЕСКИХ ВЕЯНИЯХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Сознательно выношу в заглавие моей статьи слово «заметки». Это в самом деле лишь заметки, никак не претендующие ни на характеристику нашей поэзии в целом, ни на определение ее основных тенденций и достижений.

Речь пойдет лишь о некоторых процессах, которые, на мой взгляд, характерны для сегодняшней поэзии и представляются мне интересными и обещающими.

И начать я хочу с заметок о совершенно частной проблеме, которая все же имеет, по-моему, свое значение и должна занять определенное место в критике, — проблеме *названий* поэтических книг.

\* \* \*

О названиях книг у нас вспоминают чаще всего в юмористических целях. Так очень часто публикуются перечни близких названий (скажем, тех, в которых повторяются слова «дорога», или «сердце», или «юность» и т. п.), и это невольное единодушие многих авторов вызывает смех.

Но к проблеме названий можно подойти и с полной серьезностью. Еще сорок лет назад это сделал своеобразно мыслящий писатель и литературовед С. Д. Кржижановский, издавший книжку «Поэтика заглавий» (М., 1931). Он писал, в частности:

«Заглавие — ведущее книгу словосочетание, выдаваемое автором *за главное книги*. Заглавием книга... показана читателю *вмале*... Книга и есть *развернутое до конца заглавие*, заглавие же — *стянутая до объема двух-трех слов книга*... Мастерски сделанные заглавия сохраняют в себе суть книг». С. Д. Кржижановский приводит выразительный пример: «Датчанин С. Киркегор озаглавливает свою книгу: «Aut—aut» (Или — или)... Киркегора читают редко... Но... «Или — или» включает в себя своеобразие мышления и северную суровость воли и стиля автора».

Очень точно сказано — «своеобразие мышления». Заглавие выражает не содержание,

а, так сказать, его стихию, его основной «настрой»<sup>1</sup>.

Заглавие, или (как чаще говорят теперь) название, не просто «придумывается», оно *сочиняется* — как и сами произведения, — оно рождается в сложном творческом акте.

В статье «Поиски названия» («Вопросы литературы», 1962, № 4) литературовед З. Блисковский справедливо писал, что эти поиски — «напряженный, порой мучительный литературный труд».

И особенно трудны, пожалуй, названия поэтических сборников — названия, которые призваны выразить единый пафос целого ряда отдельных стихотворений. Из бесед с поэтами я знаю, что иногда название вызревает месяцами, «сочиняется» столько же времени, как и сама книга. В других случаях оно рождается мгновенно, но это рождение поэт воспринимает как редкостную творческую удачу.

Названия поэтических книг могут стать предметом специального исследования, способного раскрыть немаловажные аспекты истории и теории поэзии.

Широко известен указатель «Русские поэты XX века. 1900—1955», составленный А. Н. Тарасенковым, поставившим перед собой задачу охватить все без исключения стихотворные книги за пятьдесят пять лет (в указатель вошло, примерно, 15 тысяч книг). С моей точки зрения, основная ценность этого многолетнего труда состоит в том, что мы получили своего рода «сокращенную историю» русской поэзии XX века.

Возьмем ряд названий из этого указателя: 1) «В безбрежности», «Литургия красоты», «Фейные сказки»; 2) «Зеркало теней», «Me eum esse» («Это — я»), «Все напевы»; 3) «Змеиные очи», «Пламенный круг», «Чародейная чаша».

Знатоки поэзии, возможно, помнят, кому принадлежат все или хотя бы некоторые из перечисленных книг. Но даже если и не помнят, все-таки с большей или меньшей

<sup>1</sup> В современной «Краткой литературной энциклопедии» есть специальная статья «Название» (см. т. 5), где утверждается, что последнее «выделяет, акцентирует нечто главное или глубинное в произведении». Это едва ли верно.

уверенностью решат, что это книги самого конца XIX — начала XX века, книги тогдашних «декадентов». При более тонком и углубленном подходе можно «угадать» и авторов: первые три книги — Бальмонт, вторые — Брюсов, третьи — Федор Сологуб.

А вот еще ряд: 1) «Кормчие звезды», «Эрос», «Золотые завесы»; 2) «Нечаянная радость», «Снежная маска», «Арфы и скрипки».

Это уже совершенно иной тип названий, — это книги 1900 — начала 1910-х годов, книги символистов — Вяч. Иванова и Блока.

Кстати, что касается, скажем, книг Блока или Есенина, то вполне можно по заглавиям узнать даже, к какому периоду творчества относится та или иная книга, или цикл его стихов. Сравните есенинские заглавия — раннего («Радуница», «Голубень», «Сельский часослов»), среднего, имажинистского («Стихи скандалиста», «Мреть», «Господи, отелись») и последнего, зрелого («Березовый ситец», «Голубые доли», «Русь уходящая») периодов.

Очень характерны заглавия книг советских поэтов 1920-х годов: «Совет ветров», «За рядом ряд», «Бомба» (Н. Асеев), «Поэзия рабочего удара», «Юность, иди!», «Пачка ордеров» (А. Гастев), «Сердце горит!», «Строй», «Здравствуй, жизнь!» (А. Жаров), «Октябрьские зори», «По рельсам жизни», «Ордер на мир» (А. Безыменский).

Своеобразная контрастность, сочетание резкой эмоциональности и в то же время некоего рационализма отличает заглавия этих лет. При несомненном единстве можно наметить здесь и индивидуальные особенности.

Существенно иной характер имеют заглавия конца 1920 — начала 1930-х годов; они, так сказать, более земные, более конкретные, хотя всецело сохраняют напряженность и резкость. Таковы, например, названия книг В. Луговского: «Мускул», «Сполохи»; Н. Ушакова: «Весна Республики», «Горячий цех», «Скорый поезд»; А. Прокофьева: «Дорога через мост», «Сотворение мира», «Прямые стихи»; С. Кирсанова: «Прицел», «Стихи в строю», «Строки стройки» и т. д.

На всех этих названиях ясная единая печать времени и вместе с тем личное клеймо каждого из поэтов.

Можно пойти и дальше, вплоть до нашего

времени. Но проблема, кажется, уже ясна. Нам достаточно было установить самый факт содержательности названий — тот факт, что они способны воплощать в себе существенные свойства, некий общий смысл и пафос предваряемых ими поэтических книг.

С этой вот точки зрения я хочу подойти к поэтическим названиям самого последнего времени. В прошлом, 1971 году вышло около трехсот русских поэтических книг (не считая переизданий). При обследовании их названий не особенно трудно обнаружить, что для них типичны названия следующего рода (я не могу утомлять читателя большим списком и беру всего полсотни названий):

«Грибной дождь», «Полустанок», «Прозрачные дни», «Поле», «Цвет зари в окне», «Околица», «Лесной родник», «Звон наковальни», «Городская черта», «Перелески», «Окрестность», «Звон ольхи», «Облака», «Колос», «Голуби в цехе», «Березовые блики», «Равнина», «Светлая осень», «Гудки над Волгой», «Черемуховые холода», «Летний день в сентябре», «Поздняя радуга», «Тепло земли», «Солнце стоит высоко», «Ивняковая сторона», «Ночные костры», «Будни», «Утренняя земля», «Дом и дерево», «Свет июля», «Пора черемух», «Прощание с зимой», «Возвращение в город», «Люблю тебя, Анна», «Ожидание урожая», «Поездка к другу», «Возвращаюсь к тебе», «Прильни к земле», «Помню», «Ничто не забывается», «Остаюсь влюбленным», «Поздние стихи», «Белым снегом», «Как черный хлеб», «Еще в долине август», «Проплывают облака», «У Онеги, среди перелески», «А всего и помнится», «Улетают журавли», «Еще один сентябрь» и т. п.

Каждый, кто заинтересуется этой проблемой, сможет убедиться: более двух третей названий поэтических книг 1971 года примыкает к этому типу названий.

Вглядываясь в приведенный перечень, можно, как мне представляется, уловить в нем некие единые «принципы» или хотя бы единую настроенность.

При всех индивидуальных различиях эти названия объединяет стихия простоты, конкретности, естественности. В них почти совершенно отсутствует метафоричность, условность, нарочитая символика. Они как бы стремятся лишь к тому, чтобы непосредственно поставить перед нашим воображением то или иное явление в его ничем незамутненной естественной сущности. Это стремление особенно отчетливо выступает в



таких названиях, как «Цвет зари в окне», «Солнце стоит высоко», «Свет июля», «Летний день в сентябре», — названиях, которые, кажется, имеют цель только лишь точно обозначить «предмет» (на самом деле в этом, безусловно, воплощается вполне определенная позиция автора, о которой мы еще будем говорить).

Этого рода названия новы. Мы можем без особого труда убедиться: в поэтических названиях (по крайней мере в них) совсем недавно произошел достаточно резкий перелом. Чтобы увидеть это, не надо уходить далеко в прошлое. Вот типичные (их опять-таки более двух третей) названия книг, вышедших всего четыре года назад, в 1968 году. На фоне названий 1971 года в них сразу поражает метафоричность, усложненность, подчеркнутая экспрессия или же абстрактность смысла:

«Рыжая метель», «На струнах солнца», «Зеленое солнце», «Тревожный парус», «Оранжевое небо», «Бронзовый ветер», «Цветы и порох», «Синий меридиан», «Колючая красота», «Небо сквозь травы», «Поющий камень», «Земля и зенит», «Семь цветов песни», «Сердца и звезды», «Синие версты», «Море мечты», «Сквозь тучи», «Зеленая стрела», «Броня и сирень», «Тревожные высоты», «Гамма-излучение», «Формула радости», «Составление мира», «Земное наше притяжение», «На высоких широтах», «Крылья земли», «Три солнца», «Шаги за горизонт», «Пространство и время», «Голубая валторна», «Время сгущается в образ», «Протуберанцы», «Звуковой барьер», «Горизонт», «Бесконечность», «Жажда океана», «Жизнь без границ», «Убегающая даль», «Явление любви», «Век беспокойного солнца», «Красота сменяет красоту», «Ты по звездам идешь», «Невостребованная любовь», «Пусть не умирают звезды», «Подомной океан» и т. п.

Кажется, положение уже ясно: эти названия вводят нас в иной поэтический мир. Здесь все необыденно, не просто. Книгу называют не «Березы», а «Присягаю березам»; не «Любовь», а «Явление любви». Не менее выразительно и название «Убегающая даль». Оно так же типично для 1968 года, как для 1971, например, названия четко запечатлевших черты времени книг «Окрестность» (Д. Голубков) и «Возвращение в город» (О. Дмитриев).

Десятки названий содержат в себе самые «глобальные» слова — солнце, звезды,

океан, небо, Земля (с большой буквы) и мир вообще. Если же речь идет о непосредственно человеческих масштабах, опять-таки господствует безграничность, своеобразный максимализм: «Никто не заменит тебя», «И нет мне отпуска», «Человеку не спится», «Сердце настезь», «Одержимость», «Уходящему далеко» (ср. «Убегающая даль») и т. д.

Все это конечно же не могло получиться случайно, независимо от изменения самого смысла и направления поэтического творчества. Общие контуры совершившегося сдвига можно представить себе уже на самом материале названий. Ну, скажем, как переход от взгляда в неопределенную «убегающую» даль к взгляду окрест себя, от усложненности к простоте и естественности.

И, как мне кажется, в этом изменении названий выразились сдвиги в самой поэзии.

\* \* \*

Широкое обсуждение новых тенденций в поэзии едва ли не впервые состоялось в «Дне поэзии — 1969». Это обсуждение, в котором и мне довелось участвовать, двигалось главным образом в русле проблемы классических традиций.

Проблема эта действительно очень важна, но, как мне теперь кажется, она была поставлена тогда (да и продолжает ставиться) слишком поверхностно и на ощупь. Речь идет чаще всего о возрождении тех или иных способов построения образа или об еще более внешнем — о классических формах в узком смысле слова. Некоторые авторы, считающие себя продолжателями классической традиции, ведут себя подчас даже несколько странно — скажем, сочиняют сонеты или октавы, образцы которых, созданные на подлинно высоком поэтическом уровне, можно в русской поэзии пересчитать на пальцах.

Словом, я не склонен полагать, что перелом в поэзии, о котором сейчас идет речь, означает «возрождение традиций» в обычном, популярном смысле этого понятия.

Вот, скажем, два поэта, о высокой значительности произведений которых можно, вероятно, спорить, но едва ли возможно оспаривать особенную характерность их работы для рубежа 1960—1970 годов, — Владимир Соколов и ушедший от нас в прошлом году Николай Рубцов.

Едва ли возможно доказать, что стиль и формы поэзии XIX века, как таковые, сыграли решающую роль в их становлении. Для Соколова — о чем уже говорилось в печати — первостепенное значение имели, например, стилевые искания Пастернака (хотя по своей внутренней сути эти поэты очень далеки). Даже своего любимого Фета Соколов воспринял во многом в ключе Пастернака. Еще более важную роль сыграл для Соколова поэтический опыт Иннокентия Анненского.

Что же касается творчества Рубцова, то его, конечно, невозможно представить себе без властного есенинского воздействия, и его отношение к Пушкину, Лермонтову, Некрасову всецело опосредовано этим главным его истоком.

Короче говоря, о *прямом* «продолжении» классики ни в том, ни в другом случае говорить не приходится.

И все же понятие традиции необходимо при разговоре о сегодняшнем состоянии поэзии.

Русская литература, начиная с Пушкина и Гоголя, явилась величайшей и ведущей литературой мира; мы об этом не то что не помним, а как-то не думаем, — об этом гораздо больше думают за рубежом. И одним из решающих моментов было здесь особенное отношение к самому *делу* писателя и поэта.

Поэт — это, конечно, профессия; это, если угодно, ремесло. И вовсе не только потому, что поэт должен выработать и постоянно развивать в себе безупречное владение словом и стихом. Мы не видим ничего зазорного в том, что актер должен уметь, скажем, выжать из своих глаз слезы в скорбной сцене спектакля. Но ведь, строго говоря, и поэт должен именно *уметь*, если это нужно, вложить в свое творенье рыдание: поэту необходим *артистизм* в прямом значении этого слова. Более того, даже самый замысел своего произведения поэт не просто выхватывает откуда-то на лету: он его также вырабатывает, добывает, шлифует; и с этой точки зрения он не менее «профессионален», чем философ или ученый. Без самой серьезной и постоянной мыслительной работы не могли бы сложиться ни Тютчев, ни Блок, ни Заболоцкий.

И все же классическая русская поэзия в ее вершинных проявлениях всегда относилась к профессионализму если не отрица-

тельно, то весьма подозрительно. Дело поэта понималось не как реализация «умения» в самых разнообразных его формах, но как воплощение самой жизни поэта. Ни искусность формы, ни артистизм, ни даже яркость мысли не могли перевесить этой высшей ценности. Профессиональное совершенство выступало лишь как побочное, не имеющее самостоятельной цены качество, как мерило, уместное только по отношению к стиховой беллетристике, «прикладному» стихотворству.

Иные тенденции отчетливо выявились лишь в XX веке. Это было связано со многими обстоятельствами: резким увеличением печатной, а значит, и литературной продукции, начавшимся и быстро возраставшим культом техники и научности вообще, глубокой социальной и нравственной ломкой, которая нередко вела к утрате цельности и ощущения первородства и т. п.

Александр Блок в своих замечательных статьях «О назначении поэта» и «Без божества, без вдохновенья» — статьях, представляющих собою его поэтическое завещание, — сильно и страстно выступил против тенденций самодовлеющего профессионализма, объявив их совершенно чуждыми самому существу русской поэзии.

Но тенденции эти продолжали развиваться. И дело вовсе не только в таких основанных на идее профессионализма явлениях, как, скажем, Леф и конструктивизм. Тенденции, о которых идет речь, выступали в самых различных формах. В частности, они своеобразно, но очень интенсивно выступили в нашей поэзии, начиная с середины 1950-х годов.

В «Дне поэзии» 1956 года Николай Асеев писал об «упадке средств выразительности», который «влечет за собой многословие, длинноты, преувеличенность размера». Он решительно выступил против того, что «в погоне за простотой мы пришли к упрощению, к примитивному пониманию задачи поэтической речи, как к чему-то обиходному, не требующему неустанного внимания и поисков ее обновления».

Статья поэта, защищавшего позиции высокого профессионализма, произвела большое впечатление, сыграла — несмотря на все споры вокруг нее — первостепенную роль. Решительная борьба за профессионализм — начиная от оригинальности рифмы и кончая уровнем и направлением мыс-

ли — была тогда, очевидно, вполне закономерна, даже исторически необходима.

И в то же время в этой борьбе за профессионализм таилась большая опасность, — точнее, ряд опасностей. Самодовлеющий профессионализм неизбежно превращает стихи в нечто *прикладное*, в решение каких-то частных задач — вплоть до задачи завоевания успеха, популярности, славы. «Профессионалу», во-вторых, безразлично, по сути дела, о чем говорить и что говорить, — было бы только «хорошо» сказано. «Профессионал» в конечном счете теряет высшую *ответственность* за свое слово — важно лишь, чтобы оно было «на уровне». И т. д. и т. п.

Здесь необходима — дабы не быть ложно понятым — одна важная оговорка. Ведь кто его знает — могут найтись читатели, которые упрекнул меня в том, что я выступаю за поэзию, лишенную профессионализма...

Между тем обсуждать тут, собственно говоря, нечего. Я считаю (и, надеюсь, мой взгляд бесспорен), что стихи, лишенные профессионализма, вообще не следует печатать, за исключением самодеятельных сборников или в совсем особых случаях — скажем, если дело идет о стихах какого-либо человека, вовсе не являющегося поэтом, но замечательного в другом отношении.

С этим вопросом связан и другой. Не так давно Евг. Евтушенко на страницах «Литературной газеты» упрекнул меня (и еще трех литераторов) за то, что я критикую талантливых поэтов и в то же время молчу о бездарных. Опять-таки ответить на этот упрек нетрудно. Я убежден, что нет смысла обсуждать бездарные стихи на уровне строгого критического анализа; они заслуживают прежде всего фельетона, памфлета, просто насмешки. Говорить о них всерьез — это неизбежно значит допустить *возможность литературного спора* вокруг них, то есть, иначе говоря, *вести их в литературу*. Я в самом деле почти не писал о бездарных стихах, но только лишь потому, что почти не писал литературных фельетонов.

Эта сторона дела, по-видимому, ясна. Но есть гораздо более сложный аспект проблемы<sup>1</sup> — что такое вообще талант? Любой словарь ответит, что это есть *способность* к чему-либо. Стихи, отмеченные талантом, — это стихи, в которых проявились способности к поэтическому творчеству.

Между тем у нас сплошь и рядом считается, что раз в стихах выразился талант, они обладают безусловной поэтической ценностью.

Выставлять на первый план вопрос о талантливости важно и необходимо по отношению к начинающим авторам. Если же речь идет о *признанном* писателе, то талантливость должна подразумеваться сама собой (ее отсутствие — это уже тяжелый случай литературного брака), и во главе угла должен стоять вопрос о ценности готовых произведений, а не о способностях их автора.

Итак, во-первых, всерьез обсуждать стоит только талант, а, во-вторых, талант есть только *способность*.

Владимир Бенедиктов был, без сомнения, весьма талантлив (и именно потому вызвал поначалу восхищение у таких людей, как Тютчев, Тургенев, Фет, Григорьев, Полонский). Удивительно талантлив (что признавали очень многие авторитеты) был Игорь Северянин. Но таланты, то есть способности этих поэтов, по тем или иным (явно очень разным) причинам осуществились не до конца или даже в малой степени.

В этом самом выпуске «Дня поэзии» опубликовано письмо Александра Твардовского — письмо, из которого ясно видно, что поэт уже в 1958 году осознал опасное распространение самодовлеющего профессионализма и абсолютизации таланта. Он говорил о том, что поэзия немыслима без «некоей *генеральной думы*, одержимости каким-то чувством, задачей, поиском». Если же этого нет — то от роста профессионализма дело только становится «хуже», и стихи даже самого, по мнению Твардовского, талантливого поэта поколения вызывают в лучшем случае «умиление», но не могут подействовать так, чтобы у читателя «*дух захватило*».

Я глубоко убежден в том, что поэт, значительно превосходящий другого поэта по своему таланту, может оказаться значительно ниже другого с точки зрения созданных им поэтических ценностей.

С моим мнением, вероятно, будут спорить, но все же скажу, что именно таково, на мой взгляд, соотношение Асеева и Заболоцкого.

\* \* \*

После этих, возможно, не очень строгих, теоретических рассуждений вернемся к нашему предмету — поэзии 1971 года.

Перелом, который вполне отчетливо выразился в ней — в частности, в самих названиях книг, — состоит, как мне представляется, в охвативших многих пишущих поисках того, что залегает в поэзии *глубже и профессионализма, и даже таланта*. Именно это ищут нынешние поэты и в классике. «Средний уровень» профессиональности и даже, если угодно, талантливости у поэтов XX века «выше», чем у поэтов XIX века. Но нечто более глубокое как бы заглушено в них.

Еще сравнительно недавно многих (и автора этих строк, в частности) особенно интересовало в классике то, что как бы «предвосхищало» поэзию XX века. Сейчас же сплошь и рядом слышишь, как литератор, наизусть знающий всех, от Анненского до Олейникова, самозабвенно твердит нечто самое предельно простое — ну, скажем, фетовское:

Чудная картина,  
Как ты мне родна:  
Белая равнина,  
Полная луна... —

словно находя в этих строках ни с чем не сравнимые достоинства.

Восхищение поэзией Николая Рубцова — во всяком случае, в литературных кругах — было вызвано едва ли не более всего такими его строками:

В горнице моей светло,  
Это от ночной звезды.  
Матушка возьмет ведро,  
Молча принесет воды...

Дело, конечно, вовсе не в том, что эти стихи — «лучшие». Если бы целые книги состояли из такого рода стихов — было бы весьма печально... В этих стихах просто выразилась некая «точка отсчета» — та самая, которая выразилась и в сотнях названий книг 1971 года.

Напомню: «Полустанок», «Цвет зари в окне», «Равнина», «Проплывают облака», «Люблю тебя, Анна», «А всего и помнится...» и т. д.

Мы говорили о простоте, прозрачности, естественности этих названий, о том, что они не хотят приукрасить себя ни яркостью красок, ни даже яркостью чувств и мыслей.

И эти названия, конечно, выражают основную тон самих книг — хотя в книгах и могут встретиться разные ноты.

Л. Лавлинский в недавней статье («Юность», 1971, № 10) писал, что ныне «тихая» лирика решительно вытесняет «громкую». В конкретных суждениях критика немало справедливого, но сами эти определения едва ли удачны.

Во-первых, поэзия призвана быть громкой или даже кричать только тогда, когда это действительно необходимо, когда это диктуется, так сказать, самим состоянием мира. Так вовсе «негромкий» Блок кричал в 1918-м в «Скифах» или совсем уже «тихая» Ахматова достаточно громко высказалась в 1942-м в «Мужестве». Но быть громким ради громкости опасно; можно получить записку, которую получил на своем вечере один поэт: «Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути: или молчать, или кричать. Почему вы выбрали второй путь?»

Во-вторых, дело не в «тишине»; это лишь следствие, лишь побочное свойство. Суть состоит скорее как раз в принципиальной простоте, в прозрачности, которая должна помочь снять все внешнее, все необязательное и обрести то, без чего уже вообще нельзя ни творить, ни жить. Недаром книга, привлекая в 1971 году едва ли не наибольшее внимание критики, называется «Прозрачные дни» (А. Жигулин).

Поэзия как бы стремится, отбросив все то, что может на поверку оказаться шелухой, начать с чего-то «первичного». Конечно, у каждого поэта это первичное является в совсем особенной форме и облике, но все же во многих и многих книгах находишь стихи, как бы воплотившие это исходное, начальное — какое-то свое «белая равнина, полная луна».

Иначе говоря, поэты согласно стремятся открыть, обнаружить для себя то, ради чего в конечном счете создается поэзия, ради чего приводятся в движение и талант, и профессионализм.

Было бы нелепо думать, что тем самым уже обеспечивается ценность произведений. Во-первых, действительно открыть эту глубинную правду поэзии могут лишь немногие. Во-вторых, сама по себе она как бы не имеет собственно художественной ценности — ведь эта правда так или иначе живет в душе каждого человека, достойного своего имени.

Я вообще в данном случае не даю оценки сегодняшней поэзии; не для того я пере-

числил названия книг, чтобы показать, какие они, эти названия, «хорошие», а для того, чтобы выявить определенную тенденцию сегодняшней поэзии. Эта тенденция, на мой взгляд, плодотворна; но она, разумеется, ни в коей мере не гарантирует качества стихов!

Более того, я уверен, что описываемое мною творческое стремление уже стало модой и в тех или иных случаях выступает только как стремление «не отстать» от других.

Насколько властно распространилась эта тенденция, могут свидетельствовать, например, такие строки:

В тоску заметней седина.  
Так в ясный день в лесу по-летнему  
Листва зеленая видна,  
А в хмурый — медная заметнее.

Вы думаете, это А. Жигулин? Нет, это сегодняшние стихи сверхсложного А. Вознесенского.

Итак, повторяю, поэты стремятся найти некую свою начальную, исходную «точку». Да, именно точку, так как на первичности и нельзя оставаться сколько-нибудь долго. Это только самый момент перехода.

А что, собственно, должно быть за ним, за этим переходом? Да все то, чем всегда жила поэзия, — и мысль, и страсть, и сложные искания. И для всего этого необходимы и высокий профессионализм, и, конечно, настоящий талант. Только ни то, ни другое не может быть самоцелью.

Точка предельной простоты, как мне представляется, уже пройдена поэзией в целом. «Усложнение» уже началось. Об этом свидетельствуют, скажем, последние стихи В. Казанцева, А. Передреева, О. Чухонцева, И. Шкляревского и многих других. Но я верю, что это «усложнение» даст другие плоды, чем ранее, что поэзия не будет забывать о главном, об исходном.

Профессионализм способен только выразить мысль — то есть он сам по себе в конечном счете создает «иллюстративные» стихи. Мне хочется привести из современной поэзии пример того, как мысль, или, пожалуй, вернее будет сказать *смысл*, не просто выразилась, а родилась, была *выжита* поэтом — причем наглядно для читателя.

В стихах, которые я имею в виду, речь идет о гостях из Грузии, которые поют свои прекрасные древние песни в осеннем селе под Рязанью:

Вечерело. Накрапывал дождь  
на разбитую сельскую церковь,  
на Оку, на есенинский дом...  
И, совсем в непогоду померкнув,  
любопытные бабы в платках,  
зябко пряча тяжелые руки,  
с удивленьем в усталых глазах  
молча слушали чудные звуки...  
...Я впадал окончательно в грусть,  
на душе становилось постыло,  
потому что великая Русь  
столько песен своих позабыла!  
Издали, от низины пустой,  
рассеченной осенней Окою,  
тянет холодом и широтой  
и последним движеньем к покою.  
Над равниной летят журавли,  
улетают в горячие дали...  
Вам спасибо, что вы сберегли  
эти песни. А мы — растеряли.  
Но зато, в окруженье полей,  
на своей бесконечной равнине,  
мы узнали всю цену потерь  
и смиренье, что паче гордыни.

Эти стихи, принадлежащие Станиславу Куняеву, были впервые опубликованы в 1970 году, а затем перепечатаны в сборнике 1971 года. Но последние строки здесь звучат иначе — пожалуй, даже совсем иначе:

Вам спасибо, что вы сберегли.  
Нам спасибо, что мы растеряли,  
но зато на просторах полей,  
на своей бесконечной равнине  
полюбили свободу потерь  
и смиренье, что паче гордыни.

Эта правка, так сказать, «непрофессиональна»; она — не опыт улучшения стихов, а плод «доживания» их смысла, — точнее выразиться трудно. Конечно, что-то было уже намечено в первом варианте, но все равно стихи во многом оставались «иллюстрацией» столь популярного теперь горького сожаления о том, что мы не всегда бережем ценности прошлого. В последнем варианте эта горечь никуда не исчезла, но поэт нашел в себе силу и смелость поверить в ту — очень непростую и очень нелегкую — правду, во имя которой его народ порою терял свои древние песни, и как бы взять на себя ответственность за это...

\* \* \*

В поэзии рубежа 1950—1960-х годов дело нередко обстояло так, как будто бы все проблемы в конечном счете ясны и задача состоит лишь в стихотворном утверждении готовых решений, а там уже

кто-то их будет проводить в жизнь. Задача поэта, таким образом, сводилась к тому, чтобы талантливо и профессионально выразить готовое верное понимание дела.

Виктор Кочетков в недавней статье о поэзии («Москва», 1972, № 1) справедливо отмечает, что нынешние молодые поэты «ищут одного понимания. Сперва надо понять, разобраться во всей сложности фактов. И только после этого выносить приговор». Трудностью этой задачи критик объясняет тот факт, что «молодой поэзии подчас недостает социальности».

Мне уже довелось писать об этом же (см. «Вопросы литературы», 1970, № 7). Но дело здесь не только в трудностях «понимания». Дело в резко обострившемся чувстве ответственности за свое слово. Еще недавно иные поэты, независимо от их направления, с чрезвычайной легкостью писали о чем угодно — о любой социальной проблеме, любом историческом этапе в жизни своей страны и, более того, любой страны мира.

А ведь поэзия — это не просто слово о чем-то; каждое поэтическое творение должно претендовать (пусть эта претензия даже в 99 случаях из 100 останется только претензией) на безусловность и «абсолютность». Настоящий поэт должен, по-моему, испытывать чувство горечи и стыда, если, перечитывая свои прежние стихи — даже очень многолетней давности, — он уже не верит в то, что сам когда-то сказал. Конечно, у каждого поэта есть «юношеские» стихи, где неизбежна незрелость; но вспомним, что в собраниях сочинений их публикуют в специальных томах или разделах.

Я полагаю, что недостаточное развитие непосредственно социальной поэзии обусловлено именно тем, что иным поэтам не всегда в должной мере присуще это острое чувство ответственности. После того «перехода», о котором шла речь выше, социальность неизбежно должна зазвучать в поэзии по-новому, более серьезно. Характерно, что в самое последнее время появился ряд значительных стихотворений, по-новому осваивающих историческую и историко-литературную тему, которая, конечно, немыслима вне социальности. Среди них стихи Д. Самойлова о Пушкине и Пестеле, о Блоке, В. Соколова о Фете и т. д.

Социальная тема, естественно, тяготеет к крупным формам. В этом смысле я многого

жду от двух поэм, отрывки из которых появились в печати в 1971 году, — «Не вся земля в городах» Егора Исаева и «Былина о неизвестном солдате» Федора Сухова.

В заключение мне хочется сказать о двух родах книг, вышедших в 1971 году, — о значительных итоговых книгах опытных мастеров и об обещающих первых книгах.

В прошлом году вышла книга Александра Межирова «Поздние стихи» — его «отчет» за полтора десятилетия — и две книги Николая Тряпкина, в которых собраны стихи, созданные за тридцать лет работы. Эти книги, по-моему, должен прочитать каждый ценитель поэзии. Поэтическое поколение, к которому принадлежат Межиров и Тряпкин, вошло в пору полной зрелости. И радостно видеть, что, проходя свой исключительно трудный путь, оно сумело создать настоящие поэтические ценности.

А теперь о книгах-дебютах. Далеко не все из поэтов, издавших в 1971 году свои первые сборники, принадлежат к юному возрасту, не так уж молоды Эдуард Балашов и Владимир Леонович — им за тридцать. Но зато в них есть несомненные черты зрелости; эти поэты явно не собираются ходить в «молодых». В обеих книгах отчетливо выразились вполне своеобразные характеры. Не каждый читатель примет эти характеры, но само их наличие в книгах оспорить трудно.

Назову еще двух молодых поэтов, книги которых пока не вышли, но первые публикации позволяют надеяться, что это время не за горами. Это Александр Величанский («Юность», № 1) и Вячеслав Левыкин («Смена», № 20).

Особо скажу о первой книге одной поэтессы. Нередко деление на книги мужчин и женщин вызывает протест как своего рода нарушение «равноправия полов». Но это едва ли верно. Если бы речь зашла о таком разделении среди инженеров или агрономов — другое дело. Но в поэзии человек воплощается во всем своем цельном существе, поэтому стихи женщины — это все-таки именно женские стихи.

Вышла первая книга Людмилы Мухиной — женщины, за плечами которой уже большой жизненный опыт. Книга очень своеобразна. Во всем — вплоть до самого стихового строя — чувствуется твердость, уверенность, сильная рука. Но это сильная рука женщины, рука, которая создана для

того, чтобы поддержать и помочь. Мне кажется, что эта книга оставит след в душе каждого читателя.

\* \* \*

Этим бы можно и закончить, но в моей статье, я знаю, осталась одна туманность, остался некий икс. Как я утверждал, поэзия стремится сейчас освоить то, что лежит глубже профессионализма и даже глубже таланта, то, что явственнее выступало в классике. А что же это такое?

Но можно ли дать ясный ответ на этот вопрос? Вот, например, Блок в упомянутой уже речи «О назначении поэта» много говорит именно об этом, наиболее глубоко. Но не очень-то ясно... Он говорит о «вскры-

тии духовной глубины», таком же трудном, «как акт рождения». Он говорит о приобщении «к безначальной стихии, катящей звуковые волны». А ведь Блок умел выражаться просто.

При решении сложного вопроса наиболее уместны, по-моему, два совершенно разных пути: либо надо написать трактат, либо ответить предельно лаконично.

Поэт есть талант, но поэт в то же время человек. И ценность того, что он делает, ценность, которая, конечно, недостижима без таланта и профессионализма, имеет и еще более глубокое и необходимое основание в его человеческой сущности. Каков человек — таков и поэт. В высших ее проявлениях поэзию создает человек, воплощающий сущность целого народа.

## ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ

*Евгений Осетров*

### ЗОЛОТОЕ СЛОВО

Радостно, когда в поэзии начинает отчетливо звучать молодой, чистый и сильный голос. Но не меньшее чувство удовлетворения я испытываю, когда зрелый и опытный мастер превосходит лучшие достижения минувших лет и вплетает в пестрый веночек поэтической славы новый неувядаемый цветок.

С наслаждением, с редким удовольствием прочитал я не так давно, в подборке новых стихов Михаила Васильевича Исаковского, лирическую миниатюру — «В дни осени», написанную поэтом в канун своего семидесятилетия. Прошедшее время не изменило высокую оценку, которую я дал стихотворению в печати вскоре после его публикации. Более того, читая теперь и перечитывая «В дни осени», я все время укрепляюсь в мысли, что передо мной — неповторимая поэтическая жемчужина. Ее красотой, прозрачностью, глубиной, отделкой, таинственным светом будут наслаждаться — я в этом убежден! — новые и новые поколения читателей. Из-под пера старейшего русского поэта, основателя могущественной «смоленской школы», воспитателя Александра Твардовского и Николая Рыленкова, автора всенародно известной песенной лирики, вышел шедевр, которым может заслуженно гордиться вся современная литература.

Примечательно, что новое стихотворение Михаила Исаковского наглядно подтверждает его удивительную в своем роде единственную верность однажды и навсегда избранной манере письма. Эту манеру отличной почувствовал еще в 1927 году Максим Горький, который написал по поводу первой книги Михаила Исаковского «Провода в соломе»: «Стихи у него простые, хорошие, очень волнуют своей искренностью...»

Большой читатель, имя которому — Народ, узнал и полюбил лирику Исаковского, видя в ней выражение своего характера, своих чувств и своего отношения к действительности. Не случайно любимой песней Великой Отечественной войны, прошагавшей с солдатами от Волги до Берлина, была «Катюша».

Поэт своим лучшим стихотворением считает «Враги сожгли родную хату...». Написанное в духе народных баллад, стихотворение потрясает и теперь, спустя много лет после войны.

Все мы любим и ценим «Враги сожгли родную хату...», оно хранится в заповедном сердце нации. Но теперь, с появлением лирического шедевра «В дни осени», невольно задумываешься, какому стихотворению отдать преимущество. Впрочем, я думаю, что оба стихотворения могут естественно соседствовать, дополняя и обогащая одно другое.

Стихотворение «В дни осени» дает живо почувствовать, что красота родного языка не увядает. Поэт проявил удивительное чувство соразмерности и точности в обращении с народной лексикой. За безупречными в «техническом» отношении строками («Осенние, последние, останние деньки»), звонкими по краскам («Еще и солнце радуется, и синий воздух чист»), элегическими по настроению, мы угадываем характер — глубокий, мужественный, добрый, человечный. В элегии «В дни осени» поэт прощается в преддверии зимы с любимой им природой: «И рощи запустелые мне глухо шепчут вслед, что скоро мухи белые закроют белый свет...» Поэтическое слово по своей сути многозначно. Поверхностному взгляду оно может показаться даже простоватым. На самом же деле элегия допускает несколько прочтений. В ней есть не только подтекст,



но и «надтекст», есть общая лирическая атмосфера, окружающая стихотворение. Грусть поэта глубока и светла: «Я лишь хожу, прощаюсь со всем, что так люблю!» Нужно обладать мужеством художника и человека, чтобы произнести с достоинством и редким душевным тактом заключительные слова: «Хожу, как в годы ранние,— хожу, брожу, смотрю. Но только «До свидания!» уже не говорю».

На мой взгляд, «В дни осени», как говорили в старину,— золотое слово, со следами смешанное. Многого стоит определение «останние», взятое из устной крестьянской речи. Поэт мог бы написать вместо «останние» — «прощальные». Но Исаковский сознательно не воспользовался словом, которое лежит рядом. Редкое, выразительное определение придало элегии особый колорит.

Не могу не привести размышлений из письма Исаковского ко мне: «Я мог бы взять слово *прощальные*. Но это было не то, что нужно. Новобранцы (когда их отпускали домой после того, как «забрили») гуляли по деревням дней 10 или 15. И всё это были и последние дни, прощальные тоже. А слово

*останние* имеет особый оттенок смысла. По-украински слово это, по-видимому, значит последние, самые последние. Сердобольные бабы, глядя на новобранцев, бывало, говорили: «Останние денечки гуляют ребята» (то есть самые последние денечки, каких осталось уже совсем мало). Слово *останние* довольно широко было распространено на Смоленщине, и смысл его был именно такой.

Тут у меня получилась и своего рода аллитерация (впрочем, я ее заметил, когда стихи были уже написаны):

Осенние, последние,  
Останние деньки».

Какие интересные и поучительные размышления!

Все стихотворение «В дни осени» светится изнутри, полно красоты и музыки. Появление этой лирической миниатюры, как я уже сказал, стало событием не только в литературной биографии Михаила Исаковского, но и заметным явлением современной русской поэзии.

## Геннадий Красухин

### ПРЕКРАСНОЕ ВОЛНЕНИЕ

Это стихотворение, помещенное в книге Ярослава Смелякова «День России», начинается так:

Мальчики, пришедшие в апреле  
в шумный мир журналов и газет,  
здорово мы все же постарели  
за каких-то три десятка лет.

С трудом дается Смелякову это невеселое признание. С трудом — потому что совсем ведь не в том здесь дело, что с того времени, когда поэт и его сверстники только начинали приобщаться к «шумному миру журналов и газет», прошло уже «три десятка лет», прожитых, судя по другим стихам Смелякова, трудно и радостно. Нет, он сейчас и сам говорит об этих годах небрежно, как о «каких-то», словно подчеркивая этой небрежностью, как жив в его памяти тот начальный апрель, какой конкретной реальностью до сих пор наполнено для него то время.

Но именно потому, что то далекое время встало перед Смеляковым с такой — почти осязаемой — реальностью, он вдруг особенно отчетливо осознал его невозвратимость и неповторимость:

Где оно, прекрасное волнение,  
острое, как потаенный нож,  
в день, когда свое стихотворение  
ты теперь в редакцию несешь?  
Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,  
важно въехав в загородный дом,  
стали вроде бы учителями  
и советы мальчикам даем.

«Где оно?» — потому и невесел поэт. И не просто даже невесел. Оживший в памяти «апрель» побуждает сейчас Смелякова испытывать чувство неудовлетворенности: «Ах, куда там!», недовольства собой, доходящего до угрюмой самоиронии: «важно въехав».

И тем более мучает Смелякова это чувство, что как «прекрасное волнение» вспо-

мнились ему теперь его юношеские ощущения начинающего поэта. Ничего еще не было ясно, все было неопределенным, когда нес Смеляков-подросток в редакцию «свое стихотворенье». Но как тогда волновался поэт! Как сладостно было ему мечтать о признании, надеяться на него. Как замирало сердце от этой тайной надежды. Тайной — ведь в ней не принято признаваться вслух...

Конечно, его сердце замирало тогда не только в сладостном предвкушении. Сама тогдашняя неопределенность заставляла мучиться, жить в постоянной тревоге: сбудутся ли надежды? И потому само волнение в ту пору, быть может, вовсе не казалось Смелякову прекрасным.

Но сейчас он не только называет его «прекрасным». Он даже сравнивает остроту тех ощущений с остротой «потаенного ножа», вещи, тоже припрятанной, но такой желанной для мальчика!

Все это свидетельствует об огромной потребности духовности, которую ныне испытывает Смеляков. Его потребность сейчас и в самом деле велика. Мало того, что он сознает теперь «прекрасным» то юно-

шеское свое волнение, он не может и не хочет мириться с мыслью о его невозвратимости. Потому так характерно оговаривается Смеляков, когда пишет о себе и своих сверстниках, что они стали — нет, не просто «учителями», но «вроде бы учителями». «Вроде бы» — Смеляков словно не хочет до конца поверить, что стал учителем, метром, не хочет смириться с этим.

От меня дорожкой зеленой,  
источая ненависть и свет,  
каждый день уходит вознесенный  
или уничтоженный поэт.  
Он ушел, а мне не стало лучше.  
На столе раскрытая тетрадь.  
Кто придет и кто меня научит,  
как мне жить и как стихи писать?

Ах, как завидует Смеляков этим мальчикам, сохраняющим пока что доверчивую способность проваливаться от одного его слова в бездну или возноситься в небеса. Как тоскует он по «прекрасному волнению». Как постоянно ощущает, что такое волнение — «прекрасно». И как помогает ему это постоянное ощущение устоять перед собственной мучительной неудовлетворенностью, остаться поэтом.

## Иосиф Гринберг

### МЫСЛЬ БОДРСТВУЮЩАЯ И ПЫТЛИВАЯ

Если строго придерживаться тех определений, которые В. Г. Белинский давал лирическим жанрам, стихотворение Леонида Мартынова «Баллада о керосиновых лампах» следовало бы именовать не балладой, а *одой*. В самом деле — в классической балладе обязательно изображается событие, действие, по преимуществу сугубо драматическое, в оде же первенствует дума, творится исследование жизненных явлений, привлечших внимание поэта. Именно это открытое осознание сложных связей реальности, напряженное движение мысли и совершается в стихотворении Мартынова.

Однако развитие поэзии постоянно вносит все новые поправки и изменения в наши представления о родах и видах стихового творчества. И давно уж в современной лирике балладная сюжетность, аналитичность

оды, проникновенность элегии сблизились между собою, стали составными частями новых стиховых образований, не так-то легко поддающихся прежде принятой классификации.

Вот и в творчестве Мартынова эти три ипостаси лирического переживания тесно сдвинуты, слиты; они помогают, поддерживают одна другую. Стоит упомянуть о том, что поэт нынче так складывает многие свои стихи. Только одни из них схватывают лишь одну грань предмета, один момент, один факт, обрисованный как бы неотрывным, быстрым движением пера. В других же происходит совмещение мотивов разнородных, сопоставляются поступки, стремления, предметы, подчас далеко отстоящие. Именно так написана и «Баллада о керосиновых лампах».

Неожиданный, не правда ли, «объект» привлёк внимание поэта! Но ведь давно уже известно, что самый скромный, незначительный предмет может стать опорной точкой, трамплином для смелого полёта воображения. Тут, однако, может удивить появление столь архаической бытовой утвари, как керосиновая лампа, в стихах поэта, постоянно устремленного в будущее, настойчиво ищущего его приметы в текущих днях.

Но Леонид Мартынов отлично понимает — и о том свидетельствуют многие стихи его, — что завтрашний день рождается в трудах, в борении, что ему приходится преодолевать отжившие, обещавшие навыки и что вещи, казалось бы уже потерявшие всякую ценность, вдруг внезапно оказываются цепко живучими.

Именно таким подновленным, искусственно воскрешенным архаизмом и оказываются в стихотворении Мартынова... керосиновые лампы.

Нет, речь идет отнюдь не о проблемах освещения жилищ и улиц и тем паче не о каких-то серьезных переменах в этой области. Керосиновые лампы здесь предстают очередным зигзагом моды, ее причудливым капризом. Их, «не боясь испачкать нежных пальчиков», держат в руках девы, глядящие «со страниц журнальчиков». Глядят они «на своих женоподобных мальчиков». Нелепые порождения бесцельного, ленивого и пустого «изобретательства» собраны, поставлены рядом в язвительных строках.

Но поэт взялся за перо вовсе не для того, чтобы посмеяться над вздорным модничеством. Конечно, жалки те, кто предполагает, «будто нет ничего священнее ощущения от освещения керосиновыми лампами». На этих «изящных» мещан обрушивается целый каскад шипящих, колющихся «щ» (мы помним, как ценил эту букву Маяковский!). Но тотчас же поэт освещает и те совсем не столь невинные увлечения, которые угадываются и просматриваются:

Неужели это — возвращение  
В гиблый мир булыжного мощения,  
В позабытый мир шлейфовлачения,  
Хиромантии, столоверчения,  
В мир с его вампирами и вампами?

Вот что удастся разглядеть поэту за пустячными претензиями, за суетливой

«светскостью»! Вместо уважения к старине подсовывается старомодная безвкусица. И в основе всех этих вздорных поползновений — принаряженное, подгримированное мещанство... То, над чем смеялись без малого столет тому назад Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов, теперь вытаскивается на свет божий в качестве последнего достижения культуры и цивилизации.

Мартынов, должно быть, и остановил свой взгляд на этом ничтожном «сюжете» оттого, что ему отвратителен лицемерный маскарад: ветхозаветное надевает на себя личину нового, современного. И поэт ставит в один ряд «спутников» керосиновой лампы: «шлейфовлачение», «хиромантия», «столоверчение» — как пошлы и пусты по сути, как громоздки, тяжеловесны на слух эти слова!

Но Мартынов не намерен ставить здесь точку. Он далек от односторонности и в своем понимании прошлого, и в выражении собственных чувств. Сарказм сменяется уважением, осуждение — любовью, когда он вспоминает о том, какие великие и добрые дела творились десятилетия тому назад в слабых, неярких лучах скромных светильников.

Лампа, лампа!  
Свет дает и тень она,  
И не все на мелочи разменено.  
Озарялись рукописи Ленина  
Керосиновой лампою.  
И пылала голова Есенина  
Керосиновой лампою.

Да, если на предшествующих строках лежала «тень» печали, досады, негодования, то в этих просвечивает заря исторических свершений, пылает огонь творчества. По-иному зазвучал стих — горячо, доверчиво, восторженно.

И вместе с тем по-прежнему сосредоточенно и серьезно. По-прежнему отчетливо видно последовательное движение поэтической мысли. Она добывает истину, утверждает и обосновывает ее. И вступает в бой с теми липкими, мерзкими «мелочами», которые могут таить в себе совсем не малую ложь.

Именно воодушевленная воля художника и есть герой стихотворения — пытливый, неустанный. О его деяниях и рассказывает «Баллада...» Леонида Мартынова.

## В КОЛЬЦЕ РАЗЛУК И ВСТРЕЧ

О чем написано стихотворение Сергея Наровчатова «Зеленые дворы»? Совсем не просто ответить на такой вопрос. Истинно художественное произведение никогда не однозначно. И чем больше в нем поэзии, тем труднее его пересказать.

В стихотворении лирико-философские размышления героя перемежаются с эпическим мотивом. Герой ходит по улицам, по зеленым дворам, думает о жизни человека, об ушедшей молодости, о войнах, несущих с собой расставания, переносится в прошлое Москвы, перед ним предстают сцены из разных веков... Он видит и будущее — в образе дерзко отстранившего его юнца.

Чтобы ввести мотив исторических войн, поэт избрал своеобразный прием, он обратился к Третьяковской галерее, которая угадывается в старинном тереме, скрывшемся в листве.

Но не к развешанным в музее картинам обращается Наровчатов, изображая сцены прощанья воинов с возлюбленными, а к своему воображению, воспоминаниям, думам о своей судьбе, о встречах и разлуках с любимыми... Пережитое своеобразно преломляется, воплощается в образах из современности и далекого прошлого.

«Зеленые дворы» пронизывает мысль о том, что человек живет встречами, не думая о подстерегающих его утратах.

На улицах Москвы разлук не видят встречи,  
Разлук не узнают бульвары и мосты.  
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,  
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.

Этой строфой открывается стихотворение и ею же завершается. Она как бы обрамляет стихи, подчеркивая их сокровенную суть. Почему в стихотворении много глаголов? Здесь все в движении. Герой шагает по дворам, перед его взором одна картина сменяет другую, движутся его мысли и чувства... Эпитетов сравнительно мало, сказуемое вытесняет прилагательные. Но вдруг поражает емкий эпитет; необычное сочетание слов: «закрыв лицо тяжелыми руками». Оно придает новый смысл обороту речи, и горечь героя ощущается острее. Останав-

ливает внимание и неожиданное наречие: «шурша бежала тень по тротуару». Выразительный перенос (шуршит не тень, а листья под ногами героя) помогает увидеть картину, услышать шорох листвы на асфальте.

Плавно течет стих в «Зеленых дворах», словно в такт мерно ступающему в задумчивости герою. Интонация ровная, повествовательная, без прерывистости. Только в сценах прощания с воинами вступает жалобная: «Тяжко на Москве». И вдруг врезается восклицательная, патетическая:

Бесчинная, ты грохотала градом,  
Брала в полон сердца и города...  
Как далека ты!..

В этой строфе об ушедшей молодости — крик души героя, его неизбывная боль. Быть может, с нее и началось рождение стиха. Поэт услышал «в бездне шепотов и звонов» стон своей души. Больше всего он скорбит о том, что вместе с молодостью утрачена способность ощутить романтику в любовной встрече, окутать ее тайной, превратить в сказку. «В поступке не увидеть приключения, не прикоснуться, молодость, к тебе». После строфы с восклицательной интонацией идет риторически-вопросительная: «— Вы верите в зеленые надежды, вы верите в зеленые дворы?» Она подчеркивает душевное переживание героя, особенно остро почувствовавшего, что молодость безвозвратно ушла.

Синтаксически фраза в «Зеленых дворах» совпадает со стихом, рифма всегда перекрестная, язык простой, разговорный. Только в сценах из истории появляются выражения того времени, в котором происходит действие: когда речь идет об Орде — «государев указ», «невмочь», а о XVIII веке — «аматер». В стихотворении нередко повторяются слова («дворы», «тяжко», «липы» и др.), они, как звучащие в музыкальном произведении одни и те же ноты, расставляют акценты, придают эмоциональную напряженность стиху и вносят интонационные переливы. Аллитерация большей частью образуется с помощью мягкого звука

«л»: «Ливня лились любовные реченья...», «...шумели липы, дом с мезонином прятался в листве. И ломкий голос...»

Прозаизмы в стихотворении почти равномерно чередуются с метафорами. А реалистическая конкретность (вплоть до наименования города, улицы) сочетается с фантастикой, и от этого произведение не теряет цельности, единства, вот что особенно примечательно. Сочетается и с символикой. Ведь зеленые дворы — это символ молодости, надежд, романтики, любви...

Раздумчивая интонация, лирическая мяг-

кость, совмещение красок, стилей, живость словаря — все это создает привлекательный образ стихотворения «Зеленые дворы».

Мне же дороже всего в нем шум листвы и запах зноя, толпа скрытых от глаз разлук... И главное — сочетание трагических нот и мудрости, с которой герой принимает жесткие законы земного бытия.

А другого, вероятно, растревожило иное, — быть может, то, чего не увидела, не почувствовала я. Тем и прекрасно произведение искусства, что каждый находит в нем близкое его душе.

*Виктор Чалмаев*

## В ПОИСКАХ НЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Особую «хрупкость», уязвимость для житейских случайностей создает в подлинно поэтическом организме стихийное, неуправляемое стремление писать каждое стихотворение *всей жизнью*, не останавливать на полдороге «цепной реакции» творчества. В самом деле, так ли уж необходимо всякий раз восходить к тому пророческому состоянию, когда внятно сразу и «неба содроганье», и «дольней лозы прозябанье»? И можно понять умную и какую-то извинительную иронию Михаила Луконина («ведь вот всё понимаю, а не отрешусь от пережитка!»), когда он написал недавно об этой «нерентабельной» привычке писать *всей жизнью*:

Безумная затея нами движет:  
Чтоб каждую строку прожить собой  
И самому еще  
при этом  
выжить...

Недавно в сборнике М. Луконина «Лирика» («Молодая гвардия», 1969) вновь встретил я — и пережил эту встречу — одно из глубоко драматичных его стихотворений, дышащее самой жизнью, поражающее взрывной силой тревоги, мольбы, прозрения, трепетностью муки, даже не вполне «сокрытой» в ритме и слове: стихотворение «В поисках нежного человека».

Утрата друга, любимой, «нежного чело-

века» рядом с собой и в себе — это крушение целой «стены» привычного бытия, обрыв дыхания. Ведь человек всегда вбирает, «осваивает» другие души, живет и ими: все мы «полифоничны»... Поэт изображает лирического героя в единственный, вероятно, момент жизни, когда уже исчезли беспамятство, бездумность недавнего счастья, но еще не наступило то состояние оупляющей бескрылой усталости, упрощающего опустошения, когда человек смирился с «трын-травой», с орбитой одиночества. Сильная душа крепче и ярче всего на изломе!

Герой Михаила Луконина именно постиг — даже не вполне веря в свершившееся, — что горе очерствения страшнее всего; что для всех, утешающихся мелким благополучием, должна быть тревожна та трещина, что прошла через его сердце. Слова будто не вполне побеждают крик, сигнал о всеобщей утрате, — «искры» боли пробиваются на поворотах:

Товарищи, сюда —  
От снежных гор Памира,  
Где льдистая гряда  
Века переломила...  
Спускайтесь с дальних гор,  
Куда слетают реки.  
Вы отложите спор  
О «снежном» человеке.  
Потерян след иной...

Откуда тут Памир, пресловутый «снежный» человек? Почему в дальнейшем герой ищет в дали безбрежной, среди снегопада, инея, «заснеженного и нежного» человека?

Все не случайно. Снегопад, белизна, белая хрупкость, овладевающая миром, как лунный свет, — эти кажущиеся «паузы» в жизни природы всегда были дороги Михаилу Луконину. Зиме «холодно, сыро, темно» в городе, она «неказиста» — сожалел он в стихотворении «Зима». Снег — это и цвет, и особая мелодия, и нежность, и — как в цикле А. Блока «Снежная маска» — особая неуловимая, исчезающая граница мира предметов и стихии чувств, достоверного и фантастического.

Но снег тоже надо уже «отчищать»... Не опошлена ли была и сама белизна снега и ахматовский «бал метелей» и вечная потребность души в нежности, в заботе о более слабом, доверчивом или наивном существе занимательно-спекулятивной журналистской суетой, толками, сенсациями о «снежном человеке»?

«Потерян след иной», — говорит поэт, отвергая эту коммерческую подделку под гуманизм. Нежность, хрупкая стыдливость, простодушие и открытость сердца, наконец, сама слабость, которая может быть столь же великой, как и сила, — не очень ли поредели, потеряны их «следы» в мире, в нашем сердце, во времени? Не истребляем ли мы их с чрезмерной бодростью? А ведь красота не случайная гостья, а хозяйка в мире... Эти вопросы, догадки, тревоги выражены с удивительной болью и сдержанностью. Страсть делает, как говорят, наилучшие наблюдения... Не случайно, что так сложен сам образ «нежного человека», — это и живая сероглазка, и силуэт, символ, и «нежный человек», смеющийся от «снега», дышащий рядом («ее бровей разбег остановил с разбега»), и одновременно почти ангел, даже музыкальная тема. Главная тема — поиск нежного человека, мучительное ощущение беды и вины.

...Вот где-то здесь она,  
Протягиваю руки.  
Какая-то вина  
Томит меня в разлуке, —

эта тема овееяна, обвита, как ствол «плющом», подголосочными, «полуштриховыми» мелодиями.

И снова поэт зовет друзей, всех людей на помощь, зовет принять его беду и вину как всеобщую. Нет важнее сейчас ничего,

как найти, вернуть каждому сердцу, как сказку, как свежесть весны, «обиженную» (или обижаемую суетой, бездушием, механическим преуспеванием) нежность.

Вот только что была.  
Но нету, нету,  
Нету!..  
Бросайте все дела,  
На поиски  
По следу!

Призыв этот, как некогда плач цветаевской героини «Мой милый, что тебе я сделала», уходит за пределы, за горизонт личной драмы, звучит именно «вдоль всей земли». Сама нежность, не обиженная, рожденная не жалостью и не вежливостью, — это чудесное зрение, богатство души, позволяющее пережить множество недоступных открытий.

Сама любимая...  
Ты — пестрота цветов и звуков  
Перемена...  
Ты музыки земной  
космическая прядка,  
Ты — музыка лучей,  
Протянутых меж звезд.

Это итог... Но уже сами поиски нежного человека заставляют увидеть и оценить многое: и полуфабрикаты чувств, и подделки под нежность, и ложные следы похожести на красоту. И главное открытие, в известной мере первая находка среди утрат, — это решимость героя не останавливаться на полдороге, защитить то, что ныне, как правило, повсеместно нуждается в защите:

...Нас не собьет с пути  
Похожесть или смежность,  
Нет, надо нам найти  
Обиженную нежность.  
Она теперь в беде,  
Нуждается в защите.  
Не где-нибудь нигде,  
В себе ее ищите.

Малые скорби словоохотливы, истинная тревога сдержанна. Михаил Луконин владеет чудесным даром как бы опережать чувством и мыслью форму, озвучивать и снег, и тишину, и паузы, «петь на согласных»... Он стучится во многие души, напоминая о бесконечном, вечно волнующем движении человечества к красоте, нежности, о счастье жить «на пламенном накале», каждую строку проживая собой.

ОБЛАКО СЛАВЫ

Не всякое хорошее стихотворение выдерживает взгляд с близкого расстояния, показ крупным планом. Для этого оно должно нести в себе свой законченный мир красоты, а главное, вылиться так, чтобы не осталось никаких следов опалубки, чтобы все признаки предварительной работы отодвинулись за черту его светового круга. Перечитывая и перелистывая последнюю книжку Д. Самойлова «Дни», в которой — все, вероятно, согласится — немало поэтических удач, я наконец решилась остановиться на четырех строфах стихотворения «Весенний гром». Пусть читатель наново в них вслушается...

Весенний гром

За горой открывается Павшино,  
А оттуда — по левой руке —  
Стоэтажно, победно и башенно  
Встало облако невдалеке.

Так высоко оно и расправлено  
И такая в нем гордая стать,  
Что роскошную оду Державина  
Начинаешь невольно читать.

И на облачном светлом нагории  
Поднимаются, полные сил,  
Алексеи, Платоны, Григории  
В белизне полотна и лосин,

Чтоб с громами зелеными, юными  
Сдвинуть чары курчавых пиров  
И злащенными грянуть перунами  
По листве красногорских дубров.

Стихотворение на первый взгляд «периферийное» в сборнике, но все-таки подлинно самойловское: мир и облик поэта — с его вкусом к исторической подпочве и историческому зрелищу, с его напряженной и немного безответной любовью к вольному гулу просторов — здесь без труда узнаётся. В стихотворении есть принудительная сила цельности; его классически стройная композиция: пространный, спокойный зачин, смысловой и интонационный взлет на третьей строфе и торжественное разрешение темы — моментально ложится на слух и без усилий закрепляется в памяти. Затем оно — *живое*; его чудесный парадокс в том, что не листы книг и даже не каменная

книга зодчества, а листья деревьев пробудили историческое чувство.

Есть действительно в Подмоскovie места (для меня, скажем, не Павшино, а великолепное Гребнево), которые дышат русским усадебным XVIII веком; в расцвете лета все в них пышно, округло, «курчаво» и затейливо-торжественно, и непонятно даже, куда делась тонкая задумчивость среднерусского пейзажа, откуда вместо нее эта буйная пиршественная роскошь. Поэт неожиданно ощутил «укорененность» века Екатерины в глубоких и старинных пластах жизни, его «непетербургскую» сторону. Отправляясь от живого впечатления, навеянного «листвой красногорских дубров», он пошел вразрез с историческим шаблоном.

Итак, по всему чувствуется, что поэта «посетило вдохновение», или, как выражается он сам на языке современности, что «привалило счастье». Выпетое единым дыханием, стихотворение несет отпечаток поэтического «восторга», внезапной, не раздумывающей над собою удачи; поэт даже не заметил, что одел Алексея (Орлова?), Платона (Зубова?), Григория (Потёмкина?) в лосины, которых тогда еще не носили. Но, странное дело, вещь не испорчена этой абберрацией дальнорения. Ведь и слово «стоэтажно» ужилось здесь рядом с «роскошной одой»: как же еще современному горожанину выразить свое представление о славном размахе? — державинский Водопад вздыбился стоэтажным небоскребом. И наконец, поэт ведь перенес сочный и телесный XVIII век на легчайшее облако, а до облаков далеко — подробностей не разглядеть.

Здесь, в этом облаке, загадка и разгадка стихотворения, «диалектика» его контрастов.

Стилизация не была целью поэта. Колорит эпохи, конечно, намечен кое-какими словесными знаками («злащенные перуны», «дубровы»), разбросанными, однако, случайно и небрежно. И современное зрение присутствует здесь откровенно: не только в «стоэтажном» облаке, но и в смелом метафорическом эпитете, характерном для новейшей поэзии («зеленые, юные громы», «кур-

чавые пиры» — пиры курчавых крош). Стихотворение инструментовано сладкозвучным полногласием; нигде, кроме последней строфы, подражающей раскатам грома, согласные не сбегаются в труднопроизносимые группы, характерные для державинской звукописи (и только любимые Державиным «р» и «л» наполняют стихотворение отдаленными звуками его голоса). Эта певучая ясность под стать легкости облака, куда всерастворяющий ток времени, вместе с бессмертным голосом старого поэта, поднял буйных и грешных фаворитов Екатерины, земных, очень земных полубогов, чьи тела давно истлели в земле. Хороши они или плохи, они были «полными сил», громкими, деятельно-юными, «могущими», и от них остался эстетический отблеск славы. Д. Самойлов ловит здесь не колорит и даже не суть прошедшей эпохи, а ее жизненно-неспособный неуловимый «остаток», который всегда как бы подмешан к бытию, заполняет брешь между природой и историей и скрепляет два окружающих нас мира — мир родных дубров и мир отечественной культуры — в один природно-исторический космос. Тяжелое, возвращаясь в этот общий поток, облегчается и светлеет.

Поэзия Самойлова склонна двигаться

по двум линиям: в мире рощ и дорог, там, где «так много сверху неба, садов и гнезд вороньих», поэт желает забыться (хотя и не находит забвения), в мир быта и истории он вникает аналитической мыслью, далекой от самозабвенности и литературно-искусственной. В «Весеннем громе» обе линии скрестились, дав нечто новое. Природа заселилась человеческой жизнью, быт стал историей, а история, смешавшись с дыханием леса и неба, завороживала так, что анализ на мгновение сдал свои позиции чувству. И это, быть может, открыло поэту какую-то еще не пройденную им дорогу.

Над стихотворением витает дух Заболоцкого: «И голос Пушкина был над листвою слышен, и птицы Хлебникова пели у воды...» Но Самойлов, пожалуй, спорит с его сложной натурфилософией бессмертия. «Стать туманом, птицей, звездой иль в степи полосатой верстою» значит для него не то же самое, что для Заболоцкого. Это значит — воспеть или быть воспетым (недаром персонажи Истории предстают как герои Державина). Это значит — войти в то облако человеческой славы, которое окутывает собою и птицу, и звезду, и дерево, гуманизируя «равнодушную природу». В шестнадцати строках поэт многое сумел сказать.

## *Анатолий Ланциков*

### ПАФОС МУЖЕСТВЕННОСТИ

Когда мы встречаемся с каким-то «неправильным» стихотворением значительно-го поэта прошлого, мы стараемся или «замолчать» это произведение, или отыскать какие-то внешние обстоятельства, «повинные» в его появлении. Спору нет, внешние условия и внешние обстоятельства играют важную роль в творческой судьбе поэта, однако они не отражаются напрямую, иначе была бы немислима какая-либо индивидуальность творчества. У настоящих поэтов конфликт есть величина долгодействующая и развивающаяся, так что любому анализу конкретного произведения должен предшествовать достаточно полный анализ содержания этого конфликта. Думается,

с наибольшей силой индивидуальный конфликт солоухинского лирического героя выражен в недавно опубликованном им стихотворении «Мужчины», заканчивающемся такими словами: «...Мужчины, мужчины, мужчины, вы слышите песню мою?!»

Солоухинская «песня» такова, что ее нельзя не услышать, разве только можно сделать вид, что ты не услышал... Казалось бы, сам поэт предельно близок к достижению своего идеала, а раз так, раз идеал почти достигнут, то какой же тут конфликт? Но в том-то и дело, что солоухинский конфликт и глубок и настоящ, ибо по своей природе идеал поэта не столько личный, сколько общественный: его идеал



таков, что *мужчиной* должен стать не только его лирический герой (личное самоусовершенствование), но каждый (самоусовершенствование общественное, если хотите, даже повальное). Вы можете принимать или не принимать идеал Солоухина («А если звезда не светила и решкой ложилась судьба, мужским достоянием было короткое слово — борьба»), но в бесконфликтности автора не обвинишь. И чем, возможно, мы будем больше и дольше сопротивляться солоухинскому идеалу, тем будет глубже его конфликт.

Возможно, при известной доле поверхностности стихотворение «Мужчины» можно истолковать и так, будто автор публично покушается на идею равноправия женщины («А женщина женщиной будет, и мать, и сестра, и жена, уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина...»), умиляясь давними обычаями. Но в том-то и дело, что Солоухин ни на чьи права не покушается, поскольку о них он и не ведет речи, *он толкует нам об обязанностях, наших личных обязанностях*, а постоянное для него обращение к прошлому есть стремление совершить резкий выход в современность с разгоном из вчерашнего дня, что и делает его поэтом столь самобытного и современного звучания.

Когда Солоухин говорит: «Таится лицо под личиной, но взгляд пистолета свинцов, мужчины, мужчины, мужчины к барьеру ведут подлецов», он вовсе не ратует за возвращение к прежним обычаям, за восстановление в нашей повседневности дуэлей. Солоухин для этого слишком реалист. Поэт здесь напоминает нам о нашей обязанности бороться с подлецами. О личной обязанности.

Что касается формы борьбы, то тут каждое время вправе избирать соответствующие себе формы. Что же касается обязанности (бороться с подлецами), то она, по мнению поэта, неизменна на все времена. Для Солоухина важно одно, чтобы эта обязанность не переставала быть *личной обязанностью*. И поэт верит в торжество своего идеала, верит в своего современника, иначе бы он не допустил подобного «при-

творства»: «Я слухам нелепым не верю, мужчины теперь, говорят, в присутствии сильных немеют, в присутствии женщин сидят». Конечно, мы понимаем, что это не только «слухи», и мы понимаем, что на этот счет не обманывается и лирический герой, потому как свой идеал он не только проповедует, но и исповедует, а потому для него «поверить», что мужчины в одних случаях «немеют», а в других — «сидят», значит оскорбить их до крайности, хотя они-то, возможно, этого и не поймут, но он-то поймет, а раз поймет, то обязан будет пригласить их «к барьеру». Но не в том цель солоухинского лирического героя, чтобы размежеваться, ибо он стремится не к исключительности, а к братству, основанному на общности нравственного идеала. Потому-то я и говорил, что чем больше и дольше мы будем сопротивляться солоухинскому идеалу, тем будет глубже его конфликт. И поэт будет прав, поскольку настоящий поэт всегда стремится утвердить свой идеал в качестве нравственного закона. Поэзию Солоухина питают давние беспокойные гражданские чувства, они-то и составляют главную часть его духовного бытия, столь сопричастного тревогам нашего времени. И если мы отрешимся от подробностей солоухинского творчества и попытаемся выделить в нем главный мотив, то чуткое ухо без труда его услышит в любом произведении писателя: «Во время военной кручины в полях, в ковылях, на снегу мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу».

Я понимаю, стихотворение «Мужчины» не самое значительное произведение Владимира Солоухина, но в его творчестве оно ключевое: в нем со всей определенностью выражены гражданское кредо и нравственные принципы писателя. Но меня здесь привлек не столько сам факт выражения собственного гражданского кредо и собственных гражданских принципов, сколько их содержание, а содержание это мне представляется в высшей мере значительным, потому-то я и считаю солоухинских «Мужчин» одной из интереснейших поэтических публикаций последнего времени.

## СТИХИЯ ВЕТРА

Свое отношение к поэзии Николай Рубцов выразил словами: «И не она от нас зависит, а мы зависим от нее». Он задает вопрос простой и затруднительный:

Скажите, знаете ли вы  
О вьюгах что-нибудь такое:  
Кто может их заставить выть?  
Кто может их остановить,  
Когда захочется покоя?

От того, как ответить на этот немудреный вопрос — согласно или нет, — зависит, собственно, судьба поэзии. Да, можно. Можно добиться того, чтобы отключать или включать вьюгу — для большего комфорта. И не чувствуем ли мы тотчас же, как сами отключились от чего-то необъятного, свободного, заполняющего нас и выводящего в стихию? Что же произошло? Исчезло изображение. Порвалась связь с самим представлением о бесконечном, без чего не может быть и глубокого смысла конечного.

Когда поэт имеет дело не с понятиями о природе, а непосредственно с нею самою, когда для него в ней есть и «душа» и «язык», — тогда его мирозерцание неизмеримо углубляется самой причастностью к тому, что, в сущности, невыразимо.

Николаю Рубцову дано было сказать свое слово о природе, и, что очень трудно после Тютчева, — о стихии ветра. Это было бы невозможно, если бы поэт не обладал своим сильным мирочувствованием, в основе которого была «жгучая, смертная» связь с родной землей. Но что-то «жгучее, смертное» есть и в связи поэта с самой природой, ветром, вьюгой, вызывающими в его душе отклик чувств — мирных, тревожных, вплоть до трагических предчувствий. В стихотворении «Памяти матери», думая ночью в пургу о могиле матери «во мгле снегов», поэт вдруг как бы вздрагивает:

Кто там стучит?  
Уйдите прочь!  
Я завтра жду гостей заветных...  
А может, мама?  
Может, ночь —  
Ночные ветры?

Вы чувствуете, как срывается с сознания и самого бытия всё, кроме этого толчка: что это? кто там стучит? Мать, умершая давно, но живущая в памяти как живая, — не она ли там, за порогом, в пурге, или это сама пурга? В ветре все сейчас, вся жизнь человека, память его о самом родном, вселенная за окном — все в ветре. Эта обнаженность мирочувствования в какой-нибудь стихийной точке, она переносит сознание уже за грань привычного, как в том же стихотворении: «Меня ведь свалят с ног снега, сведут с ума ночные ветры». С этим нельзя долго жить, но и без этого нельзя, это та сила воображения, без которого все на земле упростилось бы и жизнь сделалась бы плоской, несносной.

Душа поэта должна быть наполнена — и не только мыслью о природе, но и ею самою — это ясно. Сумрак не просто для глаз, а «сумрак душу врачует мне» (стихотворение Рубцова «На ночлеге»). Это как бы двуединое бытие, когда сквозь видимую, внешнюю оболочку мерцает внутреннее, скрытое. В стихотворении «Вечерние стихи» жизненный факт самый обыденный, сугубо прозаический — как поэт, не усидев в осенний вечер дома, уплывает на дощатом катере за Вологду-реку. Но второй, внутренний план этого стихотворения в своем каком-то даже таинстве не только не менее, а более реальный мир, чем внешний, зрительный, реальный, именно своей сокровенностью — поэтическим обогащением бытовых мелочей, той многозначительностью, которая прелестна без ложной поэмы.

Совсем особая жизнь ветра в стихотворении «Зимняя ночь». Это даже и не метель, не буря, не жалобный ночной плач, в котором «есть какая-то вечная тайна»; это предчувствие чего-то неотвратимого, конечного. И то, что ночью «кто-то пристально смотрит в жилище», и заявившийся на ночлег «непонятный какой-то и странный из чужой стороны человек»... не новый ли «черный человек», который знает, кого навещать, знакомый, видимо, тому «черту», с которым разговаривал Иван Карамазов, есенинскому «чорному человеку». Но эта

связь не столько литературно-традиционная, сколько онтологическая. И в этом глубокое значение этой связи, значение того, что в недрах современного поэтического сознания, несмотря на всю практическую мощь бытия, живут предощущения глубокие, вырывающиеся временами в явления трагического творчества. Для Николая Рубцова было характерно такое самоуглубление, так же, как от «звезды полей», от красоты родной земли он шел к вифлеемской звезде, к нравственным ценностям.

Помещаемое здесь стихотворение «Гололедица», может быть, не совсем выдержано в своей грации (два последних четверостишия), но замечательна цельность охваченного мира — от Большой Медведицы, сверкающей в черной бездне, блестящей звездным светом гололедицы, до чистых мыслей и чувств, вызываемых заснеженным садом. И конечно, тот же ветер, «вихревыми, холодными струями ветер движется, ходит вокруг».

#### Гололедица

В черной бездне  
Большая Медведица  
Так сверкает! Отрадно взглянуть.

В звездном свете блестя, гололедица  
На земле обозначила путь...  
Сколько мысли,  
И чувства, и грации  
Нам являет заснеженный сад!  
В том саду ледяные акации  
Под окном освещенным горят.  
Вихревыми, холодными струями  
Ветер движется, ходит вокруг,  
А в саду говорят поцелуями  
И пожатием пламенных рук.  
Заставать будет зоренька макова  
Эти встречи — и слезы, и смех...  
Красота не у всех одинакова,  
Одинакова юность у всех!  
Только мне, кто любил,  
Тот не встретится,  
Я не знаю, куда повернуть.  
В тусклом свете блестя, гололедица  
Предо мной обозначила путь...

Психологическая объемность образа и поэтической мысли невозможна при сугубо эмпирическом мирозерцании, она требует прорыва в глубины природы и духа. Теперь, когда в поэзии явно обозначилось тяготение к традициям классической поэзии, одной из основных поэтических проблем становится именно эта духовная объемность образа, и здесь поэтический опыт Николая Рубцова может многое дать.

## Лев Аннинский

### ЗА ЛИНИЕЙ ПРИМЕТ

Еще чего, гитара!  
Засученный рукав.  
Любезная отравы.  
Засунь ее за шкаф...

Я беру это, а не другое стихотворение Александра Кушнера не потому, что это «лучше» других, — оно не лучше и не хуже, но оно выявляет его жизненную тему — и этого достаточно.

У тихого Александра Кушнера есть дар какой-то вежливой, но очень прочной независимости. Он не хочет иметь ничего общего ни с какой стилистической экспансией: его стих суховат, графичен, его сдержанная точность есть принципиальное отрицание экстаза, крика, стиливого разгула, тумана чувств, хляби мыслей, бездны страстей.

Проникнутый старопитерской строгостью, Кушнер любит сопоставлять ее со старомосковским эмоциональным буйством; так вот: никаких исповедей, никакой души нараспашку, никакой гитары! Стих Кушнера — нечто прямо противоположное гитарному звону, это рисунок пером, как бы оставляющий вокруг чистоту бумаги, это попытка мгновенно собрать мысли посреди гигантского простора, это вообще собиранье, сжимание, концентрация энергии — в противовес ее буйной трате и красочной размашистости.

Пушай на ней играет  
Григорьев по ночам,  
Как это подобает  
Разгульным москвичам...

Кушнер отключается от «течений» тихо и неслышно, но настолько последовательно, что можно было бы и к нему применить формулу о «прискорбной автономности мышления», которую критик Вл. Огнев как-то применил к своим литературным противникам, но я думаю, что эта «автономность» не стоит столь строгих эмоций: она не самоцель для поэта, она просто одно из произвольных следствий прочной внутренней позиции, в этой-то прочности все и дело.

Общепризнанная черта поэзии Кушнера — «внимание к вещам» — обманчива в своей элементарности. Эту свою любовь к предметам он описывает не без улыбки: «Мой крен: ларец с застежками и Жан Батист Шардэн...» Выпишите из стихов Кушнера все культурные реалии: Эль-Греко, Ван-Гог, Кончаловский... Фет — Блок — Пастернак... Стикс — Коцит — Ахеронт... Прибавьте к этому тесный письменный стол, на нем чернильницу, лист бумаги, адмиралтейский строгий шпиль за окном, низкое небо надшпилем — и вы получите музейный антиквариат, соединенный с бытом книжника и горожанина, живущего в питерских сумерках, но это будет лишь внешний абрис, верх, линия *примет* поэзии Кушнера, но не ее суть. Ибо главное — чем вызвана в сознании Кушнера эта линия примет, эта спасительная любовь к вещам, к определенности вещей, культурных символов, исторических хроник и ленинградских вертикалей?

Вот чем:

Как много от слова до слова  
Пространства, тоски и судьбы!  
Как ветра и снега от Львова  
До Обской холодной губы...

Но силы нужны и отвага  
Сидеть под таким сквозняком!  
И вся-то защита — бумага  
Да лампа над тесным столом...

«Тесный» мир Кушнера — лишь психологический негатив гигантских просторов страны, земли, мира, остро ощущаемых Кушнером. Предметный мир — спасение от хаоса: в пронсящих мимо вагонного окна разорванных кусочках пейзажа Кушнер ловит *далекие* ориентиры, не столь быстро бегущие, прочнее связанные с глазом, а всего милей ему — тихий столбик семафора на остановке — это долгожданное

избавление от неразберихи, от рваного движущегося пейзажа. Нет, Кушнер не поэт вещей, не собиратель предметов и не ценитель музейных ценностей. Кушнер — поэт *пределов*, поэт *формы*, поэт *связей*, отрицающий беспредельное и бессвязное в мире.

...А мы стиху иному  
Привержены с тобой.  
И с честью по-другому  
Справляемся с бедой...

Спасение — в законе, останавливающим стихию. Главный враг — разгул и хаос.

Одно из лучших стихотворений Кушнера посвящено алфавиту — оформленной, очерченной, остановленной стихии. Или вспомните стихи о Лю Ши-куне — китайском музыканте, которому перебили пальцы в ходе «культурной революции», — трагическое ощущение невозможности протянуть ему руку, пробить проклятье пространств. Или вспомните диалоги поэта с живописцами прошлого — это не музейное созерцание, но четкий выбор, и старик Шардэн недаром ближе Кушнеру, чем, скажем, «Ван-Гог вихреобразный»: неистовый Ван-Гог как раз и есть отрицание того определенного, прочного в линиях и красках мира, который хочет выстроить Кушнер над безднами пространств и просторов.

А внешне отшучивается. Дымком прикрит:

...дымок от папиросы  
да ветреный канал,  
чтоб злые наши слезы  
никто не увидел...

— Мандельштам! — рассердился на эти стихи один любящий Аполлона Григорьева московский критик. Что ж, правильно: без Мандельштама эту поэтическую традицию не понять.

А. Кушнер только внешне — поэт легкого дыхания: при всей своей мнимой, иронически-непритязательной, праздной игре с предметами, которая заставляет вспомнить еще одного русского поэта, только более ранней поры, Батюшкова, Александр Кушнер знает более глубокую свою жизненную тему — верность закону и долгу, связанность вещей и судеб. Не будем вообще так уж легковесны в отношении легковесности: ведь и в мандельштамовской тяжести откликнулась батюшковская легкость —

связь этих поэтов отметил и такой критик, как А. Елкин, в своей остроумной статье в журнале «Москва» (1971, № 3).

Как всякая поэзия глубоко личностного и самостоятельного духовного опыта, поэзия А. Кушнера ограничена и уязвима. Она неуязвима только в своей верхней, надводной части, где в легкий узор соединяются предметы. Но там, где глубина, — там, конечно, живет в душе Кушнера непе-

редаваемый трепет перед безднами, перед безграничностью пространств, перед тайной уходящего времени. Его преследует мысль об упущенных возможностях, о риске, на который он так и не пошел, и о высоком безумстве, которого нет и следа в его скованной законобоязнью и прикрытой ироническим блеском лирике.

Но кто сказал, что неуязвимость должна быть главным итогом духовного пути?

## Наталья Иванова

### СУДЬБА И ФОРТУНА

В книге Игоря Шкляревского 1968 года «Фортуна» есть и репортаж из городской столовой, и матросская песенка, и пейзажная лирика, и стихи о любви... Мир для Шкляревского еще не проявился, поэт еще не приобрел своих пристрастий и не ощутил своих потерь. Была в этой неразберихе чувств и прелесть молодой жадности освоения мира, была и... загадка. Тайна была. Вопрос: а что же дальше? Путь еще не был выбран. Были стихи — одни более удачные, другие — менее. Можно было их хвалить, критиковать. Но еще не была выбрана судьба, ибо ни одна из точек зрения, настойчиво пропагандируемых Шкляревским, не была осмыслена им как *личностная* позиция.

Новые стихи показывают, что выбор осуществляется теперь. Сейчас. Определились пристрастия, обнаружились пристрастия.

Обратимся к стихотворению «Родине».

Теперь в поэзии Шкляревского есть «люблю» и «не люблю», а объяснение в любви и в ненависти, хвала и хула — это ли не удел поэта?

Люблю протяжный стон гусей,  
березы желтое отренье  
и поздней осени твоей  
угрюмое великолепье.

Люблю, когда прозрачный лед  
звенит, расколотый о сваи,  
и с крыльев золото течет  
на деревянные сараи.

Искренняя «всеядность», дневниковость, готовность отозваться на что угодно (люб-

лю вроде бы все и — ничего), составившая пафос книги «Фортуна», обернулась пристрастным любовным объяснением. А любовь всегда иерархична. Так и «люблю» Шкляревского тут же стало актом поэтического суверенитета, отделения, самосознания; ведь только через «люблю» человек и постигает себя, и только через «люблю» можно постичь человека.

И в поэтическом «люблю» заключена еще одна странная, фантастическая вещь: это есть самоосуществление и одновременно самоотказ, самопожертвование (естественно, только тогда, когда то, что любит поэт, главенствует над тем, что он любит).

Этим «люблю» Игорь Шкляревский, которого по книгам никак нельзя было называть поэтом традиционным (хотя он никогда не стремился к настойчивому новаторству типа творчества Вознесенского), воссоединился с известной поэтической традицией (и чем неожиданнее это произошло, тем ощутимее) — с традицией «странного» объяснения в любви к родине — лермонтовского «люблю, за что, не знаю сам» и — «не за себя прошу...».

Так «люблю» становится и актом присоединения к прошедшему, продолжением определенной нравственной традиции русской лирики.

Русская природа — любимейшее существо русской поэзии. Но вот загадка: почему же, говоря о родине, поэт всегда говорит о природе? Ведь родина — понятие социально-этическое, природа же — естественное. Категории разных рядов, однако

вечно их сопряжение в стихах русских поэтов. Таким образом, и скупая российская природа тоже приобретала высоконравственный смысл.

Когда Лермонтов пишет о царской России *вне* природы, его оценка воинствующе отрицательная — «страна рабов, страна господ».

В стихах современных «пейзажных» русских поэтов (А. Жигулин, Н. Рубцов, В. Соколов) категории страны, родины, природы сближаются; родная природа для них — нравственный судия. Почти никогда мы не найдем у них (это относится и к поэзии Шкляревского) просто пейзажей, зарисовок с натуры. Природа необходима этим поэтам не ради описания, а ради уяснения себя и своих целей, своих средств. Стихотворение Шкляревского современно вопреки отсутствию каких бы то ни было «современных аксессуаров», потому что «сгустки» российского пейзажа ведут к разговору о *своей*

душе, которой природа что-то позволяет, а где-то и накладывает свое этическое вето:

В такую ночь уже нельзя  
всю душу выболтать растеньям,  
надежды, женщины, друзья —  
все подвергается сомненьям.

Но ты — моя святая дрожь...

Вот наконец — «но», — в колебании и незнании есть то «но», которое всегда определяет нравственный стержень поэта, — «святая дрожь»...

Эта «святая дрожь» и есть нравственное ощущение природы, нерасторжимая связь понятий родины и природы, на мой взгляд, являющееся национальной чертой русской поэзии, которая всегда пристально вглядывалась в Россию, чтобы понять:

где шум лесов, где вздох народа?  
где слезы матери, где дождь?  
где родина, а где природа?

## Станислав Лесневский

### В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ЖАНРЕ

«Теперь гонись за жизнью дивной и каждый миг в ней воскрешай, на каждый звук ее призывный отзывной песнью отвечай!» (Д. Веневитинов).

Словно бы вдохновленный этим девизом, Евгений Евтушенко, состязаясь с временем, с его темпом, довольно часто помещает в газетах и журналах стихотворения «на злобу дня». Публицистическая лирика — не единственная, но важная сторона работы поэта. По значимости своей эти стихотворения неравноценны, — лучшим из них приущи требовательный пафос: «Слушайте!..» — говорит нам поэт.

По-видимому, Евтушенко рассматривает все свое творчество как некое единство, в котором есть строки «ударные», есть «проходные»... Оттого, быть может, его поэзия столь неровна. Но здесь пойдет речь лишь об одном публицистическом стихотворении Евтушенко — «Цветы и пули», появившемся в «Правде» 18 мая 1970 года. Мне оно запомнилось.

Стихотворение это автор посвятил памяти студентки американского Кентского университета Аллисон Краузе, убитой на демонстрации протеста против войны США в Юго-Восточной Азии. Во время демонстрации Аллисон подошла к солдату, вложила цветок в дуло ружья и сказала: «Цветы лучше пуль».

Рядом с былью, столь же трагичной, сколь и символической, нелегко соседствовать длинному стихотворению, комментирующему эту быль. Перед Евтушенко стояла задача остаться на уровне произведения, сочиненного... действительностью. Его стихотворение должно было быть не ниже «простого газетного факта».

И еще одну поэтическую трудность надо было ему одолеть. Вот умерла Аллисон, жизнью заплатив за подлинность своих слов: «Цветы лучше пуль»... А не станет ли теперь судьба девушки только средством для создания стихотворения, которое, в свою очередь, тоже явится средством?.. В искусстве человек не может быть поводом, но может быть только всепоглощающей целью.

Начало стихотворения — медлительное, прозаичное: «Тот, кто любит цветы, тот, естественно, пулям не нравится. Пули — леди ревнивые. Стоит ли ждать доброты?» И, как приговор, ударами падают слова: «Девятнадцатилетняя Аллисон Краузе, ты убита за то, что любила цветы». Далее поэт кратко и скорбно извещает о случившемся. Собственно, от него-то и узнаем мы, как погибла Аллисон. Поэтического «зерна» поэт не отдал газетному эпиграфу, но решил прорастить его в стихотворных строфах.

Поначалу ему это не очень удастся. Вступительный монолог поэта звучит черство, резонерски («Не дарите цветов государству, где правда карается» и т. д.). Перед свежей могилой Аллисон неуместными кажутся рассуждения автора («Кто был Гитлер? Новаторских газовых камер кубист» и т. п.). В поступи строк слышится интонационное «пробуксовывание»... Или это невольная растерянность оратора перед лицом неподдельного «факта»?..

Тон меняется исподволь. Набирает силу протестующий пафос. Это — подлинное, как подлинна судьба Аллисон Краузе. Крепнет прямая агитаторская речь поэта. Не сторонне, не чуждо — в память Аллисон рождается слово о любимых ею цветах, и поэт созывает цветы на прощальный митинг: «Пусть все яблони мира не в белое — в траур оденутся!» Видишь все яблони мира вдруг в черных цветах... Знаменем разворачиваются предсмертные слова Аллисон, и теперь они реют иным, воинствующим смыслом: «Собирайтесь, цветы, на войну!»

Образ «воюющих цветов» соединяет нежное с гневным. Ничего от холодной аллегории, — воюют юноши и девушки, «цветы планеты». Поэт убеждает, просит, зовет «цветы» — «покарать карателей»: жасмин — опутать «миноносцев подводные лопасти», лилии и лотосы — «скрутить винты самолетов», розы — «бензобаки прокалывать бом-

бардировщикам»... Не букет цветов, а бунт цветов... Ведь ровесница Аллисон — вьетнамская девушка — это «гнева народного вооруженный цветок!».

Евтушенко часто бывает поэтом «вопреки поэзии», силой убеждения, нарочитой, как магнитная стрелка, мысли. Так, медлительно, прозаично начав стихотворение «Цветы и пули», он настойчиво приковывает наш взор и слух к образу воюющих цветов, неумоимо и исступленно подтверждая его, доводя стихотворение до захватывающего заклинания: «...и в колонны людей и цветов встань, убитая Аллисон Краузе, как бессмертник эпохи, протеста колющий цветок!»

Поэт возвысил голос против «архитекторов лжи, дирижеров убийств», которым «молодая Америка» пытается «связать руки». Тем самым он создал реквием погибшей американской девушке. И выразил также наши с вами чувства...

Стихотворение Евгения Евтушенко — рядовой «отклик» поэта на одну из тысяч драм современности. «Умри, мой стих, умри, как рядовой...» — мог бы повторить хрестоматийные строки автор «Цветов и пуль». Но не бесследны жаркие слова публицистической поэзии, и кто предугадает, как они отзовутся в жизни еще не раз...

Дар поэта-агитатора, «витийства грозный дар», участвует в борьбе «вооруженных цветов» с «пулями», которые и не притворяются цветами... Время диктует поэзии необходимость выбора. Вот почему и сегодня актуальны слова, написанные в незабываемом 1919 году:

«Быть вне политики?...» С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм...

Нет, мы не можем быть «вне политики», потому что мы предадим этим музыку, которую можно услышать, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было (А. Блок).

## ГОВОРИТ ЧИТАТЕЛЬ

Редколлегия сборника «День поэзии — 1972» обратилась к общественным деятелям, ученым, рабочим, людям искусства, спортсменам с вопросами, в которых попыталась в какой-то мере выявить круг интересов современного читателя стихов, его пристрастия, место, занимаемое поэзией в его жизни.

Было предложено ответить на следующие вопросы:

1. Читаете ли Вы стихи постоянно? Эпизодически?

2. Ваши любимые поэты XIX века? Нашего времени?

3. Интересуются ли поэзией Ваши дети, внуки, ученики? Есть ли разница в их вкусах по сравнению с Вашими?

4. Бываете ли Вы на поэтических вечерах? Что Вы предпочитаете: читать стихи или слушать?

5. Есть ли у Вас поэтическая библиотека? Какие поэтические книги приобрели Вы в последнее время?

6. Помните ли Вы примеры связи поэзии с Вашими жизненными решениями и поступками, с Вашей профессиональной деятельностью?

7. Как Вы думаете, возрастает или падает интерес к поэзии? По каким причинам?

Мы благодарим всех, кто любезно ответил на эти вопросы, и предоставляем слово Читателю Поэзии.

### **А. Алиханян,**

член-корреспондент АН СССР, лауреат  
Ленинской и Государственных премий

1. В зависимости от настроения. И с большим выбором.

2. XIX века — Пушкин. Нашего времени — Блок, ранний Маяковский, Исаакян, Чаренц, Пастернак, Зощенко... Пушкин... Почему Зощенко? В его лучших произведениях нельзя выбросить ни одного слова, они подчинены тем же законам, что и стихи.

3. Мои дети лучше меня, и, естественно, они больше меня интересуются поэзией, чем я, уже испорченный длительной жизнью.

4. Бываю, когда сам их устраиваю... Слушать стихи не люблю, потому что обычно их читают плохо, предпочитаю читать сам.

5. Е-е-есть!.. Обычно мне их дарят те поэты, которые знают, что я их люблю. Среди них — Заболоцкий, Мартынов, Слуцкий, Глазков...

Очень жду выхода нового тома Чаренца в Большой серии «Библиотеки поэта» в хороших, новых переводах.

6. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу ее выражение в коротком стихе:

Сорвите с меня повязку виденного,  
Сбейте с рук оковы сделанного,



О это первое озеро,  
Отразившее первое облако!

7. Меня всегда удивляло, что такой абстрактный вид искусства, как поэзия, так популярен. Часто случается, что стихи современников не укладываются в рамки привычного, однако нужно помнить, что так же как в фундаментальных науках, так и в искусстве будущее, производимое сегодня, в большой мере оказывается сегодня — недоступным, а завтра — обязательным!

**Борис Бабочкин,**  
народный артист СССР

1. Стихи читаю постоянно, то есть при каждом удобном случае.
2. Список был бы слишком большим. Вершина — Пушкин. В наше, вернее, мое время любил и люблю многих, начиная с Блока, Брюсова, Белого, кончая Твардовским, стоящим на вершине современной поэзии.
4. Раньше (в 20-е годы) бывал на поэтических вечерах довольно часто. Но раньше поэты лучше читали свои стихи (Есенин, Маяковский). Сейчас хорошо читает, пожалуй, один Евтушенко, может быть, еще Боков. Остальные слишком литературно и монотонно. Очень не люблю слушать, как читают стихи актеры.
5. Поэтическая библиотека у меня есть. Последние приобретения: «Четки лет» Расула Гамзатова, сборник Саломеи Нерис.
6. Этот вопрос или странно сформулирован, или вообще — странный. Думаю, что на жизнь и поступки человека соприкосновение с поэзией или некоторое ее понимание влияет вообще. Но не могу вспомнить, чтобы под влиянием некоторых стихов Маяковского я побежал в Моссельпром покупать папиросы.
7. Думаю, что интерес к поэзии возрастает. Но главным образом вширь. Хотелось бы — вглубь!

**Валерий Брумель,**  
олимпийский чемпион,  
заслуженный мастер спорта СССР

1. Иногда.
2. Джордж Байрон, Александр Пушкин, Адам Мицкевич. Этих поэтов прошлого века с удовольствием перечитываю. Из русских поэтов нашего времени (имею в виду время от Октября до наших дней) хочу назвать имена Блока, Маяковского, Есенина, Асеева, Лукомина, Евтушенко, Рождественского, Вознесенского.
3. В честь Пушкина назвал своего сына — Александром. У него уже есть какая-то любовь к стихам. Надеюсь, то же самое произойдет и с внуками.
4. Запомнились вечера поэзии в Политехническом музее. Я люблю слушать стихи. Особенно, когда читает сам автор.
5. Несколько книг любимых поэтов не назовешь библиотекой. Так что на этот вопрос я не могу ответить развернуто.
6. Стремление к высоте — это сама поэзия. Мне кажется, что спорт и стихи взаимосвязаны, влияют друг на друга.

7. Судя по последнему десятилетию — интерес к поэзии возрастает. Быть может, отдельные годы характеризуются спадом, но если смотреть масштабно — взлет налицо. Мне, как спортсмену, понятно, что такое второе дыхание. Думаю, что после некоторого утомления сейчас наша поэзия выходит на второе дыхание.

**Михаил Громов,**  
Герой Советского Союза,  
генерал-полковник

1. Эпизодически.

ВСЮ жизнь слушаю, читаю и декламирую, напеваю и насвистываю переложенное на музыку. Не представляю, как можно жить без поэзии, она прошла через всю мою жизнь.

2. Ответить перечислением любимых поэтов невозможно. Гениальные шедевры поэзии восхищают каждый по-своему, и они несравнимы. Если называют любимого, это значит, что творчество поэта близко душевному облику читателя.

3. Слово «интересоваться» мне кажется неудачным: оно принимает понятие о сущности поэзии, ее значении в жизни человека; вкус — явление историческое. Молодежи доступнее и понятнее поэзия наших дней.

4. Бываю, но редко. Предпочитаю читать стихи и декламировать сам.

5. Библиотека, конечно, есть. В последнее время не пополнялась.

6. Будучи командующим, я никогда и никого не наказывал. Но однажды, получив от командира жалобу на своего заместителя, я наложил резолюцию:

Уста мои молчат в тиши немой и жгучей...  
Я не могу, мне тяжело говорить...

Положительный эффект был поразительный.

В другом случае я наложил такую резолюцию:

Была без радости любовь,  
Разлука будет без печали...

Когда в последней, решающей шахматной партии на звание чемпиона мира между Петросяном и Спасским оставалось два хода, невольно, глядя на Петросяна, хотелось произнести: «Я — царь еще».

7. Поэзия всегда будет существовать, как явление вечно прекрасное. Она — потребность и необходимость, рожденная самим человеком. Возрастание и падение интереса — возможны. Подобные колебания случались в наше время: полемика в «Комсомольской правде» — «Физики или лирики», диспут в Московской консерватории на тему «Необходимо ли искусство в наше время?». Вопрос в данной анкете подтверждает эти сомнения. Интерес к поэзии зависит от уровня художественной ценности и сущности содержания произведений. Все это зависит от конкретных исторических условий.

**Алексей Дубровский,**  
доктор технических наук, профессор  
Московского института инженеров  
сельскохозяйственного производства  
имени акад. В. П. Горячкина

1. Безусловно, постоянно!

2. Уитмен и Верлен, пролагавшие новые пути в поэзии. Вслед за ними я назвал бы Аполлинера. Из русских поэтов XIX века я выделяю Батюшкова, которого мы, к сожалению, меньше ценим, чем тот великий поэт, который учился у него. Знаю на память многие стихи Кольцова, люблю живописный историзм А. Толстого, поздние стихи Случевского. Есть что-то общее в моей любви к Бараташвили, к азербайджанцу Касум бек Закиру.

3. Позвольте начать не с учеников, а с учителя. Основоположник мировой науки о сельскохозяйственных машинах — «Земледельческой механики» — академик В. П. Горячкин тоже писал стихи, выпуская поэтическую стенгазету. Эта традиция — любовь к поэзии — характерна и для наших молодых специалистов. Наука и поэзия — ветви одного дерева, корни которого питаются фантазией и жизнью.

4. Поэтические вечера посещаю еще с предвоенных лет. Особо памяtnы выступления поэтов-фронтовиков. Индивидуальные вечера 60-х годов внесли полемичность в это дело. Последние годы на вечерах поэзии, скажу откровенно, скучновато.

5. Поэтическая библиотека есть. В ней имеются уникальные издания, например «Солдатская песня» под редакцией А. Суркова или Альманах, изданный в 1947 году на правах рукописи к Первому совещанию молодых писателей. Большинство поэтов из этой плеяды стали известными, я слежу за ними, приобретаю их книги.

6. Были такие случаи. Мне довелось в 100-летнюю годовщину смерти А. С. Пушкина от имени московской молодежи выступать на митинге у его памятника. Однажды в «Правде» приводились слова одного юноши: «Быть или не быть — этой проблемы для нас не существует, отныне одна проблема — кем быть». Этим юношей, «поспорившим» с Шекспиром, был я. Можно было бы, конечно, привести и другие примеры. Иногда перифраза известных строк по-новому ставит задачу: изводишь единой находки ради тысячи тон поисковой руды. Как видите, стихи помогают.

7. Несомненно, интерес к стихам в век технической революции будет возрастать. Мой оптимизм диалектичен. Верю в завтрашний день поэзии.

**Евгений Светланов,**  
дирижер, народный артист СССР,  
лауреат Ленинской премии

1. Наверное, все-таки постоянно; хотелось бы обращаться к ним больше, но... партитуры приходится читать все же чаще... Правда, я с удовольствием слушаю, когда стихи читают по радио. Я вообще большой поклонник радио и телевидения и в свободное время, отдыхая, люблю слушать в эфире стихи — особенно в исполнении Дмитрия Журавлева, затем Сергея Юрского. У Журавлева — все, что бы он ни читал, но более всего, разумеется, Пушкина. У Юрского — также Пушкина, и Бернса, и Есенина...

2. Пушкин, Блок, Маяковский, Твардовский... Особняком стоит Тютчев, но тут моя любовь к нему еще и настолько связана с музыкой, что, читая его, я ловлю себя на том, что слышу определенную музыку, очень определенную...

5. Библиотека поэзии есть.

Новый большой сборник стихов и поэмы Александра Твардовского... Мне необыкновенно дорог этот мастер своим поразительным ощущением сути всего, о чем он пишет. Людей. Истории. Дум. Конфликтов. Красотой и классической строгостью стиха при всегда остром, НЕОБХОДИМОМ и всеволнующем содержании. Это прекрасная, совершенная русская поэзия — часть каждого из нас. Без Твардовского наша внутренняя жизнь — я в этом убежден — была бы много беднее. Жаль, что поэзия Александра Трифоновича еще ждет своего музыкального воплощения, но оно придет наверняка, пусть не сразу, но придет...

Поэзия Фета, Майкова, Полонского, Кольцова во многом приходит ко мне в своем своеобразии через Рахманинова, Танеева, отчасти Кольцов — через Мусоргского. Но это не общее правило. Поэзия существует для меня совершенно самостоятельно, она — часть моей жизни, и, поверьте, это ничуть не красивые слова, а глубокая истина...

**Владимир Филиппов,**  
мастер производственного обучения  
ИТУ-40, Герой Социалистического Труда

1. Я принадлежу к той категории людей, которых называют «читателями стиха». Но сейчас пишут и читают многие и, хочешь не хочешь, то и дело тебя втягивают в разговор о поэзии. Вот вчера, в училище, девушка спрашивает: «Вы читали в «Правде» Кугультинова?» Пришлось прочитать. Эпизод? Не сказал бы. Запомнилось и останется надолго.

2. Великие русские поэты от Пушкина до Блока, но их строки мы вбирали в себя, можно сказать, с молоком матери. Что касается современных, то я не стану сочинять, дескать, тот или иной — мой любимый поэт. В прошлом я был мастером спорта, футболистом и позволю себе сказать, что на поле поэзии нужен и левый край и правый, а кто в центре атаки — об этом судит время. Такой фигурой все-таки остается Маяковский.

3. Вкусы, к счастью и к сожалению, меняются. К счастью — потому что «хороших и разных» стало много, есть выбор. К сожалению — потому что нередко молодежь, ученики мои, отдают предпочтение не столько хорошим, сколько разным стихам, среди которых иной раз преобладает мещанский уклон.

4. На поэтические вечера я не хожу, некогда. Когда читают стихи по радио, я предпочитаю, чтобы читал сам поэт, а не актер. Я считаю, что нет такого *настоящего* поэта, который бы плохо прочитал *свои* стихи. А не настоящим — зачем давать трибуну?

5. Жизненные решения и поступки? Вряд ли здесь было влияние поэзии. Но безусловно, характер мой стихи формировали, так как в молодости я часто читал революционных поэтов со сцены. Извиняюсь за такой термин, как «профорентация», но в этом деле на подмогу приходил опять же Маяковский: «Нужны работники, столары и плотники». Жаль только, что вслед за этими стихами для

детворы нет у нас таких же для молодых людей, вступающих в жизнь. Нередко приходилось пользоваться крылатыми словами Крылова. Но почему у современных поэтов редко найдешь поэтический афоризм, который бы нам пригодился в деле?

6. Интерес к поэзии? Падать не имеет права. Все зависит от поддержки читателя. Однако и писать надо так, чтобы было что поддерживать.

### **Марлен Хуциев,**

кинорежиссер, заслуженный деятель  
искусств РСФСР

1. Эпизодически-периодически, но запоем.

2. Пушкин. Лермонтов. Баратынский. Блок. Маяковский. Пастернак.

3. Сын интересуется поэзией, сейчас у него на столе я заметил сборничек японских поэтов. Вкусы в общем, надеюсь, совпадают.

4. Люблю и то и другое. Пожалуй, больше все-таки читать. Но и слушать тоже. И еще — читать вслух самому себе. Бываю на поэтических вечерах. Один такой удивительный поэтический вечер я снял в своем фильме «Мне двадцать лет», запомнится он мне на всю жизнь.

5. Поэтическая библиотека есть.

6. Я помню поразительный случай. В Одессе, где я снимал фильм «Два Федора», мне неожиданно стало плохо с сердцем, и я слег. Мне достали и принесли Пушкина. Я читал, читал, читал... И поправился. Это действительно было не просто так, это был случай исцеления. Пушкин успокоил, приласкал, увел меня за собой и... увел от самого себя и от болезни...

7. Возрастает, потому что поэзия наиболее яркий выразитель времени.

### **Артур Эйзен,**

певец, народный артист РСФСР

1. Постоянно. Если не поэтические сборники, то, работая над концертными программами, знакомлюсь с балладами, романсами, песнями, а это ведь тоже стихи.

2. Пушкин. Лермонтов. Райнис. Маяковский. Есенин. Кедрин. Кулиев. Евтушенко. Гамзатов.

3. Дочь сейчас в таком возрасте, когда больше сочиняют, чем читают стихи. Впрочем, она увлекается Блоком, Цветаевой, Вознесенским.

4. Люблю слушать Якова Смоленского, Ивана Русинова, иногда бываю на их сольных вечерах. И все же предпочитаю читать.

5. Собираю поэтическую библиотечку. Приобрел два тома Кайсына Кулиева, Гарсия Лорку, сборник «О, русская земля!».

6. Впервые выступал на сцене латышского театра, читая стихи Райниса. Было мне 6 лет. Уверен, что это определило мое стремление стать артистом.

7. Интерес к поэзии возрастает:

А. Поэзия ярко, точно выражает душу времени, отвечает на острые вопросы современности.

Б. Растет культура, возрастает стремление к прекрасному.

# АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

---



ИЗ ЛИРИКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

К ПОРТРЕТУ ПУШКИНА

Земля, рождавшая когда-то  
Богатырей в глухом селе.  
Земля, которая богата  
Всем, что бывает на земле;

Земля, хранившая веками  
Заветы вольности лихой;  
Земля, что столькими сынами  
Горда передо всей землей;

Земля, где дружба всех наречий  
Так нерушима и тепла,  
Где правда жизни человеческой  
Впервые на землю пришла;

Земля, где песни так живучи,  
Где их слагает и поет  
Сам неподкупный, сам могучий,  
Сам первый песенник — народ.

Земля такая не могла ведь,  
Восстав из долгой тьмы времен,  
Родить и нынче гордо славить  
Поэта, меньшего, чем он...

1937

\* \* \*

Садик в поле открытом,  
Ни трубы, ни избы.  
В землю новые врыты  
В новом месте столбы.

Стены новые выше,  
И не первый им год.  
И под самые крыши  
Новый сад достает...

Клонит яблоньки ветер,  
Гонит по полю рожь.  
Все другое на свете.  
Все — куда ни пойдешь...

1940



\* \* \*

Велика страна родная,  
Так раскинулась она,  
Что и впрямь — война иная  
Для нее как не война.

Но в любой глухой краине,  
Но в любой душе родной  
Столько связано отныне  
С этой, может, не войной.

Пусть прибитый той зимою  
След ее травой порос  
И прибой залива моет  
Корни сосен и берез,

Пусть в тот край вернулись птицы,  
И пришло зверье в леса,  
И за старую границей  
День обычный начался,—  
Там...

Там, в боях полубезвестных,  
В сосняке болот глухих,  
Смертью храбрых, смертью честных  
Пали многие из них...

1940

\* \* \*

И цветут — и это страшно —  
На пожарищах сады.

Белым, белым, розоватым  
Цветом землю облегли,  
Словно выложили ватой  
Раны черные земли.

Журавель. Труба без хаты.  
Мертвый ельник невдали.

Где елушка, где макушка  
Устояла от огня.  
Пни, стволы торчат в окружку,  
Как неровная стерня.

Ближе — серая церквушка  
За оградой из плетня.

Кирпичи, столбы, солома,  
Уцелевший угол дома,  
Посреди села — дыра,—  
Бомба памяти дала...

1942

\* \* \*

Война, война. Любой из нас,  
Еще живых людей,  
Покуда жив, запомнил час,  
Когда узнал о ней.

И как бы ни была она  
В тот первый час мала,  
Пускай не ты — твоя жена  
Все сразу поняла.

Ей по наследству мать ее  
Успела передать  
Войны великое чутье,  
А той — другая мать...

1942

\* \* \*

Под вражьем тяжким колесом  
Стонала мать-земля.  
И бомбы, вспучив чернозем,  
Дырявили поля...

И были той земли сырой  
Края обожжены.  
И кто-то первый был герой  
И мученик войны.

В крови, в пыли шептал без сил,  
Уже стонать не мог.  
Уже не жить — попить просил,  
Воды один глоток.

А где вода? И так умрет.  
К тому и привыкать...  
И это знала наперед  
Его старуха мать.

1942

\* \* \*

В жизни война дорожной  
По случайности возможной  
Завернуть в родимый край —  
Не желай.

Не желай. С тебя довольно.  
Сыт, солдат. Душа полна.  
Лучше тещи хлебосольной  
Всюду потчует война.

Дым, щебенка, головешки,  
Рваной жести скорбный стон,  
Бедных беженцев тележки —  
Всюду есть — из горла вон.

Или ты в краю родимом  
Надышаться этим дымом  
Захотел? Зачем, земляк:  
Злей не будешь — зол и так.

1944

\* \* \*

Беда откроется не вдруг,  
Она сперва роднится с вами,  
Как неизбежный недосуг  
За неотложными делами.

Дела, дела, дела, дела —  
Одно, другое руки вяжет.  
Их слава жизни придала —  
А славу надобно уважить.

Дела зовут туда, сюда,  
И невдомек еще поэту,  
Что это исподволь беда  
Пришла сживать его со свету.

1947

\* \* \*

В сторожке на даче  
Живу я, хозяин,  
С Ефимовной-бабкой  
И верным Мазаем.

Читаю унылые  
Толстые книжки.  
По пояс в снегу  
Собираю дровишки.

Все стежки пургой  
Замело у сторожки.  
Друзья ни ногой,  
И водки — ни крошки.

Старуха на кухне  
Бормочет печально —

Не мил ее сердцу  
Очаг натуральный.

Осиновый хворост  
Пускает слезу,  
А бабка привыкла:  
— Весь век на газу.

Мазай завывает  
Весь день из-под клетки,  
А нужды справляет  
В моем «кабинете».

Он службу свою  
Выполняет с тоской —  
Балованный, порченный  
Пес городской.

1947



\* \* \*

У новоселов в Казахстане  
Среди степного ковыля  
Лежит в раскрытом чемодане  
Наследник, соской шевеля.

К стене привязанная крышка,  
Никелированный замок.  
Лежит, сопит себе парнишка  
Катая глазки в потолок.

Честь честью все — опрятно, строго  
Постель, простынка на груди.  
Что ж, чемодан! — мальцу дорога  
Еще какая впереди!

1955

*Публикация М. И. Твардовской*

Первая большая посмертная публикация произведений Александра Твардовского, подготовленная комиссией по литературному наследию писателя, состоит из стихотворений, написанных в 1937—1955 годах.

Оставшиеся в беловых автографах и извлеченные из «рабочих тетрадей» поэта, эти стихи по разным причинам не были им в свое время напечатаны. К иным из них он расходел по минованию повода, каким они были вызваны к жизни, иные казались ему слишком «личными», и он не спешил отдавать их в печать, к некоторым собирался вернуться, чтобы еще работать над ними.

Уход великого народного поэта, каким был Твардовский, сообщает особую цену каждой неизвестной еще читателю его строке: мы снова хотим слышать его живой голос, радоваться, что он еще что-то успел сказать, подумать, выразить за нас и для нас.

Твардовский не любил писать стихи «на случай». Стихотворение «К портрету Пушкина», написанное к юбилею 1937 года, — редкое в этом смысле исключение, оправданное особой данью памяти поэта к святому для него с детских лет имени. Обычно лирика Твардовского возникала естественно и непредугаданно в потоке его духовной жизни. В «рабочих тетрадях» поэта лирические стихи перемежаются часто с фрагментами его больших поэм, легко вливаясь в их состав или отпочковываясь от них в нечто самостоятельное. Твардовский всю жизнь как бы пишет одну книгу — о себе и о своем времени. И его крупные эпические замыслы, связаны ли они с коллективизацией, войной или послевоенной порой, влекут за собою целый шлейф лирических этюдов, зарисовок, набросков, иной раз вполне законченных и имеющих право занять свое место в золотой книге русской лирики.

В публикуемых двенадцати стихотворениях отразились разные настроения и впечатления, входившие в душу поэта на протяжении почти двух десятилетий, перерезанных Великой Отечественной войной. «Садик в поле открытом...» — стихи, навеянные поездкой на Смоленщину, в родные места, в 1940 году; «Велика страна родная...» — воспоминание о недавней финской войне на самом пороге Великой Отечественной; четыре стихотворения 1942—1944 годов посвящены борьбе народа с фашистским нашествием и близко сопутствуют «Василию Теркину» и «Дому у дороги»; стихотворения, созданные в конце 40-х и начале 50-х годов, переключаются с лирическими темами поэмы «За далью — даль».

Ограничимся этими краткими попутными сведениями. Ведь, в сущности, для таких стихов, как эти, не обязателен груз биографических или текстологических комментариев. Явившись к читателю, они начинают жить своей независимой жизнью. Наверное, каждый найдет в них что-то для себя не только из уважения к памяти поэта, но и по живому чувству волнения и признательности ему за свежие и сильные впечатления души.

*В. Лакин*

## БУДУЩИЙ ТВАРДОВСКИЙ

...Мы познакомились в 1928 году. Скоро наши встречи стали частыми, временами — почти ежедневными. Конечно, меньше всего мне приходило в голову и тогда и позже, что когда-нибудь я буду писать о нем воспоминания. Он был на год моложе, и здоровья, казалось, был неизбыточного, да и меньше всего мы думали о запечатлении своих встреч. В памяти остались лишь самые общие впечатления тех лет и некоторые события и детали.

Одним из первых общих впечатлений от его личности было ощущение сочетания очень здорового, нормального, крепкого, жизненного, коренного — и вместе с тем очень духовного — и так же здорового, крепкого, органически жизненного. Большой и вместе с тем сдержанной, не навязчивой силы. Очень нормального, почти обычного — и самобытного, небывалого. Высокий, стройный сельский юноша — «загорьевский парень», красивый красотой некоторых деревенских гармонистов, и вместе с тем еще чем-то, большим и необычным. Ясноглубокоглазый, с открытым лицом, часто освещавшимся такой же ясной, доверчивой, даже простодушной, и вместе с тем одухотворенной улыбкой. Да, именно светилась в улыбке, и во всем облике, и в разговоре природная одухотворенность, народная интеллигентность. И ясные глаза смотрели иной раз с глубинной пристальностью, проницательностью, для восемнадцатилетнего парня совсем необычной; подчас чувствовалась в них и некоторая настороженность, испытующая, критическая наблюдательность деревенского человека, которому все внове в непривычной городской среде и все интересно, но который ко всему относится с полной самостоятельностью, независимостью, свободой. И который был исполнен напряженным трудом души.

Теперь, ретроспективно, можно только удивляться энергии и эффективности этого труда. Удивляться тому, как быстро восемнадцатилетний юноша из «глухого, чудного, нарочного» «хутора-хуторка», юноша, по приезде в Смоленск полущутя-полувсерьез спрашивавший, как включить электриче-

ский свет; юноша, формальное образование которого сводилось к незаконченной сельской средней школе, — как быстро этот юноша, со всем напором своего здоровья, сил, двигался вверх по лестнице и общей культуры и поэзии, познания и самопознания, становления себя, как поэта и человека. Но тогда это чудо казалось чем-то само собой разумеющимся, естественным, ибо оно было не уделом «особой, избранной судьбы», а частицей и концентрированным выражением, продолжением гигантского народного культурного подъема, охватившего с середины 20-х годов «глухие углы». И скорее теперь удивляет инфантилизм многих современных «молодых» поэтов, оснащенных высшим образованием, но до тридцати лет все еще странствующих в пленках...

В труде души молодого Твардовского было нечто непосредственно вырастающее из труда крестьянина и мастерового человека, каким был и его отец — крестьянин и кузнец, из труда души его матери, своеобразной и поэтической крестьянки, образ которой проходит через всю его поэзию и о которой не раз он говорил и в наших тогдашних беседах, и вместе с тем это был уже труд души народного интеллигента и поэта совершенно нового типа, труд души будущего Твардовского. Это создавало особую сложность и вместе с тем особую простоту его личности, его поэтических поисков. Про него можно было уже тогда сказать — его же позднейшими словами: «Что проще — да! и что сложнее». И уже тогда определилось главное в этой сложной простоте — сочетание жизненности, даже деловитости, практичности, вплоть до, так сказать, селькоровской злободневности, с пафосом больших ожиданий, великих идеалов, «завидных далей» — и своей личной, и общенародной судьбы, — тем, о чем с такой светлой и грустной улыбкой вспоминает он в своем стихотворении «На сеновале» (первой главе его последней поэмы; по другому варианту эта глава называлась «Перед отлетом»). И был на всю жизнь накрепко определен его фундаментальный «завет первоначальных дней» — «не лгать, не трусить, верным быть народу». И с самого начала он

с большой настороженностью относился ко всяким любителям «краснословья», даже когда оно было искренним. Его духовность была лишена обычной юношеской мечтательности и тем более сентиментальности и риторики. Поражало именно стремление к истине в ее живой исторической конкретности, более того — сегодняшней ее сущности. Трезвость, зоркость взгляда, упорное стремление ясно отличать зерно от половы. Благодаря этому он остро, иной раз слишком остро чувствовал всякую фальшь, показуху и всякое, как он выразился в одном из последних своих писем мне, «пустоутробие».

...Наши — частенько многочасовые — беседы были беседами обо всем на свете. Прежде всего о жизни, меньше о литературе. Большое место занимало его стремление «дорваться вдруг до всех наук со всем запасом их несметным и уж не выпускать из рук...». В этом отношении его разговоры с новым городским другом продолжали тот разговор «на сеновале». Он и позже всегда ценил любое конкретное сообщение, информацию. Но при всем разнообразии тем получалось, что никогда не хватало времени на чисто житейское или вообще узко личное. Не то чтобы эти вопросы пренебрегались, но его практичность не имела ничего общего с житейской ловкостью, приспособляемостью, никогда не заслоняла духовности. И во всех делах, даже в бытовых мелочах, характерны были для него безусловная порядочность, разборчивость в средствах, высокое чувство достоинства и — главное — чувство ответственности поэта и гражданина «за все на свете» — то чувство ответственности, которое было лейтмотивом его жизни.

Житейские дела его долгое время были не устроены. С восемнадцати лет он стал писателем-профессионалом без постоянного заработка. В дальнейшем, с начала 30-х годов, он совмещал работу поэта с регулярной учебой в вузе и с довольно частыми поездками по заданию местных газет или журналов в деревню. Это, в сущности, и был образ жизни самый плодотворный, подходящий для развития его таланта.

И определился еще один принцип его личности и творчества, который сформулирован был и в одном из последних, итоговых его стихотворений: «К обидам горьким собственной персоны не призывать участь добрых душ. Жить, как живешь, своей

страдой бессонной, взялся за гуж — не говори: не дуж».

В молодости этот принцип осуществлялся им иногда даже с некой чрезмерностью, из-за этого были случаи тяжелых недоразумений и с близкими ему людьми. Вообще он был человеком гораздо более уязвимым, ранимым, чем казалось другим (да и ему самому). Сохранил он эту ранимость и позже...

В течение 1928—1936 годов все или почти все стихи его читались и обсуждались со мной еще до отдачи в печать. Было немало и «экспериментальных» стихов, для печати не предназначенных. Пробы делались в разных направлениях, но ничто не могло заставить его поддаться какой-либо моде или очередному «веянию», — поражало единство, упорство основного поиска.

...Кто был его литературным учителем в этом поиске? Строго говоря, перебирая в памяти и его стихи и его разговоры, не могу назвать ни одного поэта. Сам он не раз называл М. Исаковского. Это было верно в наиболее общем смысле, поскольку Исаковский был основоположником всей «смоленской школы». Он оказал и прямую поддержку в самых первых его шагах. И для всех нас Исаковский был бесспорным авторитетом, уважаемым старшим товарищем. Но все же следы непосредственного влияния Исаковского заметны лишь в стихах Твардовского 1925—1927 годов, а начиная с 1928—1929 годов все его стихи похожи только на самих себя.

В наших разговорах, конечно, обсуждался со всем юношеским запалом «весь» опыт мировой поэзии. И делался главный образцом один вывод — учиться надо у классиков, а писать надо стихи совершенно нового типа, как в первый раз на свете. Были и попытки теоретически наметить, обосновать пути поэзии новой действительности, поэзии, основанной на предельно прямом воспроизведении ее углубленной конкретности и духовного богатства. Выдвигались и более узкие «рекомендации». Например, идея создания нового типа социалистической лирики — сюжетной, событийной, углубленно психологической, предельно разговорной, включающей в себя и повествовательные и драматические элементы, и (главное) «лирику другого человека», диалектику душевного движения, роста нового трудового человека, новых человеческих отношений.

Среди поэтов XX века, которые тогда были учителями молодого поэтического поколения, никто особенно не привлекал молодого Твардовского, а некоторых он активно не любил и лишь немногими активно интересовался. На фоне обычных увлечений тогдашней литературной молодежи (помните — «Тихонов, Сельвинский, Пастернак...») вкусы молодого Твардовского, и как и всей «смоленской школы», были возвратом к традиции XIX века «через голову» чуть ли не всего XX века. Пушкин, Некрасов, Тютчев, помню, фигурировали прежде всего в наших разговорах. С начала 30-х годов молодой смоленский критик особенно много говорил о «некрасовском направлении». Однако непосредственное обсуждение некрасовского опыта наибольшую роль сыграло несколько позже, в период перехода к «Стране Муравии» от ультра-разговорных «прозаизированных» ранних поэм. Сохранилось в памяти неизменное восхищение Тютчевым. «Тютчевское» начало было заложено в Твардовском гораздо раньше, чем оно внешне проявилось в самой фактуре его стихов, а в лирике 60-х годов синтез «некрасовского» и «тютчевского» начал играть особо большую роль. Внимательный глаз может найти начало таких поисков и в стихах смоленского периода, в том числе ныне забытых. Но, вопреки часто высказывавшимся мнениям, никогда ни самый молодой, ни самый поздний Твардовский не игнорировал опыт поэзии XX века, и многое в этом опыте было им усвоено, переработано и продолжено, прямо или косвенно.

Из отдельных оценок смоленских лет мне особенно запомнилось его отношение к Бунину. Бунин, несомненно, был в числе его главных поэтических учителей (или предшественников). Помню, как мы совместно восхищались бунинским «Одиночеством», как открывали для себя его искусство психологической и вместе с тем предметной и «поведенческой» детали. «Твой след под дождем у крыльца расплылся, налил водой». И концовка: «Что ж! Камин затоплю, буду пить... Хорошо бы собаку купить». Такие детали и весь строй, ход этой лирико-психологической новеллы во многих отношениях непосредственно под-

готовляли поэтику лирико-психологических «рассказов в стихах» Твардовского, в той, однако, небольшой мере, в какой кто-либо мог на него непосредственно влиять. Любовь к Бунину сохранилась на всю жизнь, даже в деталях; когда мы уже в конце 50-х годов как-то вновь заговорили о Бунине, то прежде всего было названо то же «Одиночество».

Из других поэтов XX века, сколько помню, больше всего обсуждались Мандельштам, Пастернак (некоторые его стихи Твардовский очень признавал, хотя в целом Пастернак ему был довольно чужд). С годами он стал любить и ценить многое из того, к чему раньше был равнодушен или что даже совсем отвергал. Но то, что он полюбил в молодости, в основном оставалось его любовью до конца дней. Нельзя привязать его к какой-либо одной, хотя бы самой прекрасной, — «некрасовской» или другой, — традиции, хотя, конечно, эта традиция им достойно продолжалась.

И если уж искать какие-то его литературные источники, то были ими не только и не столько стихи, сколько художественная и документальная проза — от Толстого и Чехова до газетных сельских корреспонденций и дневниковых записей — наблюдений самого Твардовского. Недаром же полусутоя он говорил мне уже в нашем последнем разговоре в 1970 году: «Я в сущности — прозаик». Но и в этом он продолжал все — и ничего в отдельности, так же как ни от чего не отталкивался, но все начинал сначала. Скорее даже с середины, с живого потока сегодняшнего бытия в его устремлениях к «завидным далям». Потока жизни в ее конкретной новизне и новизны в ее конкретности — как «в первый раз на свете», ибо все и было первый раз на свете.

Как давно прошли эти юношеские встречи, разговоры, эти стихи будущего Твардовского! Давно. «Жизнь тому назад». И вот уже пришел и прошел тот будущий Твардовский. И по «праву памяти» и ее обязанности, той памяти, которая была таким важным началом всей его поэзии, так нужно, кажется, именно теперь вспомнить его истоки, вспомнить того будущего Твардовского.



«БЫТЬ САМИМ СОБОЙ»

Все прекрасное, что так трудно дается, связано с честью и достоинством. От них также неотделимы преданность Родине, подвиг и творчество. Еще одним подтверждением верности этой мысли являются личность и творчество Твардовского. Наряду с крупнейшими предшественниками, он стал примером для нас потому, что, обладая выдающимся талантом, прожил свою жизнь с большим достоинством, благородно и мужественно, до конца остался верным советливости русской классической литературы, удивившей мир своим величием. Большой поэт жил как крупный человек.

Мы уверены в том, что его создания не перестанут читать, пока будет звучать русская речь, которой он так блистательно и бескорыстно служил. Будем верить, что еще вырастут у нас великие поэты, для которых пример и уроки Твардовского станут такой же школой, какой были для него самого творения Пушкина и Некрасова.

С тропы своей ни в чем не сступая,  
Не отступая — быть самим собой.  
Так со своей управиться судьбой,  
Чтоб в ней себя нашла судьба любая  
И чью-то душу •тпустила боль.

Без такого убеждения, без подобной определенности и значительности характера невозможно стать большим писателем, сказать свое слово в литературе. А такое дается далеко не каждому из пишущих, вернее — не многим. Счастье быть в числе тех немногих имел Александр Твардовский.

Мы часто говорим о новаторстве в поэзии. Многие, по моим наблюдениям, понимают под этим словом чисто внешние признаки. Некоторым кажется, что Маяковский, например, был новатором лишь потому, что впервые стал писать стихи лесенкой. Это очень наивно. Маяковский стал новатором не просто внешней структурой стиха, а сущностью и значимостью сказанного, новым революционным содержанием, тем, что сде-

лало его крупнейшим поэтом революции. Новизна формы в серьезном смысле слова имеет огромное значение, но еще большее значение имеет новизна содержания. Годы работы и размышлений, опыт привели меня к такому убеждению. А потому я считаю Твардовского выдающимся новатором, несмотря на то что он пользовался так называемым традиционным стихом. О традиционном стихе говорят часто, путая все, как будто в каждое десятилетие создается новый стих! Посмотрите повнимательнее, какие новые, своеобразные, неповторимые оттенки приобрел этот стих у Твардовского. Ни у кого не было тех интонаций, такого словаря, оттенков, образов, какие мы находим у него, не говоря о содержании. Все идет от его индивидуальности, все у него своеобразно, самобытно, пропущено через его большое сердце, все выношено, пережито, освещено светом его могучей души. И перед нами встает монолитный и цельный образ редкого художника, волшебного мастера слова. Мир его поэзии особый, как облик большой горы, похожей только на самое себя. Гора не нуждается в украшениях.

Мне за мою жизнь приходилось слышать чтение многих поэтов — больших и малых. Знаю, как подвывают и декламируют многие из них. В чтении Твардовского не было ни подвывания, ни декламации, он читал так же точно, как писал, так же просто, в лучшем значении слова, и естественно, проникновенно и чисто. Он пел народные песни так же. Те, кому не пришлось слушать его при жизни, могут проверить мою правоту или неправоту в суждении о манере чтения Твардовского, — пластинки, к счастью, остались. Давно сказано, что о вкусах не спорят. Поверим этому. Но что бы то ни было, манеру чтения Твардовского я считаю замечательной. Тут я также должен отметить глубочайшее чувство языка, убедительность интонации, пронзительную силу — при всей естественности.

Сказать, что автор «Василия Теркина» был новатором, не будет открытием. Открытием явилось само это произведение, потому что до него в поэзии не существо-

---

Эта статья является заключительной частью большой работы, которую автор начал еще при жизни Александра Твардовского.

вало подобного полотна о народе, который сражается за свою Родину, о советском воине. Не было такого образа, такого типа, как Теркин. Он встал в один ряд с крупнейшими образами русской классической литературы. Это незабываемый литературный тип, ставший всеми любимым, всем понятным. Не зря автор, заключая «Книгу про бойца», писал:

Пусть в какой-нибудь каптерке  
У кухонного крыльца  
Скажут в шутку: «Эй ты, Теркин!»—  
Про какого-то бойца...

Таким именно стал сразу же в суровые годы войны Теркин — народный тип, народный образ солдата. Твардовский писал о своей книге:

Мне она всех прочих боле  
Дорога, родна до слез,  
Как тот сын, что рос не в доле,  
А в годину бед и гроз...

Мы, бывшие фронтовики, помним, что «Книга про бойца» была нам «всех прочих боле дорога». Такую жизнь и всенародную славу приобретают только те книги, которые являются новым словом в литературе, значительнейшим словом, а потому и новаторским.

В заключительной главе «Василия Теркина» читаем:

Пусть читатель вероятный  
Скажет с книжкой в руке:  
— Вот стихи, а все понятно,  
Все на русском языке...

Эти строки цитировались в очень многих случаях. Я привожу их еще раз лишь для подтверждения того, что Твардовский имел право сказать так о всех своих произведениях. Простота, естественность, точность — вот его стиль, которому он оставался верен всю свою творческую жизнь. Речь идет, конечно, о той трудной и мудрой простоте, к которой стремится в конце концов всякий крупный талант, как это было, к примеру, с Пастернаком, а не о неуклюжей простоватости и примитивности. Я говорю о высшей прекрасной и завидной простоте, так трудно дающейся даже крупнейшим поэтам.

Лет двадцать назад Твардовский в одной из бесед с нами сказал, что надо писать так, чтобы тебя понимали и академик и доярка. Это было его убеждением. А то, что

и очень большой поэт может быть таким, он доказал своим творчеством.

Весьма любопытно высказывание Бунина о Твардовском. Он — один из волшебных мастеров русского слова, строгий ценитель произведений художественной литературы и суровый судья — писал Телешову из Парижа: «Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого, слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за Теркина». Как замечательно, что выдающийся и суровый мастер, очень скупой на похвалы, так лестно отозвался о другом суровом, молодом еще тогда мастере! А как хорошо, что опасение Бунина в отношении того, что Твардовский может остаться автором только одной книги такого уровня, не оправдалось. Это известно нам, читавшим «Дом у дороги», «За далью—даль» и другие вещи крупнейшего советского поэта.

Лирика Твардовского последнего десятилетия приобрела новые краски и грани, стала еще глубже и драматичней. Это легко ощутить и понять, прочитав хотя бы стихотворения «Памяти матери» и «Памяти Гагарина». Нельзя читать без настоящего волнения такие строки о матери:

И ей, бывало, виделась во сне  
Не столько дом и двор со всеми справками,  
А взгорок тот в родимой стороне  
С крестами над березами кудрявыми.

Такая-то краса и благодать,  
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.  
— Проснусь, проснусь, — рассказывала мать, —  
А за стеною — кладбище таежное...

Теперь над ней березы, хоть не те,  
Что снились за тайгой чуждедалнею.  
Досталось прописаться в тесноте  
На вечную квартиру коммунальную.

И не в обиде. И не все ль равно,  
Какою метой вечность сверху мечена.  
А тех берез кудрявых — их давно  
На свете нету. Сниться больше нечему.

На той же высоте поэзии и стихотворение о перевозчике-водогребщике, хотя оно и написано совсем в другом ключе, с его хватающим за сердце рефреном:

Перевези меня на ту сторону,  
Сторону — домой...

Подобные вещи создаются не часто. И в этих стихах Твардовского больше всего потрясают правда жизни, бесстрашная правда чувств поэта, подлинность, образность, богатство и чистота языка, его глубинная поэтическая мощь. В своей речи о Пушкине Твардовский сказал, что у великого русского поэта не мастерство, а волшебство. Волшебство присутствует и в творчестве самого Твардовского.

Эти заметки не воспоминания о поэте. Избавим его память от скороспелых литературных воспоминаний. Но все же я не могу не сказать о некоторых человеческих чертах Александра Трифоновича. Даже в обстановке обыкновенного застолья чаще всего получалось так, что все сказанное до него становилось каким-то незначительным, мелким украшательством после того, как начинал говорить Твардовский. Редкой силой таланта и ума было проникнуто все, что говорил он — большой человек, необыкновенный художник. В так трудно доступной правдивости во всем заключалась одна из сильнейших сторон его характера и обаяния. Только потому он имел право сказать:

Больше б мог, да было к спеху,  
Тем, однако, дорожи,  
Что, случалось, врал для смеху,  
Никогда не лгал для лжи.

Ах, как это трудно дается! Я не знаю, как другие воспринимали Твардовского, а по мне значительность во всем — вот одна из главных его черт. Он, крестьянский сын из Смоленщины, достиг такой высокой культуры, так знал литературу и искусство, что слушать его каждый раз было наслаждением. Все это, однако, совсем не значит, что я пытаюсь сделать из Твардовского святого. Не дай бог! Это было бы пустым и неблагодарным занятием, непростительным шагом. Он был не ангелом, а живым человеком среди живых. Он мощно трудился, радовался, ошибался, страдал, делал свое дело мастера, как говорится, на земле.

...Мне хочется сейчас напомнить, как

он относился к М. В. Исаковскому. Я могу назвать это отношение любовным и нежным. Он был признателен своему земляку не только как замечательному поэту, а помнил то внимание и поддержку, которые оказал Исаковский младшему собрату в начале его пути. Это еще один поучительный урок для всех нас и для всех тех, кто придет после нас, ибо всегда будут зрелые мастера литературы и начинающие писатели.

Вот еще один факт, подтверждающий то, как Твардовский относился ко всему талантливому. Один автор, не избалованный жизнью и успехом, передал Твардовскому свою рукопись о Пушкине. Прошло некоторое время, и молодой пушкинист попросил меня узнать, прочитал ли его рукопись Александр Трифонович и какое у него сложилось мнение. Я пришел к нему в редакцию. Когда я зашел в кабинет, он говорил по телефону. По содержанию разговора я понял, что он говорит с автором рукописи о Пушкине. Работа молодого литератора взволновала Твардовского своей талантливостью, он нашел его телефон и позвонил ему. Мое посредничество оказалось ненужным. Легко себе представить радость молодого литературоведа — он услышал похвалу Твардовского!

Все мы, кто пользовался благосклонностью Александра Трифоновича, каждый раз нетерпеливо ждали его мнения о наших скромных вещах. Так было и не только в отношении наших писаний, но во всех наших поступках, во всем нашем поведении. Мы думали: «А что скажет Твардовский?» Он был нашей поэтической совестью.

При его жизни я никогда не осмеливался называть себя учеником Твардовского, а когда его не стало, тем более не могу. Быть учеником такого человека — слишком большое дело. Кто бы осмелился, например, назвать себя учеником Гёте или Пушкина? Я также никогда не старался писать «под него», понимая бессмысленность подобных стараний. Но тут же хочу подчеркнуть, что его уроки и пример стали для меня большой, неоценимой школой. Учиться вовсе не значит повторять учителя, быть похожим на него. Ученики, похожие на учителя, а не на самих себя, обычно огорчают мастеров. Одно только то, что он жил среди нас, что мы имели счастье общаться с ним, слушать его, было замечательной школой для нас. А о той радости, которую испытывали мы оттого, что многие наши вещи проходили

через его руки и печатались под его редакцией, и говорить нечего.

Александр Твардовский был крепко скроен, и нам всегда казалось, что он создан для долгой жизни. Но эти наши впечатления и надежды обманули нас. Он ушел слишком рано. Он жил с достоинством и с достоинством встретил болезнь, свою роковую, неотвратимую беду, и до конца сохранил это достоинство. Для этого требуется большое мужество. Как это трудно! Но человеку положено стараться быть таким. Каждый раз, приезжая к нему, я видел, с какой тоской он смотрел на заснеженные березы и сосны за окном своей дачи зимой, на черную собаку, которая ходила по снегу, на зелень тех же берез летом. Несмотря на все муки и боль, все равно в его глазах оставался все тот же огромный ум и проникновенность, оставались все та же воля и мужество. В дни роковой болезни он был действительно похож на орла с перебитым крылом, который жаждет взлететь в небо, но не может. И такая была боль, такая тоска в его прозорливых глазах!

«Мы умираем, а искусство остается», — сказал Александр Блок. С людьми остается и поэзия Твардовского, как высокое искусство, как редкое и неповторимое явление

великой русской культуры. С живыми остаются его пример, его уроки.

Кому память, кому слава,  
Кому темная вода...

Судьба одарила его большой славой при жизни. Она не потускнеет и после смерти того, кто с таким достоинством нес ее бремя на своих крепких плечах. Он был из породы редких людей. Другим и не мог быть человек, создавший великие поэмы — эпос эпохи и свою драгоценную лирику. Он в полную меру узнал счастье быть истинно народным поэтом, быть нужным и необходимым для людей. Что мои рассуждения! Он сам об этом сказал так хорошо:

Смыли весны горький пепел  
Очагов, что грели нас.  
С кем я не был, с кем я не пил  
В первый раз, в последний раз...  
С кем я только не был дружен  
С первой встречи близ огня.

Невыразимо глубокою привязанность к жизни, к природе мы в полную меру ощущаем и в последних его стихах.

Свет своего сердца и ума, мужества и благородства, огонь своей великой поэзии он оставил людям навсегда.

## *Борис Полевой*

### В ДАЛЬНЕЙ ДАЛИ

Не помню почему, но весть о том, что в Сибири назрело интереснейшее событие — перекрытие великой реки Ангары у села Братска, — в редакцию опоздала, и мы с художником Орестом Верейским пропустили все рейсовые самолеты. Но нам сказали: возможно, ночью будет спецрейс. Возможно! И с вечера мы уже маялись у касс аэродрома, моля всех богов, чтобы это «возможно» стало фактом. Тут встретили мы еще одного товарища по несчастью, пражского корреспондента Иржи Плахетку. Истинный репортер, который, как говорится, всегда знал о пожаре еще до его возникновения, многозначительно сообщил, что с нами в Братск вылетает Твард.

— Твард?

— Ну да, Александр Твардовский. Не слышали?.. Летит, летит. Он сам мне об этом говорил.

Признаюсь, мы очень обрадовались. Орест Верейский всю войну провел вместе с Твардовским в редакции фронтовой газеты. Мы с Твардовским ходили тогда в секретарях Союза писателей, довольно часто встречались и после заседаний шли домой пешком и по дороге толковали по душам. Ну, а на войне я, разумеется, был яростным поклонником его «Василия Теркина»...

Объявили спецрейс. В очереди пассажиров, отлетающих на Иркутск, Твардов-

ского не оказалось. Девушка, выписывающая билеты, просмотрев список пассажиров, сказала:

— Александра Твардовского нет. Не значится. Зато с вами летит американский миллионер Аверел Гарриман. Устраивает?

Замена была неравноценной. Твардовского мы все трое любили и очень жалели, что он отстал. В те дни уже печатались главы его новой поэмы «За далью—даль». В поэме он как раз добрался до тех заповедных сибирских мест, где сейчас вот должна была зародиться крупнейшая по тем временам электростанция мира.

И так уж случилось, что первую часть рейса мы проговорили о Твардовском, о поистине всепокоряющей силе его поэзии, о том, как в творчестве его сейчас начинают сливаться традиции Некрасова и Пушкина. Верецкий, первым, еще во фронтовые времена, проиллюстрировавший «Теркина», с юмором рассказывал, как долго мучался он, ища графическое воплощение знаменитого русского солдата, как израсходовал массу листов на эскизы, прежде чем нашел живую модель... в лице знакомого политработника. Плахетка утверждал, что «Теркин» столь же бессмертен для русских, как «Бравый солдат Швейк» для чехов. Ну, а я вспоминал, как главы этой удивительной поэмы в дни ее постепенного рождения мгновенно распространялись из газеты «Красноармейская правда» по всем фронтам, как писалось в те дни — «от Белого до Черного моря», и как мой шофер и друг Петрович, сам в жизни представлявший собой сплав Швейка и Теркина со значительным преобладанием Швейка, по любому подходящему фронтовому случаю приводил из этой поэмы то шутку, то присказку, то остроумный солдатский анекдот. А однажды, когда машина наша провалилась под лед на реке Одер и сам он еле при этом спасся, извлеченный из воды пехотинцами, горько продекламировал:

Переправа, переправа!  
Берег левый, берег правый,  
Снег шершавый, кромка льда...  
Кому память, кому слава,  
Кому темная вода...

Несмотря на то что в Иркутске не нас, разумеется, а Аверела Гарримана со свитой ждал специальный самолет и в этот самолет погрузились и мы, — на перекрытие Анга-

ры мы все-таки опоздали. Прибыли в древнее село Братск, когда пойма Ангара была залита пестрой толпой и шло народное гулянье. На подъездах к мосту, по которому только что двигались вереницы самосвалов, обрушивавших в реку бетонные монолиты, груды песка и щебня, — пестрая человеческая кипень, загорелые девушки в цветастых платьях, парни в клетчатых рубашках, солидные строители, пришедшие сюда с женами и детьми полюбоваться покоренной рекой, порадоваться своей победе.

Плахетка с упорством трудолюбивой пчелы уже порхал в этой толпе со своим киноаппаратом, когда у меня за спиной раздалось веселое и насмешливое:

— Что, опоздал? Реку-то вот без тебя пришлось перекрывать.

Перед нами стоял улыбающийся Твардовский. Загорелый, посвежевший, с выгоревшим чубом, в клетчатой рубашке с закатанными рукавами, он был похож на строителя и совершенно сливался с веселой толпой. Оказывается, предупрежденный кем-то из своих бесчисленных почитателей, он прибыл сюда заблаговременно и теперь вот смотрел на нас со снисходительной насмешкой.

— Древние римляне говорили: опоздавшим кости, а здешние сибиряки скажут вам еще лучше: кто зевает, тот воду хлебает... Эх вы, короли-репортеры.

Еще в Иркутске, когда мы пересаживались на местный самолет, дежурный по аэродрому протянул догнавшую меня телеграмму: «Вечером передайте полосу репортажа с рисунками Верецкого, со стихами Твардовского». Признаться, мне как-то неудобно было подступать к поэту с такой просьбой. Знал ведь, что пишет он раздумчиво и это «срочно» может его, пожалуй, и обидеть. Но Твардовский даже не удивился. Согласно кивнул своей большой, лобастой головой, и, когда на тайгу, золотя верхушки лиственниц, ложились последние косые лучи заходящего солнца, иркутский корреспондент «Правды» Николай Печерский уже кричал в телефонную трубку, а я для верности дублировал на телеграфном бланке только что вышедшие из-под пера поэта строки. И сейчас вот, столько лет спустя, легко воспроизвожу по памяти строфу из этого стихотворения:

...Недвижны тяжкие ворота,  
За ними плес плененных вод.

Умолкла битва, но работа  
Вступает в новый свой черед.

И действительно, выглянув в запыленное окошко домика почтового отделения, фанерные стены которого содрогались, распираемые толпой корреспондентов, можно было видеть, что праздничная толпа будто растаяла и на помост эстакады, сотрясая тьму огнем фар, идет бесконечная очередь самосвалов. Работа вступила в свой черед.

Твардовский, человек в общем-то замкнутый, немногословный, известный среди братьев-писателей своим нелегким характером, мог показаться и мрачноватым. Но тут, на Ангаре, мы часто видели его среди строителей, в особенности среди пожилых, бывалых строителей, и он часами вел с ними неторопливые беседы. От предложения устроить в клубе вечер его стихов он наотрез отказался, даже обидев этим энтузиастов-организаторов. На наши попытки его убедить отвечал коротко, сердито: не надо, ни к чему, не хочу. А через день на палубе катера, который нес нас по Ангаре к островному колхозу, которому предстояло оказаться на дне будущего Братского моря, он без особых просьб и приглашений читал матросам главы из «За далью — даль». Читал и застенчиво спрашивал у них после каждого отрывка:

— Ну как, ребята, ничего? Получается?.. А вот еще послушайте...

Когда же Плахетка вознамерился занять это чтение, рассердился, повернулся к аппарату спиной и ушел. Потом опять вернулся к матросам, и снова зазвучали стихи. Это чтение чуть не окончилось для нас несчастьем, ибо увлеченный стихами рулевой зазевался и едва не посадил катер на мель.

А однажды, уже поздней ночью, мы поднялись на знаменитый, высокий, вознесенный над Ангарой утес Пурсей, увенчанный старыми корявыми соснами. Пришли, чтобы полюбоваться ночными видами гигантских развешивающихся на реке работ. И тут мы увидели Твардовского. Сидит один на скамейке в глубокой задумчивости. Вяло отреагировал на наше шумное появление. В разговоре участия не принял, продолжал отчужденно смотреть вниз, на посеребренные луной крутые берега реки, на шубу таежных чащ, темной массой подступавших к самой воде, на жиденькие

огоньки села, еле различимые в соседстве с нервным полыханьем огней стройки. И вдруг сказал:

— И дружинники Ермака это видели. И протопоп Аввакум, когда его везли в Братский острожек, видел. А скоро вот ничего этого не будет. И утеса этого не будет, и скамейки этой не будет. Вода, сплошная вода... Знаете, грустно как-то все-таки.

На острове, которому предстояло оказаться на дне будущего моря, мы долго ходили по остаткам длинной колхозной улицы. Колхоз уже переселялся на новые, удобные места. Большинство дворов были пустыми. Это были удивительные дворы. Избы, рубленные из бревен в два обхвата. Усадьбы, огороженные высокими заборами. Крепкие чуланы, амбары, навесы для сушки рыбы — целый жилой комплекс, включающий и курную баньку, все добротное, будто литое, век простоявшее.

Молодые ребята из плотничьей бригады разбирали дворы. Грузили бревна на машины, перевозили на новое место, где уже росла новая усадьба, усадьба городского типа, возводимая по чертежам, добытым энергичным председателем на сельскохозяйственной выставке.

— Не жалко? — спросил Твардовский русоволосого парня, по-видимому бригадира, который легко, будто играя огромной вагой, поднимал очередной венец.

— Чего? — не понял тот.

— Ну вот, разбираете дом, чай, родились тут... Переедете, не будете скучать?

— А по чем скучать-то? По комарам да мошке? По лягушкам? На новом месте раздолье — и поля и выпасы, не придется коров на лодках переправлять.

— И все так думают?

— Ну за всех не скажу, может, кто и жалеет... Бабы вон жаловались, женщины-колхозницы то есть. Могилки тут родные, деды-прадеды похоронены... А так чего жалеть?

Твардовский вздохнул, а мне вдруг вспомнился герой из «Страны Муравии» Никита Моргунок, странствующий по охваченной пламенем первых пятилеток стране в поисках тихого мужицкого рая с мечтой зажить когда-нибудь по-настоящему, «своим двором». Эти колхозные ребята из плотничьей бригады могли быть даже не детьми, а внуками Никиты Моргунка, и мне показалось, что создателю этой поэмы о победах колхозного строя было все-таки грустно

оттого, что они так бездумно расстаются со своим, обжитым их предками, островом.

На следующий день мы осматривали уже новую, перевезенную на материк часть деревни, где с помощью строителей Братска поднялись вдоль улицы дома, сельский клуб, школа, детские ясли и детский сад. Улица была почти готова, и даже молоденькие рябинки покачивались вдоль тротуаров на своих тоненьких станах. Мы пришли в дом к председателю правления этого колхоза. Нас посадили ужинать, и ужин был веселый, с гармошкой, с плясом. Твардовский как-то незаметно исчез с отцом председателя, который когда-то, как нам сказали, был вожаком известного в этих краях партизанского отряда. Они отсутствовали весь вечер. Пропустили и патриаршую уху, и великолепные пельмени «из трех мяс» — бараньего, говяжьего и медвежьего, а когда вновь появились, мы усаживались уже на вездеходы.

— Посмотри как следует на этого старика.

Я посмотрел. Старик стоял прямой, худощавый, крепкий. Ватник, туго пережатый ремнем, оттенял прямо-таки мальчишескую талию.

— Красный партизан. Сибирь у Колчака отбивал. Часы от Иркутского облизполкома имеет «За отличную храбрость и верное служение пролетарской революции». Больше двадцати убитых медведей у него на совести, а сейчас вот с колхозной пасеки центнерами мед берет.

А потом, когда вдаль показались бесконечные россыпи огней стройки, Твардовский вдруг добавил:

— А сейчас знаешь чем тот старик занимается в свободное от пасеки время? В омшанике гроб себе строит. Да, да. Из листовенных досок. Крышку уж сколотил.

Мы задержались в Братске, а Твардовский раньше нас уехал в Иркутск пароходом.

— Ничего путного вы с самолета не увидите, — сказал он нам на прощание и насмешливо добавил: — Туристы... На пароходе хорошенькие стюардессы леденчиками не кормят, зато с настоящими людьми познакомлюсь, Сибирь погляжу, ее с неба-то не увидишь, Сибирь.

В Иркутске на аэродроме встретил нас незнакомый человек и сказал, что в гостинице нам устраиваться не надо, что ждет нас к себе прямо к ужину известный сибирский

писатель Франц Николаевич Таурин, как раз тот самый Таурин, хороший роман которого «Ангара» мы все перед отъездом в Братск основательно перечитали. Таурин жил в городке строителей уже известной тогда Иркутской ГЭС, которая вступила в строй, опередив Братскую. Мы припоздали, и ужин был в самом разгаре. Твардовский, совершенно преображенный, при галстук и манжетах, был в ударе.

— Опять опоздали, не солидно, товарищи, не солидно. Нетерпеливый, медлительный пошел нынче газетчик. Опять вот к шапочному разбору прибыли...

Во время этого ужина произошел такой очень памятный для меня инцидент. Знаменитый гидростроитель пересел ко мне и, переходя на «ты», вдруг спросил:

— Не узнаешь меня?

Я начал что-то мылить: дескать, какжется, встречал на конференции сторонников мира или на сессии Верховного Совета. Он с досадой сказал: «Эх, ты». Поднял русую прядь, закрывавшую лоб. И опять повторил: «Эх, ты». На высоком загорелом лбу его был отчетливо виден старый полукруглый шрам. И по шраму этому я вдруг признал в знаменитом инженере друга моих комсомольских лет, с которым в Твери мы состояли в одной ячейке и даже, признаюсь, ухаживали за одной девушкой, причем старались по мере сил не ревновать друг к другу, ибо ревность по тем временам была чувством для комсомольца недостойным.

— Андрей!

— Борька!

Мы обнялись, и больше всех радовался этой встрече Твардовский: вот это да, какой сюжет, не сразу и поверишь. А когда Бочкин предложил нам поехать на Байкал на ночную рыбалку, Твардовский с тем же шумноватым энтузиазмом поддержал эту мысль. Повторяю, он был совершенно необычен в этот день: смеялся, шутил, охотно читал стихи, и свои и чужие. А когда по пути на великое озеро, до которого было рукой подать, мы не очень стройно, диковатыми голосами затянули «Славное море, священный Байкал», он шутливо сказал: «Да не ревите вы, как медведи весной» — и принялся дирижировать нестройным нашим хором.

Все мы оказались рыбаками ничтожными. Зря промахали удочками с час. А вот гидростроителю подвезло, и уха, приготов-

ленная по какому-то особому, сибирскому, известному Таурину рецепту, оказалась необыкновенно наваристой. Прямо с костра в закоптелом ведре, на обгорелой палке внесли мы ее в дощатый домик, где ютились гидрологи ГЭС, и стали хлебать деревянными ложками из большого таза. Тихо открылась дверь, и бесшумно вошла девушка-гидролог. Она пришла прямо из тайги. За плечом у нее висел карабин, а в руках был букет, нет, не букет, а охапка тех луговых цветов, что носят в Сибири поэтическое название жарки. Болотные сапоги ее хранили следы ночной росы. Мы подвинулись и пригласили ее к столу, но она наотрез отказалась. Сунула свои жарки в большую банку из-под консервов, поставила на окно, а сама села в дальнем углу и притихла, уставившись на Твардовского большими голубыми глазами.

Уговаривали ее, звали, не подошла. Так в уголке и просидела над какой-то тетрадкой до конца шумной нашей трапезы. И Твардовский с ее появлением тоже как-

то сразу изменился. Примолк. Замкнулся, уйдя в себя. А когда стали прощаться, он бережно и почтительно поцеловал руку этого маленького гидролога.

— Заметили, как пахнут ее цветы? Какой-то странный, не луговой, какой-то задумчивый запах,— сказал он.

Промолчал всю дорогу. А когда машина бежала через Ангару по гребню плотины, точно продолжая разговор, сказал:

— А нелегко ей, наверно, такой маленькой, хрупкой, одной среди мужичья... Карабин за спиной носит, чудака. От кого и от чего защитит ее этот карабин...

Под утро мы были уже на аэродроме, и с зарей самолет понес нас в Москву, где, преодолев тысячи километров, мы должны были приземлиться тоже утром. Утром того же дня. А в полдень Франц Николаевич Таурин посадил Твардовского на хабаровский экспресс. Из Сибирской дали поэт отправлялся в даль тихоокеанскую на самый восточный край советской земли, и ехал он туда не в мягком вагоне.

## *Сергей Залыгин*

### ИЗ ГЛУБИНЫ РОССИИ

Поэзия, созданная им, такова, что порою кажется, будто ее и вовсе нет, а есть только смысл того, о чем он говорит. Кажется, будто он низводит поэзию до черно-рабочего состояния, что умышленно и вопреки ее желанию не позволяет ей приодеться хотя бы в самый скромный наряд из ее необозримо богатого гардероба, украсить одним из ее прекрасных ожерелий, воспользоваться каким-нибудь из тех бесчисленных па, реверансов и жестов, которыми ее так долго обучали.

И лишь после того, когда поэзия беспрекословно выполняла волю человека — этого человека, — она могла вдруг почувствовать его любовь к себе, бесконечно нежную, отеческую и даже сыновнюю. И как бы вместе с нею, с самой поэзией, эту удивительную, почти небывалую любовь, прислушавшись, можем почувствовать и мы, читатели, можем понять, какой искренней взаимностью отвечает поэзия своему поэту.

Из самых глубин русского народа, из самой сути навсегда памятного для истории его духовного развития XIX века, заимствовал он свой гений и принес его в наш век и в наши дни, и соединил его нерасторжимыми узами с нами, с самыми грандиозными и значительными событиями современности, и открыл нас в нас самих.

Эти события — коллективизация, Великая Отечественная война, годы послевоенного строительства. Поэт говорит обо всем этом в «Стране Муравии», в «Василии Теркине», в «За далью — даль», в стихах «Из лирики этих лет».

Это он тот необычайный новатор, который обходится без традиционного новаторства: не создает ни новых слов, ни словообразований, не подхватывает жаргон, чтобы ввести его в литературу, зато возрождает слово, давным-давно существующее, казалось бы, устаревшее, отслужившее свою



службу и в сознании этого ушедшее на покой.

Он делает это доверием к родному слову, нагружая его такой ношей смысла, которую, кажется, оно ни раньше, в своей молодости, ни тем более теперь не в состоянии выдержать. Как будто и само-то слово не сразу верит этой неизведанной им собственной силе и способности, как будто и оно тоже радостно и тревожно недоумевает: «Выдержу ли?» — и отвечает: «Выдержу! Выдерживают!»

И вот уже возникает из этого почти немислимого и в то же время такого несказанно красивого родною красотой словесного усилия какой-то человек, какой-то подлинно народный образ — то ли Моргунок, то ли Василий Теркин, первый в истории русской литературы национальный и народный герой, положительный герой, солдат всем солдатам, защитник всем защитникам Отечества и человек всем людям...

Твардовский показал нам, как школа русской классической поэзии способна действовать и действует сегодня, в наши дни, причем в те именно дни, которые являются тяжким испытанием народа.

На войне, как на привале,  
Отдыхали про запас,  
Жили, «Теркина» читали  
На досуге...

Вдруг — приказ...

Когда еще и какой писатель, едва закончив первую часть своего произведения, в начале второй уже имел право и возможность вот так же говорить с читателем о своем герое? Так же быть уверенным, что если читатель жив, — значит, его читает? Говорить с читателем многомиллионным, воюющим не на жизнь, а на смерть, у которого не так уж и много было литературных интересов, но была потребность и необходимость осмыслить себя, себя самого через литературу?

Мы считали уже ушедшим, до конца выполнившим свое назначение тот почти что разговорный, как будто нарочито непритязательный, слегка иронический и повседневный язык, которым написан «Теркин», но мы ошиблись: когда поэзия захотела исполнить свою историческую роль, она обратилась именно к этому языку.

При этом она еще раз доказала, что новаторство состоит не только в изысканиях

совершенно новых форм, новых слов и словосочетаний, но и в возрождении формы и слова, казалось бы, давно ушедших, «слишком» традиционных.

Здесь действительно традиционно все — простота и непосредственность, с которой автор вступает в общение с читателем:

Пусть читатель вероятный  
Скажет с книжкою в руке:  
— Вот стихи, а все понятно,  
Все на русском языке...—

отсутствие сюжета и наличие почти «обыкновенного» бытописания войны:

Повесть памятной години,  
Эту книгу про бойца,  
Я и начал с середины  
И закончил без конца.

Полная очевидность задачи, которую ставит перед собой автор, и такая же очевидность адресата, к которому он обращается:

Я мечтал о сущем чуде:  
Чтоб от выдумки моей  
На войне живущим людям  
Было, может быть, теплей.

Нельзя даже угадать, кто и кого нашел: поэт ли нашел эти единственные для себя и для исполнения своей необыкновенной задачи художнические средства, или поэзия нашла своего единственного поэта, чтобы сказать то, что она обязана была сказать:

На войне живущим...  
...может быть...

При всем величии русской классики оказалось, что в войну 1941—1945 годов из нее некого призвать в окопы, да еще в качестве рядового.

Классика создала удивительные образы певцов, людей из народа необыкновенного нравственного облика, но не Платон же Каратаев, в самом деле, мог стать этим призванным?

Он, пожалуй, не выполнил бы этой задачи и в свое время, в 1812 году, как ни говорить, а ведь «Война и мир» — это роман прежде всего мирного времени, и его герои, а тем более его автор, уже не столько воюют, сколько осмысливают войну.

Для Толстого год 1812-й был историей, для него не существовало вполне реальных вопросов: кто — кого? жить — не жить?

победить или быть побежденным? А если бы все эти вопросы стояли перед ним, вряд ли Толстой позволил себе написать Каратаева таким, каким он его написал в 1860-е годы. Быть может, «Теркин» еще не исчерпал этот образ — русский человек на войне. Но все равно вот так живет традиция сегодня: она не только возрождается, она ис-

полняет и то, что оказалось не по плечу никому другому, исполняет задачу, оставшуюся невыполненной ею же самой целый век или больше тому назад.

Да, много тайн несет в себе поэзия Твардовского, и прежде всего по причине своей необыкновенной ясности в этом далеко не простом, в этом очень сложном веке.

## Анатолий Жигулин

### «СЛЕЗАМ НУЖНО ВЕРИТЬ...»

В сентябре 1961 года в Воронежское отделение Союза писателей на имя критика Анатолия Михайловича Абрамова пришла телеграмма: «НАПИШИТЕ ДЛЯ НОВОГО МИРА РЕЦЕНЗИЮ НА КОСТЕР ЖИГУЛИНА ЗПТ ПЕРЕДАЙТЕ АВТОРУ МОЮ ПРОСЬБУ ПРИСЫЛАТЬ НОВЫЕ СТИХИ — ТВАРДОВСКИЙ».

Нечего и говорить, сколь радостно было для меня содержание телеграммы. Речь шла о том, что вышедшей тогда в Воронеже моей книге «Костер-человек». Стихи я послал по почте, а 4 ноября сам приехал в Москву и пришел в редакцию журнала. Только что закончился XXII съезд КПСС. Твардовский был в связи с этим очень занят, спешил, как мне сказали, на какое-то важное совещание, но, узнав, что я приехал из Воронежа, принял меня. Первые слова Твардовского меня несколько удивили. Он внимательно присмотрелся ко мне и сказал:

— Вид у вас болезненный, но глаза веселые, живые. Верю, что вы выздоровеете!

Уже после я сообразил, что это, вероятно, Абрамов писал Твардовскому о моей болезни. Александр Трифонович попросил меня рассказать о себе, заинтересовался подробностями моей трудовой биографии. Читая стихотворение «Хлеб», в котором говорилось о работе на лесосеке, он спросил:

— А что, действительно была такая норма — двадцать кубометров?

Я объяснил, что норма выработки при валке леса зависит от многих условий: от диаметра и породы деревьев, от пилы (лучковая или двуручная) и даже от погоды.

— А вот у вас строка: «Под крики «бойся», брань и смех...» Что это значит — «бойся»?

Я объяснил, что так кричат вальщики при падении дерева, чтобы предупредить об опасности. Твардовский несколько раз повторил, как бы удивляясь непривычному оттенку слова:

— Гм... Бойся!.. Бойся!.. Это слово хорошо бы поставить в конце строки!

Читая «Полярные цветы», Твардовский отчеркнул строфу:

И разóm ахнули ребята,  
Нажал водитель на педаль:  
Была светла и розовата  
От тех цветов глухая даль.

— Не мне об этом говорить, — сказал он, — но это же Твардовский!..

Читая стихи, Александр Трифонович удивительно точно и сразу находил в них места, где хоть в малейшей степени нарушалась гармония, где стихотворная строка не соответствовала естественному движению внутреннего чувства. В моем стихотворении «Земля» рассказывалось о рытье котлована, об упорном сопротивлении земли, скованной мерзлотой. «Мы сначала снимали твой снежный покров. Кисти мерзлой брусники алели, как кровь. Корни сосен рубили потом топором, и тебя обжигали горячим костром...» Начальный вариант заканчивался так:

Наконец ты сдавалась,  
Дымясь и скорбя.  
Мы ведь люди, земля!  
Мы сильнее тебя.

Ты обиду на нас  
В глубине не таи:  
Мы ведь люди, земля,  
Мы ведь дети твои.

Стихотворение Твардовскому понравилось, но последнюю строфу он удалил беспощадно:

— Это нехорошо! Если вы дети, то земля — мать. А вы ее били-колотили, жгли костром. Да еще после этого говорите: не обижайся, мол, на нас — мы ведь твои дети!

Говорят, Твардовский в жизни бывал порою суров и даже резок, в частности в отношении к молодым поэтам. Допускаю, что в этом есть небольшая доля истины, идущая от высоких требований поэта к стихам. Но мне всегда открывался в нем прежде всего человек добрый, участливый, готовый помочь. Сейчас понимаю, как много значили для меня даже нечастые общения с Твардовским — и для моего творчества, и даже — не побоюсь сказать — для окончательного формирования моего мировоззрения. Не говоря уж о самом прямом участии Твардовского в моей судьбе (он хлопотал об устройстве меня в московскую больницу, звонил хирургу, который меня оперировал).

Для понимания одной очень важной, а может быть, и главной черты Твардовского (и человека, и поэта) значителен, на мой взгляд, следующий эпизод. В одну из встреч я показал ему свое стихотворение, в котором обыгрывалась старинная поговорка «Москва слезам не верит». В стихах говорилось о нелегких жизненных испытаниях, об их преодолении. Заканчивались они словами:

Я сам теперь не верю в слезы.  
Я верю в мужество людей!

Стихи понравились Твардовскому — деталями и эмоциональным напряжением, но лобовое окончание его не устроило:

— Перепишите конец! Сделайте его теплее, тоньше, человечнее. Знаю, что это трудно, но попробуйте раскалить, распла-

вить себя до того состояния, в котором писали... Зачем эта твердокаменность — «не верю в слезы»! Слезам нужно верить...

Стихи я переписал. Они были приняты в журнал. Нынче, перечитывая Твардовского и вспоминая этот разговор, я особенно ощущаю важное свойство его лирики: обостренное чувство совести, чувство долга и какой-то необыкновенной сопричастности к чужой боли.

Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны.  
В том, что они — кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь —  
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Сколько здесь подлинного, щемящего человеческого чувства, в этих удивительных словах, в этих «все же, все же, все же»! Здесь — сама обнаженная душа.

Есть у Твардовского замечательный, пронзающий сердце цикл стихов, посвященный памяти матери. В одно из этих стихотворений вкраплены слова старинной народной песни. Всё-то было чужое в далекой тайге.

В том краю леса темнее,  
Зимы дольше и лютей.  
Даже снег визжал больнее  
Под полозьями саней.  
Но была, пускай не пета,  
Песня в памяти жива.  
Были эти на край света  
Завезенные слова.  
Перевозчик-водогребщик,  
Парень молодой,  
Перевези меня на ту сторону,  
Страну — домой...

Все-то было чужое. А вот песня — родная была! И она помогла людям. В песне-то была душа народная. Вот эта бессмертная, вечная душа народа живет и в стихах Твардовского. Это и делает его подлинно народным, великим поэтом.

## Евгений Евтушенко

### «КАК БУДТО ЭТО Я ЛЕЖУ...»

В Хайфонском порту советские корабли обычно стоят еще долго после разгрузки — дожидаясь следующих наших кораблей.

Там, на борту одесского сухогруза «Мачеста», где на вечере поэзии собрались моряки со всех пришвартовавшихся наших

судов, мы узнали о смерти Александра Твардовского. Эта весть прорвалась сквозь радиосообщения о событиях в Пакистане, сквозь гремевшие где-то неподалеку взрывы американских бомб.

Мы, не чокаясь, помянули чаркой водки

ушедшего от нас поэта, послали его семье радиogramму от имени всего экипажа: «Глубоко скорбим вместе с Вами о кончине большого поэта, большого человека».

«...большого поэта, большого человека». Не тавтология ли это? Нет.

Твардовский был большим человеком не только в поэзии, но и за ее пределами. В этом — двуединое значение его личности.

Поэзию он любил мучительно, как и людей. Боялся красотой, напыщенной риторикой, неточности. Копал глубоко, а не поверху. Иногда долбил по непробивному граниту, так что ломался черенок лопаты. Сказал однажды: «Наше дело — старательское. Блеснуло золотце сверху, не успокаивайся, продавливайся до жилы. А то сдашься, бросишь, на новое место перейдешь, а на старом месте до главного золота всего-навсего сантиметр оставался». Он был действительно поэт, не хватающий самородки с поверхности, а продавливающийся до жилы, как Никита Моргунок до смысла жизни.

Уже в замечательном переплесе из «Страны Муравии» можно было угадать поэтические элементы, необходимые для создания подлинно народной поэмы. И такой момент пришел. Великая Отечественная война, давшая писателям небывалое чистое чувство единения с народом, помогла Твардовскому приложить свое профессиональное мастерство к бесспорно справедливому делу. «Василий Теркин» явился подлинно народной энциклопедией войны. Теркин — это не разновидность Платона Каратаева, — это живая русская душа, варенная во многих кипятках и все-таки выскакивающая из любых котлов в шапке набекрень, да еще и с прибауткой. Теркин умнее и живучее Каратаева, потому что старше его на огромный исторический опыт, который усвоил своим крестьянским хребтом.

Еще и впредь мне будет трудно,  
но чтобы страшно — никогда.

Эти строки из позднего лирического стихотворения Твардовского вполне мог бы сказать Теркин о самом себе.

А то, что иногда говорит Теркин от своего солдатского лица, звучит как монолог самого автора, старающегося выглядеть чуть простоватей, чем он есть на самом деле:

Я не так еще сказал бы —  
про себя поберегу.  
Я не так еще сыграл бы —  
жаль, что лучше не могу.

Это не натянутое отождествление Теркина с автором — Теркин ведь ни Ахматовой не читал, ни Бунина, о которых автор написал прекрасные статьи, — это взаимопереливание крови в трудный момент от героя к автору и от автора к герою.

Твардовский не раз говорил, что уважает тех поэтов, которых читают те, кто обычно стихов не читает. В таком случае он мог быть счастлив, «Теркина» читали все. Это был тот уникальный случай, когда литературное произведение оказалось ни слишком сложным для не подготовленных к поэзии людей, ни слишком упрощенным для людей, съевших, как говорится, собаку в поэзии. В этой народной эпосе нет ни одного миллиграмма фальши — потому что ариадниной нитью в лабиринте войны для Твардовского был характер подлинного ее героя — русского солдата.

В поэме «Дом у дороги», ища единственно точного выражения чувств вернувшихся солдат, Твардовский опять возвращается к народному:

Коси, коса, пока роса.  
Роса долой, и мы домой.

Но вот, «крясь дымкой, он уходит вдаль, заполненный товарищами берег». Жизнь приносит новые потрясения. Потрясения приводят к переосмыслению пройденного пути.

Так рождается тема «За далью — даль».

Признак слабости — любую вину возлагать на других. Признак силы — найти вину в самом себе. Именно это помогает Твардовскому написать разоблачительный образ не какого-либо обобщенного внешнего редактора, а обобщенный образ редактора внутреннего. «Ты — лень моя, ты — сон дурной», — пишет Твардовский, невольно перекликаясь с Пастернаком. «И тот же нравственный тупик при встрече с умственной ленью». Только ли в лени дело? — можно задать вопрос. Но умственная лень порождена часто ленью моральной, а эта лень — понятие весьма широкое, включающее в себя и трусость, и равнодушие.

Люди забывают часто простую истину, что все они смертны. Они хотят отгородиться от сознания своей смертности суетой, а ведь мысль о смерти должна не пугать, а облагораживать. Есть два отношения к смерти. Первое: все равно умрешь. Хватай, что можешь! Второе: все равно умрешь. Сделай, что можешь! Твардовский зовет в

поэме «За далью — даль» именно ко второму пути. Собственно говоря, и смерть для тех, кто сделал все, что мог, это тоже та даль, за которой есть «своя, иная даль» — которая, может быть, зовется «бессмертие».

У меня есть несколько любимых стихотворений мировой поэзии. Это «Я вас любил...» Пушкина, «Наедине с тобою, брат» Лермонтова, «Девушка пела в церковном хоре» Блока, «О, если б знал, что так бывает» Пастернака, «Завещание» Вийона, «Мэри Глостер» Киплинга и среди них одно стихотворение Твардовского:

Из записной потертой книжки  
Две строчки о бойце парнишке,  
Что был в сороковом году  
Убит в Финляндии на льду...  
Среди большой войны жестокой,  
С чего — ума не приложу —  
Мне жалко той судьбы далекой,  
Как будто мертвый, одинокий,  
Как будто это я лежу —  
Примерзший, маленький, убитый,  
На той войне незначимый,  
Забытый, маленький, лежу...

В этом стихотворении проявилось одно из ценнейших качеств Твардовского — умение почувствовать себя не только собой, но и кем-то другим. «Как будто это я лежу» — не просто стихотворная строчка, а принцип отношения поэта к жизни. В стихотворении «Поездка в Загорье» есть такие строки:

Пели женщины вместе,  
И Петровна — одна,  
И была ее песня —  
Старина-старина.  
И она ее пела,  
Край платка теребя,  
Словно что-то хотела  
Горе взять на себя.

Да, поэзия в понимании Твардовского должна быть и такой Петровной, которая хочет взять на себя что-то горе.

Мне посчастливилось знать Твардовского лично. Человек он был трудный. Но «простим угрюмство...». То, что казалось нетерпимостью, на самом деле было высокой требовательностью. У меня хранятся его пометки на моих мальчишеских стихах сорок восьмого года. Напротив строчек «Здесь до краев лукошко неба набито ягодами звезд» размашисто запечатлено: «Архискверно». Он разговаривал о стихах без редакторской дипломатии, подчеркнуто резко. Однажды он чуть не довел меня до слез, вылив ушат холодной воды на мою

голову в присутствии всей редколлегии. «Что вы все о себе да о себе пишете!» Его понимание поэзии не выносило того, что хоть немного походило на «ячество». Этим, на мой взгляд, он обеднял свою поэзию. Но такой он был человек, такой он был поэт, и даже его односторонность была свидетельством цельности характера. Я не всегда соглашался с ним, но, честно говоря, побаивался его. А это полезнейшее чувство для молодого поэта — побаиваться хотя бы чьего-то профессионального сурового слова.

Мне еще сорока не стукнуло, а уже столько дорогих могил за плечами. Конечно, все эти люди живут во мне, но все-таки даже самая благоговейная память об ушедших не заменит их земного присутствия...

Первым большим поэтом, которого я лично знал и потерял, был Луговской — зычный «бровеносец советской поэзии», как шутили его друзья, монументальный и в то же время беззащитный, безобидно фанфаронистый и подкупающе доброжелательный. Перед его гробом я никак не мог уяснить, что больше не услышу его раскатистого самозаслушающегося голоса, не увижу его седых бровей, реявших, как седые чайки, над барельефным лицом.

Потом — смерть Пастернака. Незадолго до кончины он сказал мне: «Мой вам совет: никогда не предсказывайте в стихах свою трагическую смерть. Сила слова такова, что, предсказав, вы сами логически подведете себя к предсказанному. Подумайте, сколько в русской поэзии было несчастий от самопредсказаний. Создайте счастливый прецедент».

Потеря Светлова, озарявшего своей улыбкой мою поэтическую юность. «Некоторые поэты напоминают мне паровозы, которые вместо того, чтобы тратить пар на движение, тратят его на свистки», — говорил он.

Смерть Хикмета — благороднейшего Назыма, всегда болевшего душой за тех, кому трудно. Неожиданно звонил: «Слушай, брат, — я тут получил уйму денег. Тебе не нужно? Правда, не нужно? А может быть, знаешь тех, кому нужно?»

Смерть Ксюши Некрасовой...

Смерть Заболоцкого — замкнутого и верного рыцаря поэзии: «Отзвенит и погаснет ракета, потускнеют огней вороха. Вечно светит лишь сердце поэта в целомудренной

бездне стиха». Без его дисциплинирующего физического присутствия анархия формы в поэзии чувствует себя еще безнаказанней.

Смерть Яшина — чистого, упрямого вождя с неистовыми раскольничьими глазами. Яшина нет, и уже не обопрешься о его товарищескую руку.

И вот — Твардовский.

Там, во Вьетнаме, чувствуя себя в очереди у его гроба, я еще раз задумался о жизни «великой под знаком понесенных утрат». Я думал о том, что мы не имеем права

чувствовать себя безответственными перед взорами тех, кто смотрит на нас из вечности. Только это чувство духовной зависимости и связи может вырастить из нас воспитателей приходящей в литературу молодежи. Твардовский любил повторять слова: «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?»

А сознание ответственности перед народом возникает в поэте только тогда, когда, оглянувшись назад и увидев на многострадальной земле нашей не занесенные никакими выюгами тела стольких павших, поэт может сказать: «Как будто это я лежу...»

## Константин Ваншенкин

### ПИСЬМО ТВАРДОВСКОГО

Это одно из самых значительных писем, полученных мною в жизни, и вообще это замечательное письмо. Полагаю, что оно сыграло немалую роль в моей судьбе. Вероятно, я получил его в самый нужный момент, не позднее, чем следовало. Оно заставило остановиться, задуматься, помогло посмотреть на себя со стороны.

Конечно, я никогда не предполагал публиковать это давнее, личное письмо, но, став старше и опытней, я увидел, что оно может быть полезно не только мне одному. Это ответ на отправленную Александру Трифоновичу мою новую книжку стихов «Волны», вышедшую в самом конце 1957 года.

«Ялта, 24.1.58.

Дорогой Константин Яковлевич!

Книжку получил, прочел всю подряд, хотя многое знал ранее. Должен сказать, что в ней *просто нет плохих стихов*<sup>1</sup>, — в самом мимоходном стихотворении — то зоркость глаза, то мысль, то оборот, — что-нибудь — да есть. Словом, что же мне Вам говорить о том, что Вы человек талантливый, думающий, наблюдательный остро, живущий с натуральным вкусом к жизни. Это все так. И книжка, как таковая и в целом, хороша, ее будут хвалить с полным основанием. Моя ложка дегтя в бочке всеобщего (и моего тоже) признания за Вами всего того хорошего, что на-лицо, — эта ложка будет только в одном предупреждении, на которое мне дает право возраст. Вот у Вас такой продуктивный 56 год, которым помечено большинство стихотворений (кстати, зачем такой разноречивый в датировании — 56 — 54 — 57 — 55 и т. п.?), но я не нашел, чтобы эта продуктивность была в плане и духе некоей *генеральной думы*, одержимости каким-то чувством, задачей, поиском, — нет, всего понемногу, но в основном та же очень приятная (покамест!) любовь ко всем житейским цветам и оттенкам, *готовность отозваться на все*, что идет в душу: на снег,

<sup>1</sup> Здесь и далее подчеркнуто Твардовским. — К. В.

на дождь, на прочитанную книгу, прослушанную песенку, подмеченную подробность той или иной картины,— и отозваться хорошо, выразительно, но уже, простите меня, с *некоторой набитостью руки* в малых секретах изготовления «вещиц», не плохих, даже хороших, но все уже на один покрой. Происходит это еще от молодости, от того, что, м. б., еще «вошь не кусала за потылицу» — не в буквальном, конечно, смысле. Но и вошь может укусить, а м. б., и кусала в личном плане, но когда она укусит в плане более *объективном*, будет другое дело. Один год можно посвятить, как своеобразному дневнику, таким «вещицам»-записям, но дальше — или Вы уже не захотите продолжать эти записи,— тогда — *вперед*, или же научитесь еще тонкостней и изящней их выполнять, заносить в тетрадь,— тогда дело *хуже*.

Поверьте мне, я не каркаю, но очень хочу не умиляться, а чтобы у меня *дух захватило*. Впрочем, все это отношу к Вам именно потому только, что считаю Вас *безусловно* самым талантливым из Ваших лит. сверстников.

Кое-что я почеркал, подметил, но поздно,— лень это переносить в письмо,— увидимся как-нибудь — могу провести Вас по этой книжке, которую, повторяю, прочел с удовольствием.

Желаю Вам всяческого добра.

А. Т в а р д о в с к и й.

И ниже — две разбившиеся капли чая.

Я тогда не бывал в Ялте, но теперь-то очень ясно представляю, как и где он писал это письмо, зимним поздним вечером, а внизу, за окнами,— город и невидимое в темноте море. Как наутро он неторопливым шагом спускался в город, держа письмо в руке, и опустил его на набережной в ящик.

Это письмо дисциплинировало меня, подсказало и подтвердило, что нужно быть безжалостным к себе,— только так можно чего-то добиться. При взгляде на себя тогдашнего я вижу теперь, что у меня был некий основной стержень, на котором все держалось, но он не слишком просматривался, часто его заслоняло случайное. Мне кажется, что я уже сам тогда, как мог, избавлялся от своих недостатков, от верно подмеченной Твардовским некоторой всеядности, неразборчивости. Конечно, лишь по совету со стороны это не сбросишь. Иначе все было бы очень просто. Важно органически, мучительно пережить это и стать другим, оставшись собой. Так молодой организм в одиночку борется с болезнью и нередко побеждает ее. Но прекрасно, когда ему вовремя приходят на помощь могущественные, редкостные и не слишком легкие препараты.

Его письмо было исключительно уместным дополнительным толчком, придавшим мне новые силы. В этом весь Твардовский. В постоянном ощущении важности, серьезности, незрелости выбранного дела, в обязательном требовании того же от других.

# НА ПОРОГЕ







# ЗВЕЗДА ЛЮДЕЙ

От счастья счастья не ищут.  
Далеких странствий долго счет,  
в них ледяные пурги свищут,  
в них солнце жаркое печет.

И между ними есть середина —  
на Средней Волге тихий плес,  
где алу бусинку рябина  
вплетаёт в золото берёз.

Но мне ли выбирать меж ними  
в моей единственной стране!  
Все три пути меня хранили,  
все три звезды светили мне.

И звали, приобщая к долгу  
и к совершению чудес,  
звезда полей над отчим домом,  
Полярная и Южный Крест.

Манили и сливались краше  
всех романтических идей  
в одну звезду — над Спасской  
башней,  
вели меня к звезде людей.

\* \* \*

Этот порт областного значения,  
эти лютые ветры зимой,  
эта ярость подледных течений,  
эта жесткость дороги прямой.

Эти песни на местную тему,  
это море со мной говорит,  
а у самой волны белопенной  
костерок ненасытный горит.

Это я, не уставший с годами,  
— Колыма золотая,— шепчу, —

эту белую ночь в Магадане  
я всей жизнью своей оплачу.

Эти залежи меди и ртути...  
Издалёка, по зову родства,  
в эту ночь, в этой яростной сути  
говорящая с нами Москва.

Это с Родиной соединенье,  
это общая наша судьба,  
это кровная наша идея.  
...Наконец-то я понял себя.

\* \* \*

Прощай, моя спасительница осень!  
Чиста и холодна твоя рука,  
и время с облегчением уносит  
мои переживания в облака.

Под синим небом просто и просторно,  
и прошлого немислимая власть

последним вздохом, журавлиным стоном  
на желтых крыльях листьев унеслась.

Настало время слиться воедино  
с морозным и коротким этим днем.  
Под синим небом костерок рябины  
горит незатухающим огнем.

Какие дни прозрачные настали!  
И словно капли утренней зари  
с рябины красны ягоды упали,  
и по снегам гуляют снегири.

## *Сергей Алиханов*

\* \* \*

Люблю Москву я вдоль путей  
  трамвайных.  
Москву ларьков, заборов, тупичков,  
Церквушек замкнутых и скверов  
  беспечальных,  
И домиков пришибленных, случайных,  
И тихих, затаившихся дворов.

В такси по городу роскошно я шныряю.  
Но вдруг в трамвай какой-нибудь сажусь,

И переулки первооткрываю.  
Я благодарен сонному трамваю:  
Смотрю в окно, гляжу не наляжусь.

Я, может быть, последний посетитель  
Сих скудных мест. Все сроят, все снесут,  
И молодой придет градостроитель,  
Потом придет просторных комнат житель.  
Ну а пока трамваи здесь идут.

\* \* \*

Отвык работать или просто бросил,  
А может быть, навеки замолчал.  
Но непременно приходила осень  
И наносила клейкости ремесел  
Какой-то вред, невидимый очам.

Он был поэтом только иногда,  
Как иногда болотная вода  
Бывает облаком на синем небосводе,  
Зимой, весной, осеннейший поэт,  
Он вдруг терял прозрение и свет  
И изменял и смыслу и свободе.

Он верил в то, что день придет великий  
И в нем несовершенное умрет.  
И что в природе, мудрой и двуликой,  
Всем умереть дано, чтоб стать элитой  
И вновь взлететь на синий небосвод.

Он к пустоте был исподволь готов.  
И с наступленьем первых холодов  
Он умирал душою ежегодно.  
Но как летели по ветру леса,  
В нем новые рождались голоса.  
Он мало жил, но жил он превосходно.

## ГОЛУБИНЫЙ ШУМ

Над площадью не слышно голубей.  
В другом краю они летают шумно.  
Я знаю голубятню. Там живут  
Два голубя на пять квадратных метров,  
И там без счета шумных этих птиц.  
То голубятня друга моего.  
Она в его квартире. Это храм  
Огнепоклонников. Там был построен он  
Задолго до принятия христианства.  
И вот уже остался он без крыши.  
И только стены с нишами вокруг,  
Высокие, сухие и без окон.  
С одной стены растет под небом куст,  
А ниже стены, птицы и земля.

Но вот приходит мой веселый друг,  
Из ниш в кирпичных стенах он берет

Руками разноцветных голубей  
И их кидает очень сильно вверх,  
Чтоб кончились бы стены и полет  
Их начинался сразу в небесах.

И голуби летят, и крыльев плеск,  
Трепещущий, просторный, очень  
громкий,  
Шумит, как не шумел бы там огонь.  
И там проходит время не бесследно:  
Шум пламени стал шумом голубиным,  
Мне кажется, на несколько веков.

А между тем мой самый лучший друг  
Свистит, стучит, орудует шестом,  
Швыряет зерна щедрыми горстями,  
И голуби переполняют храм.

*Борис Ластовенко*

## НОЧНОЙ ПОЛЕТ

1

Осторожно: много птиц!  
Столкновение опасно...

Странно как переплелись  
с неизменной трассой птиц  
наши трассы...

С наступлением темноты  
нас ведет земной локатор,—  
я смотрю в иллюминатор,  
как работают винты.  
Где-то в этой сизой мгле,  
тень подлунную отбросив,  
косяками журавлей  
в теплый край уходит осень.

2

Пропахли крылья журавля,  
что прогостил у нас все лето,

и дымом черного угля,  
и духом белого ранета.  
А вспышки доменных зарниц,  
огней дрожащие пунктиры  
для высоко летящих птиц  
надежные ориентиры!  
Летят...  
Гнездовья далеки,  
с земли сухим морозом тянет,—  
невидимые вожак  
уверенно трубят в тумане.  
Внизу — ночные поезда,  
шлагбаумы на переезде,—  
и города...  
И города,  
как отраженные созвездья!

## ГODOVЫЕ КОЛЬЦА

Не верится, но мы вдвоем  
в канун весны: в конце апреля;  
и эта даль, и этот дом,  
и эти старые деревья.

Покуда маялись бедой,  
они обжили эти дали,  
и эту близь, и этот дом,  
и дни, как птиц, окольцевали!  
И может, тишина окрест,  
земная близь, земные дали,—  
всё вместе собранное — есть  
то самое, о чем мечтали,  
и стоило с попутным ветром  
скорее выбраться сюда  
и жить...

И может быть, неверно,  
что думать учат города!  
Мы в том краю, где птичьи гнезда,  
где соловьи, разинув рты,  
перерабатывают воздух  
на звук высокой чистоты.  
Махину серую парома  
буксир толкает по реке;  
и пахнет молоком коровьим,  
и язь ударил вдалеке,—  
все хорошо!..

Но перед утром  
тогда, когда летают сны,  
я просыпаюсь почему-то  
среди всеобщей тишины:  
молчат луга, пасутся кони,  
мерцает темная вода  
и заревом за крутосклоном  
лежат большие города.  
Брожу проселочной дорогой,  
стою на выжженной стерне —  
и непонятная тревога,  
как зов, рождается во мне...  
Мосты. Вокзалы. Поезда.  
Огромные аэропорты,  
едва заметная звезда  
на освещенном небе города.  
Радиолокаторы вращаются,  
и на грохочущем ветру,  
как будто стрелы из колчана,  
стоят отточенные ТУ!  
Вверх жизни экипажу,

а ветер встречных скоростей  
все прижимает к фюзеляжу  
дюраль несущих плоскостей.  
Заря, горящая тревожно,  
деревня, лошадь, росный луг,  
местами выжженные пожни  
едва дымятся,

но вокруг:  
на сотни верст, а может, более,  
среди байраков и воды  
чернеет вспаханное поле,  
белеют лунные сады.  
И осень листья золотит,  
сентябрь дошел до середины;  
на зяби поднятой блестит  
мороз последней паутины.  
Все перемелется, уйдет,  
мы прожитое подытожим,  
и светлый дым переползет  
свежераспаханные пожни.  
Приходит зрелость красоты...  
И явит высший смысл собою  
опустошенность высоты —  
и изобилие земное.

А сад  
не в силах  
облететь!..

И есть отчаянное в этом,  
как задержаться на черте,  
что между теменью и светом;  
он держит листья на весу,  
он занят долгим разговором,  
храня величье и красу  
под стать старинному собору,  
где золотые купола,  
где на заре, горящей вольно,  
роса, как светлая смола,  
течет по меди колокольной,  
где времени утерян счет,  
где Путь просвечивает Млечный  
над головой —

и где еще  
из этой жизни скоротечной  
и каждым юным деревцом,  
и дубом, кряжистым, как вечность,  
сад раз в году берет кольцо,  
одно —

из жизни скоротечной...

## ЧУДО

О, как страшна голубизна,  
Как небосвод звенящ и гулок!  
Как розов свежий срез бревна,  
Как сельский солнечен проулок!

Под солнцем млеет каланча,—  
Как тес ее печально темен!  
Как пыль суха и горяча,  
Что рвется к солнцу из колдобин!

Как чисто спет мальчиший плач!  
Как тонко пахнет лесопилка...

Смотрите, как добра ухмылка  
Степенных вислогубых кляч!

Как в ноги плещет полотно,  
Как женских платьев ткань упруга!  
Как больно, что давным-давно  
Я не встречал, не видел друга...

Как строг и полнозвучен строй  
Густого пасечного гуда!  
Как пряно дышит летний зной!  
Как молодость щедра на чудо!

## СТЕПЬ

Как даль ясна и высока! —  
Хоть пой, хоть в голос вой, хоть  
спи...

Дурноголосая тоска —  
Ау-у! — теряется в степи.

В ветрах соломенный трезвон:  
Звенят просохшие былки.  
За ошалевший горизонт  
Бегут, пылят грузовики.

Полей огромен неуют.  
Проселочная пыль бела.  
Две бабы в кузове поют  
Дорогой с дальнего села.

Соленым глотку расперев,  
Швырнули песню в белый свет.

Такой отчаянный распев! —  
Ты им живешь,  
и больше нет —

Ни пятен нефти на стерне,  
Ни одиночества людской,  
Ни дум, сжирающих покой,  
О тех, погибших на войне...  
(А может, все есть, да втройне...)

И так на целый день тоски,  
Далеких песен впроголос...  
И все гнетут грузовики  
Клубами пыль из-под колес.

Все те ж, встревая в лай собак,  
Две бабы в кузове поют,—  
Видать, сердечные, никак  
Веревочку не разовьют.

## ДЕТСТВО

Сосулькой на заре упав,  
Взорвался март в дыму заборов.  
Иззябший неуютный город  
Отталым деревом пропах.

И побережную шпану  
Ведет весенняя истома  
На сырость, на ветер —  
Из дома  
В просвистанную тишину...

...Мы грезили,  
В порту снуя,  
О жизни чистой и удалой.  
Корой и древесиной алой  
Дымились штабели смолья,

И пилы пели, как могли,  
Тесины первозданно рдели,  
И городские промартели  
Столы на газиках везли.

...И так в заманчивую грезь  
Звал этот день —  
В мечту и зависть,  
Что слились в образ,  
Переплаваясь,  
Река,  
Оклад старинных резьб,

И стайки стиранных рубах,  
И острова древесной гнили...  
...Мы так недавно в жизнь входили,  
Сосулькой на заре упав...

## Виктор Окунев

\* \* \*

Копают картошку старик в огороде,  
а женщина иволге перышки чистит.  
А иволга свищет и колобродит,  
с душою сентябрьской, как желтые  
листья.  
Она прихоронится в теплых ладонях,

в душистом и розовом тереме этом,  
и не ворохнется... Синей и бездонней  
и слаще ей кажется небо, чем летом.  
Копают старик и лицо наклоняет  
над свежеразрытой, пахучей землею.  
И так понимает он: пахнет зимою,  
а женщину с иволгой не понимает...

\* \* \*

У желтых вод, у ястребиных рек,  
над пеплом лет в кострах неистребимых,  
твой заклинал девичий легкий бег,  
звал именами голосов любимых!..

У желтых вод — поодаль протекла,  
у ястребиных рек — взлетела кручей.  
И всех надежд любимых имена  
просыпала в простой песок сыпучий...

\* \* \*

Топорность старых русских форм,  
покорность красоты высокой,  
которая под топором  
рождалась светлой, синеокой!..  
От всех пожаров и утрат  
в ней легкокрылое осталось.

Ее не посетит усталость  
высоких каменных палат.  
Она летит за облака,  
она выросла корнями в землю...  
Я вижу, как она легка!  
И дух трагедии приемлю!..

Впервые я увидел и услышал его на филологическом факультете Московского университета на литературной дискуссии. Этот ученик 567-й московской школы, десятиклассник, говорил тише и застенчивей, но вместе с тем убежденней и убедительней других участников дискуссии, а среди них были и аспиранты и преподаватели. Тогда же я пригласил Володю Полетаева посетить мой семинар в Литературном институте. Он посещал его, а затем, на следующий год, поступил в институт и, увлекшись занятиями, стал участником семинара. Он изучал историю, языки, литературу. Много писал: стихи, переводы с грузинского, украинского, немецкого, заметки и наброски статей. Работал много, показывал мало.

Вы, вероятно, заметили, что эти мои строки написаны в прошедшем времени. Короткая жизнь Володи уместилась между 1951 и 1970 годами. И, к сожалению, это не напутствие, а скорбная оглядка на пройденный путь. Владимир Полетаев прожил донельзя мало, а у него набирается материалу на три книги: стихи, переводы, проза. Время показывает, что девятнадцать лет — это не так уж мало, что жизнь красна не количеством прожитых дней, а их интенсивностью и значительностью.

Л. Озеров

\* \* \*

Свобода, да, о вечная свобода,  
свобода жить, свобода умирать.  
И белый снег — какая благодать —  
с январского повалит небосвода...

А там весна и грохот ледохода,  
ручьям и рекам — русла выбирать...

Потом страда — спины не разгибать...  
Ржи золото, деревьев позолота —  
все позади. Уже ноябрь дохнул.  
Пригорки листьев вместо листопада,  
пустых кустов колючая ограда,  
деревьев голых черный караул  
и первый снег. Раскрытая тетрадь  
белым-бела, как смертная рубаха...  
Свобода жить. Свобода жить без страха.  
Без страха жить. Без страха умирать.

1970

\* \* \*

...когда приметы листопада  
закопшатся там и сям,  
когда незванная прохлада  
уже бежит по волосам,  
когда над городом упорно  
играет черная валторна,  
и на развалинах жары  
пируют старые дворы,  
и розовая хуторская,



разученная наизусть,  
закружится, и я смеюсь  
и рук твоих не выпускаю,  
и недоделаны дела,  
а ты проста и весела...  
А небо хлынуло потоком  
и нам загородило путь,  
и так легко его потрогать —  
вот только руку протянуть...

1968

\* \* \*

Небо начинается с земли,  
с лепета последнего былинки,  
с огонька случайного вдали,  
с желтых Якиманок и Ордынок.

Как страницы, листья шелестят.  
Где-то рядом, где-то очень рядом,  
слышишь, подступает листопад,  
мы с тобой стоим под листопадом.

Задыхающаяся жара  
торопливо обжигает щеки,  
дождь зарядит с самого утра,  
глухо забормочут водостоки.

Дождь зарядит с самого утра.  
Эта осень на дожди щедра.  
Капли расплывутся на стекле —  
небо возвращается к земле.

1967

\* \* \*

...а жизнь моя была проста —  
во власти чистого листа,  
во власти благодной — во власти  
нетерпеливого пера,  
в неумолкающем соблазне;  
а жизнь моя была щедра —  
зима ворота раскрывала  
замороженного двора,  
укутанного в одеяло

до самого полуподвала,  
и абажура кожура  
оранжевая проплывала,  
и удивленная строка  
дрожала в пальцах чудака,  
и ускользала за ограду  
захоладалая щека,  
прижавшаяся к снегопаду, —  
а жизнь моя была легка...

\* \* \*

А у нас на Зубовском бульваре  
рупора играют во дворах.  
А у нас на Зубовском бульваре  
дождь вразброд и окна нараспах.

Дождь вразброд и улица — вкосу,  
светофор вкосу на углу.  
Женщину поющую рисую  
осторожно пальцем по стеклу...

Не наказывая, не прощая,  
тихо наклоняется ко мне...  
молодость моя или чужая —  
женщина, поющая в окне.

1970

\* \* \*

Кружился снег, стократ воспетый,  
кружился медленно и строго,  
и под полозьями рассвета  
плыла январская дорога.

Неприбранная мостовая  
лежала в белом беспорядке,  
мучительно напоминая  
об ученической тетрадке.

Ах, сколько снега, сколько снега,  
какая чистая страница —

пройти, не оставляя следа,  
и в пустоту не оступиться.

Ах, детство, детство, мое детство,  
мое фарфоровое блюдо,  
мне на тебя не наглядеться,  
мне до тебя не дотянуться.

Над розовыми фонарями,  
над фонарями голубыми  
кружился снег, и губы сами  
произносили чье-то имя.

1968

## *Егор Самченко*

\* \* \*

Пора вдохновений. Скворечник покинут.  
Пронзительнее холодок теневой.  
Угодно земле мои руки раскинуть,  
Слегка потеплеть под мою спину.

Точней глазомер мой. Кленовое тельце  
Листа отшумевшего  
Между ветвей,  
Летающее медленно прямо на сердце  
Вдоль высокоствольной отчизны своей.

Последнее бабьего лета объятье.  
Прозрачная грусть среднерусских  
картин.  
И всех одиночеств прозрачных распятье  
На всех перекрестках и гроздьях рябин.

Пора вдохновений, серьезного цвета  
В счастливо подобранном карандаше.  
И нет одиночества. Есть сигарета.  
И спички. И лист пролетает в душе.

\* \* \*

Вольно так, легко отчего-то!  
Среднерусский ветер летит.  
Дуб шумит по большому счету,  
Березняк тонкостройный шумит.

Умозрительно сдвинув крону  
Набекрень, любя и любя,—  
Клен ты мой — говорю — зеленый,  
Я целую в сердце тебя.

Лес, мои запечатай губы!  
К человеку, если молчит,  
Хорошо, потому что скупое,  
Речь родная благоволит.

В небе синяя ли жар-птица,  
Я ли нем, но, остановясь,  
Миг прекрасный, тикая, длится —  
Я ручаюсь — не первый час.

Век бы так отдавался диву!  
Сгоряча позабыв про стыд,  
В две косы заплетал бы иву,  
Да и так хороша навзрыд.

Ароматом дышу сосновым,  
Диких роз обнимаю куст.  
Не полезу в карман за словом —  
Лес шумит, и карман мой пуст.

## 21. ЯНВАРЬ

О красных розах в нашу ночь метельную,  
Где круговерть недвижна в лепестках,  
И к смерти приобщенных и к рождению,  
Еще живущих в именных венках,  
Не по календарю — по вдохновению  
Увидев пред собою в двух шагах  
Ту ночь у государства на руках,  
Любовно ограничив грусть смертельную,  
Я о народных думаю глазах,  
О воспаленных веках и кострах  
В час грозный, беспримерный по терпению,  
Горящих на чернеющих снегах,  
О карауле в замерших сердцах,  
О тишине, застывшей на штыках,  
О русской вьюге, стонущей по гению,  
О красных розах в ночь мою метельную  
Я думаю, дыханьем не согрев  
Мою тетрадку, льнущую к предплечью,  
Чист пред прощальным тем верховным  
взором,  
Я думаю, насквозь окоченев,  
Что не прельщусь серебряною речью,  
Но в золотом молчании тяжелом  
Я оглянусь и встану, побледнев.

\* \* \*

Под незатейливый мотив  
Грибных дождей, не шумных сосен,  
У елки встретив нашу осень  
И до рябины проводив,  
Целую руку Вам проворно,  
Товарищ быстроглазый мой,  
И нежностью нерукотворной  
И обнаженной головой  
Ручаюсь, что уму смелеть,  
Столетью цвести, душе добреть,  
Что жить и жить на подметенной,  
Обветренной земле сырой  
Той красносветлой, влажнотемной  
Забытой книжке записной.

# ЖИВАЯ ПАМЯТЬ





## Алексей Прятков

### ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ — ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

В апреле 1973 года исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося пролетарского поэта-революционера, одного из основоположников советской поэзии — Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова).

«Мое, например, поколение никак не может представить себе революционные годы без Демьяна Бедного, без его поэзии», — свидетельствует Михаил Исаковский.

Еще в дореволюционные годы, в подполье, в 1912 году, Демьян стал членом Коммунистической партии, ведущим поэтом ленинских газет «Звезда» и «Правда». В. И. Ленин, партия высоко ценили его поэтический талант, его революционно-романтические стихи и песни, его сатирические произведения, фельетоны и басни.

Один из ближайших соратников Ленина, В. Д. Бонч-Бруевич, писал, что еще до революции именно Ленин обратил внимание на Демьяна Бедного, «...на этого молодого даровитого поэта, и советовал нам как можно ближе привлечь его в нашу среду, к нам в газету. Он характеризовал его произведения, как весьма остроумные, прекрасно написанные, меткие, бьющие в цель. И с тех пор он неизменно относился самым внимательным образом к творчеству Демьяна Бедного».

Сам о себе Демьян Бедный так говорил на Первом съезде советских писателей в 1934 году:

«Большинство того, что собрано в моих двадцати томах, это — разного калибра застывшие осколки, которые когда-то были разрывным снарядом. Осколки застыли, заржавели, может быть, но они честно сделали свое революционное дело и имеют право рассчитывать на революционное уважение. Если не все, то часть их попадет — не в архив, а в революционно-художественный музей, и не для того, чтобы ими любовались, а чтобы их изучали, как и из чего они делались, в чем заключалось мастерство изготовления агитационного снаряда».

Демьян Бедный предстает перед нами как один из славных продолжателей великих классических традиций, прежде всего

Некрасова и Крылова. А боевые заветы Демьяна Бедного, в свою очередь, подхвачены такими русскими советскими поэтами, как Михаил Исаковский, Алексей Сурков, Сергей Михалков, Александр Жаров, Сергей Васильев...

Свою статью о поэте Алексей Сурков назвал «Зеркало нашей судьбы». В ней он писал: «...стихи Демьяна вошли в биографию моего поколения, они неотделимы от нее... Овеянные ураганным ветром героического времени, эти стихи предстают передо мной как записи из корабельного журнала революции, фиксирующие все перипетии трудного и славного пути народа в радостное сегодня Союза Советских Социалистических республик».

Из писателей-современников, которые хорошо знали Демьяна Бедного и глубоко понимали его творчество, интересный отзыв оставил о нем Петр Павленко. Он справедливо называет Демьяна Бедного трибуном и революционером, пишет, что «вся его эволюция проникнута внутренней необходимостью, его произведения представляют из себя цельный организм, и он поэтому вдохновляет на то, чтобы его брали всерьез...».

Демьян Бедный был певцом ленинской дружбы советских народов.

Из его стихотворений, посвященных этой великой теме, следует в первую очередь упомянуть «Три сигнала. С! Е! М!», написанное в дни создания СССР и впервые опубликованное в «Правде» (№ 1, 3 января 1923 г.).

С Новым годом! С Новым годом!  
«Исторический экспресс»,  
Поезд наш советским ходом  
Докатил до буквы «С».

Первый сигнал на нашем пути — «С»: Союз Советских Социалистических Республик... Трудный путь, крутой подъем... Хватит ли сил? Хватит!

Вон приманчивой звездой  
Буква «Е» горит вдали!

Это — Европейский союз пролетарских республик. А впереди «М» — Международная победа социализма...

В стихотворении «Страна родная» Демьян Бедный писал: «Мы все слились в один Союз, идем к одним завоеваньям сплошной стеной, плечо с плечом».

Во время Великой Отечественной войны Демьян Бедный выступает как поэт-воин, поэт-патриот, своими стихами сражающийся за свободу и независимость Родины.

Она — поборница свободы,  
Ее овеваны теплом,  
Находят братские народы  
Защиту под ее крылом.  
Несокрушимою державой,  
Объединясь в одну семью,  
Словами песни величавой  
Мы славим *Родину* свою!

Поэт воспевает и прославляет разные народы, населяющие нашу страну. Он изучает народную жизнь, историю литературы разных наций и народностей, их народное творчество. Демьян Бедный родился и вырос на Украине, он владеет украинским языком. Некоторые стихи он пишет на украинском языке, например «Замість волика», посвященное открытию Харьковского тракторного завода. Его поэма «Степан Завгородний» (1941) открывается такими словами: «Героическим бойцам, защищающим наш великий Советский Союз, украинскому народу и всей моей украинской родне посвящаю эту повесть».

Многие свои стихи Демьян Бедный посвящает Белоруссии. Горячо поздравляет он Якуба Коласа, приветствует успехи белорусской литературы. Во время Отечественной войны в стихотворении «На минском направлении» он пишет, что, «гоня фашистов за границу, мы белорусскую столицу вернем под кров родной страны». От Минска начинается наше наступление «на направлении Берлинском».

В наброске речи, посвященной 750-летию поэмы Шота Руставели «Витязь в

тигровой шкуре», Демьян Бедный говорит о нерушимой дружбе «...великого русского народа, великого грузинского народа, всех равно-братских народов, составляющих наш великий, единый, братский Советский Союз».

«Как прекрасны песни наших национальностей! — писал Демьян Бедный. — Возьмите, например, песни марийского народа. Переводя некоторые из них для книги «Двух пятилеток», работая над переводом поэмы одной марийской женщины, я был взволнован до слез. Безвестный автор дал в поэтическом обобщении волнующий образ современности, воспел радостную нашу долю в образе красивой девушки. Я принял меры, чтобы разыскать ее. Но оказалось, что два месяца назад эта женщина скончалась. Песня, ею созданная, потрясает своей силой.

Глубоко потрясают национальные ойротские песни, как и песни других наших народов».

Демьян Бедный перевел на русский язык ойротскую легенду «Зажглась золотая заря», записанную со слов колхозника Даабы Юдакова из поселка Айлу Элекмонарского района; «Есть в Москве человек», записанную в Онгудайском аймаке, мордовскую песню «Завещание», записанную со слов сказительницы, армянскую песню «Парень Хачо». Национально-революционному движению на Востоке Демьян Бедный посвятил свои поэмы «Клятва Зайнет» (об узбечке-коммунистке Зайнет Хисмитовой), «Утерянный женский рай» (в ней поэт использовал старинную легенду «Сказка о женском ханстве»).

Интерес поэта к жизни и творчеству разных народов, населяющих нашу страну, был постоянным, глубоким и многообразным. Выдающийся поэт-большевик, Демьян Бедный являлся пламенным интернационалистом, певцом первого в истории братского союза социалистических наций — СССР.

## СТИХИ О РОДИНЕ

**1**

Красные кони несутся, летят,  
Пенные гривы, как пламя, багровы.  
Искры роняя, подковы горят,  
Блеск и огонь рассыпают подковы.

Красные кони полнеба зажгли,  
Красное зарезо шире и шире,  
Мчатся как вихрь, не касаясь земли,  
Сея восторг и волнение в мире...

Искры взмечаются из-под копыт,  
Будущий День пробивая навывлет.  
Рушится зданий надежный гранит,  
Благо — огонь,

если тьму он осилит!

Кони несутся, не зная преград,  
Пенные гривы играют с ветрами,  
Огненным блеском следы их горят—  
Красные кони — пыланье и пламя...

2

Нить памяти связала нас,  
Страна моя, с тобой я вместе,  
Ты чувствуешь ли в этот час  
Огонь моей нелегкой песни?

Ты слышишь дрожь души моей?  
От красных мук не задремать ей,  
Ожоги новых песен в ней,  
Страна моя, сестра и мать.

Я далеко, вокруг туман,  
Напев мой из огня и боли.  
Вся эта жизнь как ураган,  
Летит быстрее ветра в поле.

3

Горит далекая любовь,  
Все стало пеплом и золою.  
Не возродится чувство вновь —  
Сейчас я опьянен землею.

Я сжег те песни, что в крови  
Рождали с грустью беспредельной  
Усталость призрачной любви,  
Дремоту песни колыбельной.

Есть муки творчества во мне,  
Поджег я крыши зданий синих,  
И все, что в пепле и в огне,  
Благословляю я отныне!

Есть в сердце звонкая струна  
И песни точно свежий ветер...  
Я вижу —  
                новая страна

Уже встает  
Из мглы столетий.

*1920*

Перевела с армянского М. Павлова



## Николай Асеев 1889–1963

Даже знатокам поэзии псевдонимы «Малка Иволга» и «Буль-Буль» ни о чем не скажут. Принадлежат же они Николаю Николаевичу Асееву. В первые годы революции Асеев в дальневосточных газетах вел под этими псевдонимами «пощипывающий интервентов» фельетон...

Более полувека назад, в 1917 году, Асеев уезжает на Дальний Восток. Проходит четыре года. Они знаменательны для молодого поэта возмужанием таланта, опытом участия в революции и гражданской войне. Книга Николая Асеева «Бомба» охватывает далеко не все его дальневосточные стихи. А резко полемичные, интересные статьи Асеева тех лет о поэзии полностью еще не собраны. Дальневосточный период жизни и творчества известного советского поэта требует дальнейшего изучения.

Публикуемые в «Дне поэзии» стихотворения Н. Асеева «Экспромты на песке» и «Рериху» в свое время появились в дальневосточных газетах. Смысл первого стихотворения легко понять, если вспомнить, что столкновение мира живой природы и обыденщины — один из господствующих мотивов в ранней поэзии Асеева. Сопрягающийся с мотивом молодости («Чтоб не выйти в старики...»), он звучит здесь как протест против мешчанской самоуспокоенности. Стихотворение интересно также и тем, что оно раскрывает некоторые особенности поэтического мастерства Асеева.

Второе стихотворение, посвященное Николаю Константиновичу Рериху, написано 14 октября 1918 года по случаю известия — впоследствии оказавшегося неверным — о смерти художника. Это стихотворение поэт прочитал на вечере, посвященном... памяти Н. К. Рериха. Знаменитый художник после того прожил еще много лет... В своем стихотворении Асеев утверждает страсть и молодость искусства.

Дальневосточные стихи Николая Асеева — одна из живых страниц поэзии первых лет Октября.

О. Смола

### ЭКСПРОМТЫ НА ПЕСКЕ

1

Запах вишен чуть слышен,  
Говор моря утишен,  
Абрикосами зреют  
Звезды в темной воде.  
Над немеющей зыбью  
Слово слушаю рыбе —  
Раздающееся везде!  
Слово соли и влаги —  
То, чем шепчутся флаги,  
То, чем пенятся пены  
Прикипающей шум,  
Слово мчащихся шаек  
Закружившихся чаек —  
На прибрежном песке запишу!

Я поклялся над закатом  
 Кровью солнечной руки:  
 Никогда не стану с катом<sup>1</sup>  
 Ни товарищем, ни братом,  
 Чтоб не выйти в старики.  
 Вяжу вековыми узами  
 Себя с голубыми медузами,  
 Сверяюсь далекими предками  
 С молчащими жадно креветками,  
 И домик, влекомый отшельником-раком,  
 Мне будет судьбы замирающим знаком,  
 И в скобки морских расплескавшихся блох  
 Я вставлю мечты оборвавшейся слог.

1919

## РЕРИХУ

Тому, кто шел на безымянный берег,  
 В могилу клали: мечь, копье и лук.  
 Кто ж на щиты тебя поднимет, Рерих,  
 Последний, может, рюриковский внук?

Вели коня в седле за павшим князем  
 И посреди вонзенных в землю стрел  
 Гроб на костер слагали, а не наземь,  
 Чтоб он при всех в живом огне сгорел.

А ты, плененный древней Руси сказкой,  
 Влюбленный в память сумрачных  
 времен, —  
 Твой конь угряз среди трясины вязкой  
 Во тьме, в лесу до шелковых стремян...

Но верим мы: пройдут года, и ты, чей  
 Упорный взор испепелял века,  
 Восставишь старый, пламенный  
 обычай —  
 Ладью времен вернет твоя рука.

Не нашим поколением, быть может,  
 Грядущими — исполнен будет он:  
 Зажгут костер, тебя на щит возложат  
 И понесут весной на горный склон.

Промчатся снова крúгом лета, зимы...  
 О юноши, взгляните же назад:  
 Князь на костре горит неугасимо,  
 И пламя, пламя плещется в глаза!

1918

---

<sup>1</sup> К а т — палач (устаревшее).

Георгий Леонидзе  
1899–1966

АВЕТИКУ ИСААКЯНУ

Адам певцов кавказских!  
Снова тесен  
Предел узды  
                    Мерани твоему!  
Все в диких розах, строки «Ран и  
  песен»  
Открыты сердцу, дороги уму.  
Осталась песнь,  
Зарубцевалась рана.  
Осталась песнь, бессмертная, как ты,  
Пока он жив —  
Дыханье Айастана,  
Пока он жив —  
Крыло его мечты!..

1936

ПЕСНЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

*Геorgию Натрошвили*

Я десять раз к земле приник,  
Я десять раз воскрес,  
Едва огней твоих достиг,  
Затмивших все окрест!

Огни ль цветут, цветы ль горят —  
Не ведаю уже.  
Один лишь на Мтацминду взгляд —  
И бог весть что в душе.

Как звезды поняли, добры,  
Волнение мое!  
Я горстью зачерпнул Куры —  
Как жаждал я ее!

Тбилиси, воздух, полный чар,  
Обрел я неспроста:  
Да опалит меня твой жар,  
Да опьянит мечта!

Я был далеко, видел кровь,  
Я принял смертный бой,  
И ныне я с тобою вновь,  
Я, вскормленный тобой!

Лишь рану я на этот раз  
Принес тебе — пусть так...  
Но этой раной в страшный час  
Был остановлен враг!

Где б я ни дрался — всякий миг  
Я защищал тебя,  
Горячий цвет твоих гвоздик  
Без памяти любя.

Иль ты не слышал гром ружья —  
В твою, Тбилиси, честь?..  
Лети ж, мой голубь, весть моя —  
Еще здесь мама есть!..

1944

*Перевел с грузинского Ю. Ряшенцев*

## СОЛОВЬИНОЕ БРАТСТВО

При встречах с Александром Андреевичем Прокофьевым и в беседах с ним меня часто изумляла обширность его связей с самыми разными людьми. Дивился я и тому, что Александру Андреевичу весьма и весьма часто приходили письма со всех концов страны — из Белоруссии, Карелии, Украины, Сибири, Эстонии... Вскрывая конверты длинными ножницами, он бегло просматривал письма, часто протягивал кому-нибудь из находившихся в тот момент рядом с ним, просил прочесть вслух. Довольно регулярно приходили письма из Болгарии и от учительницы из Японии. Учительница изучала русский язык, но писала Прокофьеву иероглифами, и он, глядя на них, говорил: ну, тут я бес-силен.

Иногда он доставал из шкафа хранившиеся письма А. Фадеева, М. Рыльского, Я. Коласа, В. Саянова, А. Ахматовой. Почти во всех письмах, наряду с деловыми вопросами, шла речь и о стихах Александра Андреевича. В одном из писем, написанных карандашом, А. Фадеев сообщает (письмо относится к периоду Великой Отечественной войны), что «сейчас читал твои чудесные стихи в «Звезде», но в этом же письме сетует на то, что мало времени они уделяют обсуждению стихов, и заканчивает письмо словами: «...Я люблю твои стихи, люблю их давно... за их подлинную русскую народную стихию... их лирическая сила пленяет меня...»

Хочется остановить внимание на переписке Прокофьева с украинскими писателями, — она раскрывает еще одну страницу в сближении братских литератур.

Украинский писатель-юморист, знаток языка и большой ценитель поэзии Остап Вишня не только писал Прокофьеву самые сердечные письма, но счел необходимым записать в своем дневнике 25 февраля 1951 года: «Вот лежу я больной на кушетке и читаю, читаю больной, умирающий:

На мосту, на переходе,  
Светлых улиц поперек,  
Мимо девушек проходят —  
Только тронут козырек...

Я, Остап Вишня, умираю, а возле меня сбоку Саша Прокофьев!.. Прошу тебя! Приди на мою могилу и спой одну русскую песню!»

Поэт Микола Нагнибеда пишет, что еще в 30-е годы увлекался стихами Александра Прокофьева, а затем следил, как его поэзия, настоящая на живительных соках русской народной речи, постепенно вбирала в себя шум белорусских дубрав, ветры степной Украины, волны Немана и Даугавы. Он обращает внимание на постоянно обновляющийся поэтический словарь А. Прокофьева, на физическое ощущение материальности слова. Так, при произношении слова «волна» поэт на губах ощущает в каждой букве влажность, а при повторении слова эти приносят ему «волнение рек, дыхание моря и колокольчик ручейка».

В чувстве слова поэт переключается здесь со своим замечательным другом, «звонкоголосым соловьем Украины» — Андреем Малышко, который в одном из своих стихотворений писал:

Я радуюсь, когда встречаю слово  
Все в ароматах свежести, оно  
Весенней глубиной рождено,  
Нашло тебя и, трепетное, снова  
Прильнуло к сердцу.

В нем и хлеб с полей,  
И мед из сот, и свет вечерней хаты,  
В нем слышен свист метелицы косматой...

(Перевод мой)

Эта родственность в восприятии слов, их звуков и красок, во многом способствовала большой дружбе двух поэтов, которую они взаимно берегли до последних дней. «У меня безлюдье без тебя», — писал в своем стихотворении Прокофьев Андрею Малышко. В ответ шли письма и стихи. «Дорогой мой Александр Андреевич! — писал 14 сентября 1963 года А. Малышко. — ...Как твоё здоровье и настроение? Хотел бы получить новые твои стихи, перевел бы для украинской прессы. А вообще хотелось бы встретиться и поговорить, и песни попеть...»

В мае 1969 года, когда в РСФСР проходили Дни украинской литературы и искусства, вместе с писателями Украины в

Москву приехал и Андрей Малышко. Андрей Самойлович передал мне тогда для перевода свое новое стихотворение «В гостинице «Москва». Вот оно:

Ночей военных тень ушла, осталась память  
О том, как дружно мы сидели за столом:  
Три Александра <sup>1</sup>, я и Тихонов меж нами  
И Рыльский молодой с задумчивым лицом.  
За окнами тогда цвела заря багрово,  
Надеждами душа теплела и жила,  
Вплеталось в разговор стихов живое слово,  
И чарка малая по кругу мирно шла,  
Съезжались мы с фронтов, где в огненном просторе  
Катился гром войны в косматой полутьме,  
Когда России клич сзывал нас всех сквозь горе,  
Когда наш светлый день туманился в ярье.  
Ах, милые мои! Семья друзей родная!  
Уже редееет круг за дружеским столом,  
И белых голубей над нами вьется стая,  
Но молодость тех лет еще шумит крылом.  
И просится в стихи все то, что сердцу мило,  
Поля, где мы прошли, и плавни в камыше.  
Зеленые листки нам рута растелила,  
Которую в те дни растили мы в душе.

Прокофьев перевел на русский язык многие стихи Малышко, выступал со статьями о его творчестве, а в 1969 году в своем саду, на даче в Комарово, посадил два клена — в честь своих друзей — Андрея Малышко и Миколы Нагнибеды.

После смерти А. Малышко Прокофьев, ездивший на похороны друга, говорил автору этих строк: наш долг перед Андреем перевести его «Синюю летопись» и последние все стихи...

Он принялся за эту работу, успел перевести несколько стихотворений, но болезнь помешала ему в завершении этого замысла.

Для укрепления связей двух братских литератур, для сближения народов большую роль сыграли русские и украинские поэты, среди которых никогда не померкнули имена Александра Прокофьева, Максима Рыльского, Павла Тычины, Владимира Сосюры и Андрея Малышко.

Владимир Сосюра писал Прокофьеву 28 апреля 1960 года:

«Дорогой Александр Андреевич! Как мне благодарить тебя за братскую поддержку! Ведь одноклассник моих стихотворений в переводе ленинградских товарищей казался мне несбыточной мечтой...

Дорогой мой любимый поэт, самый русский и самый интернациональный из всех русских поэтов! Как мне благодарить тебя за твои вдохновенные переводы моих стихов...»

Стихи Александра Прокофьева на украинский язык переводили многие поэты, но больше всех в этой области сделано Андреем Малышко и Максимом Рыльским. В одном из писем Максим Рыльский писал: «Милый Саша! Ты не можешь себе представить, как мне было радостно переводить твою «Россию». Хорошо ли я это сделал — судить не мне. Книжка твоих стихов, переведенная в основном Малышко и мной, вскоре выйдет. Возможно, что «Россия» будет напечатана и в журнале «Вітчизна». Нежно целую тебя в уста... Твой М. Рыльский. 15. V. 1950 г.»

Известно, что поэма А. Прокофьева «Россия» написана в 1943 году. Накануне семидесятилетия поэта я поинтересовался возникновением замысла поэмы, и автор рассказал, что весной 1943 года на Волховском фронте он шел перед рассветом с переднего края в редакцию армейской газеты «Отважный воин». Артиллерия врага вела бешеный огонь по нашим позициям, земля колебалась под ногами и вздрагивали окрестные леса, а в кустарниках, словно смеясь над фашистами, заливались соловьи. В эти минуты и родились известные строки поэмы:

Сколько звезд голубых, сколько синих,  
Сколько ливней прошло, сколько гроз.  
Соловьиное горло — Россия,  
Белонogie пуши берез...  
Ты вовек не замолкнешь, родная,  
Не померкнул веснянки твои,  
Коль сейчас по переднему краю  
Неумолчно свистят соловьи.

Большая и искренняя дружба между литераторами Украины и России развивается и крепнет, способствуя всемерному укреплению в массах сознания принадлежности к единой социалистической Родине.

Приведенные в статье отрывки из писем взяты из архива А. А. Прокофьева, который хранится у О. В. Нестеровой, секретаря комиссии по литературному наследию поэта.

<sup>1</sup> Фадеев, Прокофьев, Твардовский.—Примечание автора.

## Осип Мандельштам 1891–1938

Литературная деятельность О. Э. Мандельштама была весьма разнообразной. Выдающийся поэт, талантливый прозаик, мастер поэтического перевода, интересный литературный критик, он в советские годы не чуждался и работы журналиста-публициста.

С первых лет существования газеты «Московский комсомолец» Осип Мандельштам был ее активным сотрудником. В 1923 году он выступал как очеркист на страницах журнала «Огонек». Позднее в журнале «Звезда» он опубликовал цикл очерков «Путешествие в Армению».

Ниже печатаются два очерка Осипа Мандельштама, извлеченные со страниц «Огонька» за 1923 год. Оба они говорят о живом интересе писателя к процессам развития международного революционного движения.

«Первая Международная Крестьянская Конференция» («Огонек», 1923, № 31, 28 октября) — это очерковые наброски, зарисовки, сделанные писателем во время работы конференции, проходившей в Большом Кремлевском дворце. В этих беглых записях «с натуры» автор воссоздает дух боевого интернационального братства трудящихся, господствовавший на дружеской встрече крестьян из самых разных стран, прибывших в Москву. Мандельштам — очеркист внимательный, вдумчивый. Его взор, его мысль охватили необычайное и знаменательное зрелище в его динамике, в его деталях, в его общем значении.

«Ньюэн Ай-Как (В гостях у коминтернщика)» — это очерк-репортаж о беседе с находившимися в то время в Москве видным коминтерновцем Хо Ши Мином (очерк был напечатан в «Огоньке» за 1923 год, № 39, 23 декабря). В ту пору Хо Ши Мину (настоящее имя которого — Нгуен Ай Куок — еще не умели точно писать по-русски) было 33 года, он начинал свой путь выдающегося деятеля вьетнамского и международного революционного движения, тремя годами ранее вступления в Коммунистическую партию Франции. Беседа Мандельштама с Хо Ши Мином говорит о том, в сколь трудных условиях начиналась историческая деятельность славного коммуниста, через два с лишним десятилетия возглавившего Демократическую Республику Вьетнам (автор очерка, как тогда было принято, называет вьетнамцев анамитами).

В этом очерке-репортаже, написанном наблюдательным художником, все сохраняет свой интерес и поныне: и краткая характеристика облика Хо Ши Мина, и содержание его рассуждений. Отчитываясь в своей беседе с Нгуен Ай Куоком, Осип Мандельштам не пояснял читателям некоторых явлений, о которых шла речь: советский читатель имел достаточное представление и об идеях Махатмы Ганди, и о вышедшем годом ранее в русском переводе романа Рене Марана «Батуала».

Интересно отметить, что очерк О. Мандельштама «Ньюэн Ай-Как» получил известность во Вьетнаме и пользуется там популярностью и в наши дни. Как сообщает побывавший в 1970 году во Вьетнаме Константин Симонов, «вьетнамские писатели вспоминают публикацию в «Огоньке» в 1923 году очерка Осипа Мандельштама под названием «Встреча с коминтернщиком», который здесь опубликован был к восьмидесятилетию Хо Ши Мина и в партийном журнале, и в литературном, и говорят о том, что Мандельштам очень тонко почувствовал будущее Хо Ши Мина, проник в это будущее в этом своем давнем очерке о нем...» («Литературная Россия», 1971, № 5, 29 января).

В двух помещаемых ниже очерках Осипа Мандельштама нельзя не почувствовать дыхание революции, нельзя не ощутить в них и симпатии автора к революции. Это и дает нам право извлечь их из забвения и — через почти полвека — вернуть их читателям.

Александр Дымицкий

### ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Горой пухнет лестница, ведущая в Андреевский зал, и упирается в лубочную живопись: Александр III принимает волостных старшин. Огромное полотно, царь, похожий на лихача, окруженный старшими

дворниками в поддевках и бляхах и коронационными бурятами.

Мимо этого музейного сокровища, туда, где непомерно высокий зал, с бальным светом, приютил отважных разноязычных

друзей, собравшихся к нам в гости для крепкой беседы.

Первое впечатление — именно беседы, а не «заседания». Многие встали с мест и облепили переводчика. Тот, с акцентом немецкого волжского колониста, перекладывает только что сказанную иностранную речь. Двое или трое слушают его по-крестьянски, вытянув голову, всем корпусом наклонившись.

А рядом та же речь журчит в английском пересказе и, уже не вставая с мест, хладнокровно слушают американские фермеры и индусы, японцы.

Говорит финский оратор. На широких плечах, неуклюже, по-воскресному, сидит мешковато пиджак. Он говорит, взволнованно и глубоко дыша, как будто у себя перед финской аудиторией, с высоко поднятой крупной головой.

Говорит поляк, подыскивая русские выражения, ему не хватает слова, и с крестьянского стола летит дружеский подсказ.

Гляжу на китайских делегатов. Ясно мне представляется огромный жизненный путь этих маленьких людей со спичечным худым телом и матовыми бледными лицами изможденных студентов. Европейская одежда кажется на них пустой, до того в них мало плоти и все ушло в беспокойную мысль, в огромное деятельное напряжение.

Сразу узнаю французских южан. Гасконцев и провансальцев: виноградари с эспаньолками и буйными артистическими шевелюрами.

Врожденное изящество и благородство движений древнего индусского народа отличает представителей индусов.

Рядом за последним столом уселись русские делегатки, пожилые женщины в черных косынках, с материнскими строгими лицами. Делегаты — российские крестьяне тянутся к листкам раздаваемых тезисов. Видно, как им хочется подойти поближе

к чужестранцам. Они подсаживаются к ним, разглядывают их с ласковым любопытством.

Среди французской делегации мелькают лица, как бы вышедшие из галереи Парижской коммуны. Это большеголовые бородачи с упрямыми лбами мыслителей, философы действия, незаметно переходящие из кабинетов на баррикады.

Центр тяжести для всех — работа у себя дома, и все волнуются о том, как выйдет дома у них то, о чем здесь говорится. Южанин, француз, финн, поляк, норвежец — все говорят с оглядкой на свое домашнее, и в голосе нота стыда за своих братьев, если они равнодушны или превращены в холопов.

Состав конференции очень пестрый. Здесь есть люди, только что вышедшие из массы и еще теплые от прикосновения к ней, есть крупные деятели, организаторы европейского масштаба, но под каждым шевелится своя крестьянская глыба, и все хотят поднять одну огромную тяжесть.

Вдруг после разговора с человеком земли переносишься как бы в аудиторию германского университета и слышишь расчлененную, отточенную и методическую речь.

Непонимающие уходят в кулуары и гурьбой возвращаются назад послушать переводчика. Географии не соблюдают, перепутались местами. Почтительным вниманием, как ласковая бабушка, окружена гостья конференции Клара Цеткин. Этим людям есть что друг другу сказать. Вот китаец положил руку на плечо молодого мексиканца. Оба удивленные и обрадованные.

В кулуарах треплется маленькая реликвия: свежая августовская афиша пролетарской ассоциации искусств, изгнанной фашистами из Баварии и перекочевавшей в город Иену.

1923

## НЮЭН АЙ-КАК

### *В гостях у коминтернищика*

— А как отразилось в Индо-Китае движение Ганди? Не дошли ли какие-нибудь волны, отголоски? — спросил я Нюэна Ай-Кака.

— Нет, — отвечал мой собеседник. — Анамитский народ, крестьяне, живет погруженный в глубокую крошечную ночь — никаких газет, никакого представления о

том, что делается в мире; ночь, настоящая ночь.

Нюэн Ай-Как — единственный анамит в Москве, представитель древней малайской расы. Он почти мальчик, худой и гибкий, в вязаной шерстяной телогрейке. Говорит по-французски, на языке угнетателей, но французские слова звучат тускло и матово, как приглушенный колокол родной речи.

Нюэн Ай-Как с отвращением произносит слово «цивилизация»: он объехал почти весь колониальный мир, был в северной и центральной Африке и достаточно насмотрелся. В разговоре он часто произносит «братья». Братья — это негры, индусы, сирийцы, китайцы. Он написал письмо Рене Марану, офранцузенному негру, автору густо-экзотической «Батуалы», и поставил вопрос ребром: хочет или не хочет Маран помочь освобождению колониальных братьев? Рене Маран, увенчанный французской академией, отвечал сдержанно и уклончиво.

— Я из привилегированной анамитской семьи. Эти семьи у нас ничего не делают. Юноши изучают конфуцианство. Вы знаете, конфуцианство — это не религия, а скорее наука о нравственном опыте и приличиях. И в основе своей предполагает «социальный мир». Мальчиком, лет тринадцати, я впервые услышал французские слова: свобода, равенство и братство, — ведь для нас всякий белый — это француз. И мне захотелось познакомиться с французской цивилизацией, прощупать, что скрывается за этими словами. Но в туземных школах французы воспитывают попугаев. От нас прячут книги и газеты, запрещают не только новых писателей, но даже Руссо и Монтескье. Что было делать? Я решил уехать. Анамит — крепостной. Нам запрещено не только путешествовать, но и малейшее передвижение внутри страны. Железные дороги построены с «стратегической» целью: по мнению французов, мы еще не созрели ими пользоваться. Я добрался до побережья, ну, и уехал. Мне было девятнадцать лет. Во Франции шли выборы. Буржуа обливали друг друга грязью.

Судорога почти физического отвращения пробегает по лицу Нюэна Ай-Кака. Тусклый и матовый, он загорается блеском. В больших зрачках тяжелая вода, он косит и смотрит зрячим взглядом слепого.

— Когда пришли французы, все порядочные старые семьи разбежались. Сво-

лочь, которая умела прислуживаться, захватила брошенные дома и усадьбы; теперь они разбогатели — новая буржуазия — и могут воспитывать детей на французский лад. Если мальчик идет у нас учиться к католическим миссионерам, это уже отбросы, подонки. За это платят деньги. Ну и идут низколобые тупицы, все равно как если бы шли служить в полицию, жандармерию. Католическим миссионерам принадлежит у нас пятая часть всей земли. С ними могут потягаться только концессионеры.

— Что такое французский колонизатор? О, какой это бездарный и недалекий народ. Первая забота — устройство родственников. Затем — нахватать и наgrabить как можно больше и скорее, а цель всей этой политики — маленький домик, «свой домик» во Франции.

— Французы отравляют мой народ. Они ввели обязательное употребление алкоголя. Мы берем немного хорошего рису и делаем хорошую водку, — когда придут друзья или в семейный праздник предков. Французы брали плохой дешевый рис и гнали водку бочками. Никто не хотел у них покупать. Слишком много водки. Тогда губернаторам предписали по количеству душ населения сделать обязательную водочную раскладку и заставили насильно покупать водку, которой никто не хотел.

Мне наглядно представилось, как спаивают этот нежный народ, любящий такт и меру, ненавидящий излишество. Врожденным тактом и деликатностью дышал весь облик Нюэн Ай-Кака. Европейская цивилизация работает штыком и водкой, пряча их под сутану католического миссионера. Нюэн Ай-Как дышит культурой, не европейской культурой, быть может, культурой будущего.

— Сейчас в Париже группа товарищей из французских колоний — пять-шесть человек из Кохинхины, Судана, Мадагаскара, Гаити издают журнальчик «Пария», посвященный борьбе с колониальной политикой французов. Это совсем маленький журнальчик — каждый сотрудник доплачивает на его издание из своего кармана, вместо того чтобы получать гонорар.

Бамбуковая трость с вырезанным на ней воззванием незаметно обошла все деревни. Его пересаживали с места на место — и сговор состоялся. Он дорого обошелся анамитам, были казни, полетели сотни голов.

— У анамитского народа нет священни-



ков и нет религии, в европейском смысле. Культ предков — чисто социальное явление. Никаких жрецов. Старший член семьи или деревенский старейшина совершает поминальные обрядности. Мы не знаем, что такое авторитет жреца или священника.

— Да, интересно, как французские власти научили наших крестьян словам большевик и Ленин. Они начали преследовать коммунистов среди анамитов в то время, как никаких коммунистов и в помине не было. И, таким образом, вели пропаганду.

Анамиты — простой и вежливый народ. В благородстве манер, в тусклом, матовом голосе Ньюн Ай-Кака слышен завтрашний

день, океанская тишина всемирного братства.

На столе рукопись. Спокойный, деловой отчет. Телеграфный стиль корреспондента. Он фантазирует на тему: Конгресс Интернационала в 1947 году. Он видит и слышит порядок дня, он там присутствует, он ведет протокол.

На прощанье Ньюн Ай-Как что-то вспоминает:

— Да, у нас был еще один «мятеж». Его поднял анамитский царек Зюнтан. Против увоза наших крестьян на французскую бойню. Зюнтан бежал. Теперь он в эмиграции. Скажите и о нем.

1923

## Велемир Хлебников 1885–1922

Прошло полстолетия, как умер на 37-м году жизни Велемир Хлебников (28 июня 1922 года). За это время сменилось не одно поколение поэтов, сложилась поэзия эпохи нового социалистического общества, а споры об его творчестве продолжаются и до сих пор.

Движение времени давно уже оставило позади тот задиристый эпатаж, те заумные эксперименты, которые столь остро воспринимались современниками и окружили имя поэта ореолом нарочитой непонятности. Правда, его поэзию и тогда ценили такие разные и замечательные поэты, как Маяковский, Асеев.

Сейчас имя Велемира Хлебникова произносится с уважением, ему посвящаются новые и новые работы литературоведов, его рукописи хранятся в архивах, а ранее напечатанные книги Хлебникова стали библиографической редкостью. Для нас Велемир Хлебников — один из зачинателей советской поэзии.

Дело не в том, чтобы обращаться к Хлебникову, как учителю в постижении секрета поэзии, тайны поэтического слова. Находки и открытия его давно по капиллярным сосудам проникли в советскую поэзию, и непосредственно, и через творческую практику таких поэтов, как Маяковский, Асеев, Пастернак.

Маяковский назвал Хлебникова «честнейшим рыцарем» поэзии. Но это был не только поэт романтического вдохновения — он был поэтом-ученым, поэтом-мыслителем, пристально следившим за развитием науки, мечтавшим о космической беспредельности ее масштабов, о соединении науки с поэзией в одно целое. Сейчас, когда в советской поэзии такое множество голосов, такое разнообразие словесных красок, творчество Хлебникова привлекает не формальной изощренностью, а своеобразием поэтической мысли, и богатством, и, как это ни парадоксально, простотой, эпической монументальностью. Он — путник, неизменно взбирающийся на гору, с высоты которой виден все более и более широкий кругозор, общий рельеф местности. По мере ознакомления с поэзией Велемира Хлебникова в ней отступает все искусственное, незавершенное, случайное и явственнее сказывается ее чистый, незамутненный родник, неподдельный, светлый, хотя и сложный поэтический мир.

Здесь публикуются два стихотворения Велемира Хлебникова, взятые из астраханской газеты «Красный воин» (6 ноября 1918 г., № 14, и 7 января 1919 г., № 5).

Н. Степанов

# ВОЛЯ ВСЕМ

**Вихрем бессмертным, вихрем единым  
Все за свободой — туда!  
Люди с крылом лебединым  
Знамя проносят труда.  
Всех силачей того мира  
Смело зовем мы на бой,  
Знаем, слабеет секира  
У торговавших божбой.  
Жгучи свободы глаза,  
Пламя в сравнении — холод!  
Пусть на земле образа!  
— Новых построит их голод,  
Мира ушедшего стоны и корчи  
Нам, вдохновенным, страшны ли?  
Вещие души к грядущему зорче  
Самой божественной были.  
Мчитесь дружиною к солнцу и  
                                песням.  
Мчитесь и мчитесь — вперед!  
Если погибнем — воскреснем,  
Каждый потом оживет.  
Двинемся в путь очарованный,  
Мерным внимая шагам!  
Если же боги закваны,  
Волю дадим и богам!**

# ЖИЗНЬ

Росу вишневую меча  
Ты сушишь волосом волнистым,  
А здесь из смеха палача  
Приходит тот, чей смех неистов.

То черноглазую гадалкой,  
Многоглагольная, молчишь,  
А то хохочущей русалкой  
На бивне мамонта сидишь.

Он умер, подымая бивни,  
Опять на небе виден Хорс <sup>1</sup>.  
Его живого знали ливни —  
Теперь он глыба — он замерз.

Здесь скачешь ты, нежна, как зной,  
Среди ножей, светла, как пламя.

Здесь облак выстрелов сквозной,  
— Из мертвых рук упало знамя.

Здесь ты поток времен убыстрила,  
Скороговоркой судит плаха.  
А здесь кровавой жертвой выстрела  
Ложится жизни черепаха.

Здесь красных лебедей заря  
Сверкает новыми крылами.  
Там надпись старого царя  
Засыпана песками.

Здесь скачешь вольной кобылицей  
По семикрылому пути.  
Здесь машешь алою столицей,  
Точно последнее прости.

<sup>1</sup> Х о р с — созвездие Пегаса (крылатый конь). —  
Ред.

Анна Ахматова  
1889–1966

\* \* \*

Забудут? Вот чѐм удивили!  
Меня забывали сто раз!  
Сто раз я лежала в могиле,  
Где, может быть, я и сейчас.  
А муза и глохла и слеpla,  
В земле истлевала зерном,  
Чтоб снова, как Феникс из пепла,  
В тумане восстать голубом.

12 февраля 1957 г.

\* \* \*

Б. П.

Словно дочка слепого Эдипа,  
Муза к смерти провидца вела,  
А одна сумасшедшая липа  
В этом траурном мае цвела  
Прямо против окна, где когда-то  
Он поведал мне, что перед ним  
Вьется путь золотой и крылатый,  
Где он вышнею волей храним.

11 июня 1960 г.

Москва

Боткинская больница

Публикация В. Скороденко и Н. Жирмунской

Давид Кугультинов

«ИМЯ ОДНОГО...»

В 1957 году я был принят слушателем Высших литературных курсов при Союзе писателей СССР. Об этих курсах всегда вспоминаю с благодарностью. Они мне дали литературную среду, в которой я очень нуждался после многолетнего отчуждения. Здесь я застал Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова, Джемалдина Яндиева, Иона Чебану и многих других, которые позже стали видными советскими писателями. Общение с ними обогатило меня. Наш творческий семинар вели такие поэты, как Михаил Светлов, Ярослав Смеляков, Сергей Наровчатов.

Одной из хороших традиций Высших литературных курсов было то, что здесь устраивались встречи с мастерами советской литературы, культуры, искусства. Мы имели возможность, так сказать, получать знания из первоисточников.

Запомнилась встреча с Самуилом Яковлевичем Маршаком. Он принял слушателей курсов у себя дома, на улице Чкалова. Однако ближе я с ним познакомился несколько позже, на одном из литературных вечеров в Доме творчества в Ялте.

Поэты читали свои стихи, в том числе Самуил Яковлевич. Читал и я. После



И человеку смертному дано  
Жить на земле, не зная смерти, вечно.  
Другому жизнь дарит он в свой черед.  
Другого, плача, одевает в саван...  
Сам человек не умирает... Сам он  
Только живет.

(Перевод Ю. Нейман)

История посвящения такова. С этим стихотворением Самуил Яковлевич познакомился в подстрочном переводе. Внимательно прочитав подстрочник, он швырнул его на стол и, воскликнув: «Молодой человек, вы у меня украли стихотворение!», сердито посмотрел на меня. Мне стало более чем неловко. Быстро замелькали мысли. Стал вспоминать, как написалось это стихотворение, откуда, как пришли строки, образы. Подумал: может, когда-то читанное вдруг, сам не понимая, невольно, я при-

нял за свое? Самуил Яковлевич уловил мое замешательство.

— Простите, молодой человек, — сказал он улыбаясь, — дело в том, что многие годы я сам собирался написать именно это стихотворение, а вы опередили меня. И сержусь я на себя, а не на вас. Мало успеваю.

«Мало успеваю»... И это говорил человек, который на наших глазах работал до изнурения, трудолюбие которого вызывало в нас одновременно и восхищение, и добрую зависть. Стихотворение, посвященное ему, было напечатано в «Новом мире», при его жизни.

Мне довелось видеть многих выдающихся людей. Но есть у калмыков пословица: «Чем видеть лица ста человек, узнай имя одного». Я счастлив тем, что узнал имя Маршака.

## Павло Тычина 1891–1971

МУСА ДЖАЛИЛЬ В КИЕВЕ (1939)

В людном зале сижу я и слышу,  
как проходит Шевченковский пленум.

Солнце сквозь застекленную крышу  
в зал заглядывает с удивленьем.  
В людном зале шумливо. Но взоры  
всех собравшихся строги, суровы...  
Мой черед продолжать разговоры  
после слов Алексея Толстого.  
Я гляжу на Джалиля... Недавно  
шли мы рядом. Стихи по-татарски  
он читал, и мне было так славно  
понимать их без всякой подсказки.  
А Толстой продолжал: — Злая доля  
у Рылеева и у Тараса,  
но, их вольному голосу вторя,  
слышен голос восставшего класса! —  
Встрепенулся Джалиль, словно воин.  
Я взглянул на него — что за очи!  
Колыхаясь незбылемым строем,  
людный зал и шумит и клокочет.  
Смерть врагу! Зал шумит молодежью.  
Пионеры под стягом багряным  
входят в зал...

Нашей юности слава!  
И на них Ленин ласково глянул.

Перевел с украинского Л. Шерешевский

«ДЛЯ НАС РАЗЛУКИ НЕТ...»

...Этот белый дом на улице Арпапая в Ташкенте знали все. Калитка была всегда распахнута: знаком ты с хозяином или незнаком, заходи — будешь желанным гостем. И дело тут было не только в традиционном узбекском гостеприимстве: для хозяина дома общение с людьми было необходимо как воздух, как вода, — человек широчайших интересов, неистового любопытства, он жадно хотел знать обо всем, что происходит в мире.

Впрочем, пусть не поймут меня так, будто он был неразборчив в друзьях, — еще как разборчив! Если собеседник оказывался пресным, ничем не примечательным, любопытство его быстро иссякало, глаза, обычно живые, с хитринкой, тускнели, он наскоро сворачивал беседу и, ссылаясь на неотложные дела, исчезал в своем кабинете. Гостю оставалось допить чай, поблагодарить хозяйку и... вежливо откланяться.

Если же пришедший был приятен хозяину, беседа могла продолжаться бесконечно. К людям его тянуло самым разным — и по возрасту, и по профессии.

Но, пожалуй, самыми дорогими, самыми желанными гостями в доме Гафура Гуляма были братья поэты — гости из союзных республик нашей страны. Когда они съезжались в Ташкент на празднование какого-нибудь юбилея или в связи с декадами национальных культур, в белом доме на улице Арпапая воцарялся подлинный праздник. Во дворе, под алычовыми деревьями, расстилались ковры, не умолкая, пыхтели самовары, дымился плов; Гафур Гулям, в неизменной своей тубетейке, заботливо рассаживал друзей, для каждого находил приветливое слово, добрую шутку. А потом, когда вечерняя прохлада опускалась над садом, приходил черед мушоире — увлекательному поэтическому соревнованию, в котором обязан был участвовать каждый из присутствующих. По кругу читали свои стихи Николай Тихонов и Ираклий Абашидзе, Ярослав Смеляков и Петрусь Бровка, в затейливых стихотворных импровизациях состязались Мирзо Турсун-заде и Расул Гамзатов, да разве

перечислишь всех, кто бывал здесь, кто участвовал в праздничных поэтических застольях, которыми весело и темпераментно руководил сам хозяин дома!

Вспоминаю, как однажды, лет десять назад, поздно вечером я заглянул к Гафуру Гуляму по срочному делу: он обещал написать предисловие к сборнику молодого поэта — рукопись уже была подписана в набор, и предисловие требовалось немедленно. Зайдя в гостиную, я увидел за столом Михаила Аркадьевича Светлова, который в те дни был в Ташкенте. Поэты говорили о Хафизе; по оживленным их лицам я понял, что разговор был чрезвычайно интересен для обоих. Мешать беседе двух аксакалов было неловко, я робко напомнил Гафуру Гуляму о его обещании, смущенно отказался от предложенного мне чая и, попрощавшись, направился к выходу.

— Не волнуйся, утром предисловие будет готово, — сказал Гафур-ака, провожая меня до калитки. — Заезжай в любое время...

Часов в десять утра я снова был у него. Каково же было мое изумление, когда я увидел поэтов за тем же столом и в тех же позах! Казалось, разговор их не прерывался, только теперь речь уже шла о Маяковском, к которому Гафур Гулям относился всегда с особенно благодарной любовью, — Михаил Аркадьевич вспоминал свои встречи с ним. А между тем предисловие было уже написано, и написано с блеском и остроумием, которые свойственны были всему, что выходило из-под пера Гафура Гуляма. Оказывается, он написал его ночью, когда Светлов спал в отведенной ему комнате, а с утра поэты снова вернулись к беседе.

Дружба Народного поэта Узбекистана Гафура Гуляма с литераторами России — поэтами и прозаиками — имеет давние корни. Помощь русских товарищей, творческая учеба у них сыграли огромную роль в формировании его как художника. Еще в конце 20-х годов в один из приездов в Москву молодому Гафуру Гуляму выпало счастье встретиться с Алексеем Максимовичем Горьким, который, как писал поэт, «проявил трогательное внимание» к нему. Важнейшее значение для Гафура Гуляма и его

сверстников — молодых литераторов Узбекистана — имели выступления Горького по вопросам литературной учебы.

В 1928 году в газете «Известия» была напечатана статья Горького «О начинающих писателях». Много лет спустя Гафур Гулям рассказывал автору этих строк о том впечатлении, которое произвела на него эта статья:

— Сердитая была она, очень сердитая, — говорил он. — Многим из «начинающих» крепко досталось в ней. Досталось и за литературную неграмотность, и за то, что мало читаем классика. Что скрывать — ведь в те годы некоторым казалось, что нам, строителям нового общества, «не к лицу» изучать «феодалную», «буржуазную» и прочую литературу. Зачем, дескать, нам Гёте — ведь всем известно, что он был царедворцем! А Бабур — и того хуже, потомок самого Тимура! Алексей Максимович крепко отчитал самоуверенных «грамматеев». И хоть об узбекских писателях он ничего не сказал в своей статье, мы понимали, что многое из того, о чем он написал, относится и к нам... Вот тогда-то я и решил сочинить рассказ об одном из таких грамматеев. Напечатал его в «Муштуме». Если б ты знал, сколько обиженных мне тогда письма писали!..

Рассказ, а точнее, фельетон, о котором говорил Гафур Гулям, назывался «Когда он говорит о классиках — будьте осторожны!». Героем его был поэт Суванкул — человек необразованный, но чрезвычайно наглый и самоуверенный. Он освоил десяток газетных штампов и убежден, что этого вполне достаточно для того, чтобы писать стихи. Суванкул не знает законов поэтического мастерства, книг не читает, имеет самое приблизительное представление о том, кто такие Пушкин, Толстой, Навои, но между тем назойливо норовит «проталкивать» свои вирши. Любопытно отметить, что Суванкул — родной брат героя стихотворения Михаила Исаковского «Письмо в редакцию...», написанного в те же годы. Этот герой, «поэт Иван Безудержный», столь же неграмотен и самоуверен, как Суванкул. Он считает себя «самородком», чуть ли не гением и возмущается, когда его упрекают в невежестве.

Мысль, доведенная в произведениях Гафура Гуляма и Михаила Исаковского до сатирического гротеска, напрямую переключалась с тем, о чем писал в своей статье А. М. Горький.

Сам Гафур Гулям в те годы настойчиво занимается самообразованием. Неоценимую роль в этом играет для него изучение творчества Горького и Маяковского.

«Я воспитывался на произведениях Саади и Хафиза, Навои и Бедия, знаю и люблю классиков русской литературы и перевел немало их произведений на свой язык, — писал Гафур Гулям. — Но больше всего мне хочется назвать себя учеником Маяковского... Особенно неоценимым явилось для нас грозное оружие поэзии Маяковского в борьбе против условной архаической образности, формалистических канонов старой поэтики феодальных времен, поэтики орнаментальной, безыдейной и бессодержательной, неспособной изобразить жизнь в ее многообразии и разносторонности... Переведа поэму Маяковского «Во весь голос», я понял, что уже не смогу писать так, как писал до тех пор... Маяковский открыл для меня самые разнообразные и неисчерпаемые возможности в области ритмики, словаря, образа, звукового строения стиха...»

Учеба у великих основоположников советской литературы, живые творческие контакты с русскими поэтами, приезжавшими в Среднюю Азию, встречи с ними в Москве, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, делегатом которого был Гафур Гулям, — все это во многом определило его творческий путь.

В 30-е годы завязывается знакомство Гафура Гуляма с Владимиром Луговским, Николаем Тихоновым, Виктором Гусевым, Аделиной Адалис, — со временем оно переходит в прочную творческую дружбу. Луговской переводит ряд стихов Гафура. Вместе с Виктором Гусевым Гулям ездит по Ферганской долине, поэты выступают в колхозах, теплым вечером при свете звезд слушают народного певца.

— На одном из переездов сломалась машина, и нам с Гусевым пришлось идти пешком около тридцати километров, — рассказывал Гафур Гулям. — Чтобы легче было шагать, мы всю дорогу читали друг другу стихи. Гусев перечитал мне чуть ли не всего Пушкина, а я ему — Хайяма. Время пролетело незаметно, и километры показались не такими длинными. Зато потом мы целые сутки отсыпались в недостроенном райкомовском здании, прямо на полу...

В дни Великой Отечественной войны в Ташкенте жили такие выдающиеся мастера

русской литературы, как Алексей Толстой, Корней Чуковский, Николай Погодин, Владимир Луговской, Всеволод Иванов. Часто собирались они в белом доме на улице Арпапая.

— Угля не было,— вспоминает вдова Гафура Гуляма, Мухаррам-апа.— Усаживались вокруг танча — низкого деревянного столика, накрытого одеялом, совали под одеяло ноги, там тлела зола. Молча, сосредоточенно слушали радио, долго и шумно обсуждали положение дел на фронте, иногда читали друг другу статьи, стихи, потом расходились по комнатам и писали. Запирался в своем кабинете и Гафур-ака. Засиживался до рассвета, потом, нередко так и не поспав, уносил написанное в редакцию...

В те суровые годы родилась одна из лучших книг Гафура Гуляма — «Иду с Востока», принесшая ему широчайшую известность, удостоенная Государственной премии. Книга о мужестве и братстве, о том, что могучий союз народов нашей страны «вечен, крепок и неодолим, и в нем нашел Гулям, как и многие другие замечательные советские поэты, силу своей поэзии» (газета «Правда», 13 декабря 1943 г.).

В этой книге было опубликовано стихотворение «Ты не сирота» — одна из вершин поэзии Гафура Гуляма. Обращенное к детям — русским, украинским, молдавским малышам, оставшимся без крова, обездоленным войной,— оно было согрето нежной отцовской заботой, проникновенной лаской, которая доходила до сердца каждого. Замыслом стихотворения Гафур Гулям делился с К. И. Чуковским, который в те дни много писал об эвакуированных детях; русские друзья были и первыми слушателями этого произведения.

...Многое еще можно написать о сердечной дружбе, связывавшей крупнейшего узбекского поэта, лауреата Ленинской премии Гафура Гуляма с прозаиками и поэтами России. Но сейчас мне хочется предоставить слово им самим.

Работая над книгой о Гафуре Гуляме, я обратился за советом и помощью к тем, кто хорошо знал поэта. С любезного разрешения авторов я привожу два письма из тех, что были мною получены.

Письмо Константина Михайловича Симонова.

«Дорогой Адхам Ибрагимович!

...С большой охотой готов ответить на

Ваш вопрос о Гафуре Гуляме, к которому я неизменно испытывал и испытываю чувство любви и уважения.

В моем представлении трудно разделить Гафура Гуляма поэта от Гафура Гуляма человека. Он был цельной личностью, и поэтому стихи его неотделимы от жизни и, наоборот, его жизнь неотделима от стихов. И в жизни и в стихах он был человеком большой и щедрой души, он глубоко любил людей. У него была любвеобильная душа. Но именно поэтому, когда люди были в опасности, он испытывал гнев и возвышал свой гневный голос в защиту людей. Так это было в годы войны. Он был добрый человек, но он умел и ненавидеть!

Я бы не сказал, что способность любить и способность ненавидеть жили в нем рядом. По своей натуре он был больше приспособлен для того, чтобы любить людей. Но именно эта его любовь к людям находила свое естественное продолжение в его ненависти к врагам человечества.

Гафур Гулям был в полном смысле этого слова сын революции. И тот глубокий дух интернационализма, которым веяло и от стихов этого человека, и от всего его житейского поведения, был настолько органичен и естественен в нем, что над этим даже как-то не приходилось задумываться. Насколько я помню, он не склонен был в беседах с другими людьми произносить громкие слова об интернационализме. Способность любить и уважать людей других наций, их интересы, их обычаи, их нравы, их язык,— эта способность была как бы естественной частью его собственного человеческого дыхания.

Именно таким остался в моей памяти облик Гафура Гуляма, поэта и человека, которого я имел радость знать на протяжении многих лет и совсем неподалеку от которого целых два года жил в его родном Ташкенте...

С товарищеским приветом.

Уважающий Вас

*К. Симонов.*

*22 апреля 1970 года».*

А вот письмо, которое прислал мне Николай Семенович Тихонов. Мне кажется, трудно найти слова, более емко и точно определяющие место Гафура Гуляма в истории нашей советской литературы, в развитии узбекской советской поэзии. Слова



эти сказаны не только другом Гафура Гуляма, но и великолепным знатоком его творчества.

«Уважаемый Адхам Ибрагимович!

...Буду рад, если какие-нибудь мои строки послужат Вам в Вашем ответственном и таком важном труде, как книга о Гафуре Гуляме.

...Поэзия Гафура Гуляма — это мир, где новое властно завладело жизнью, где совсем по-иному, чем в старые годы, предстает родная земля и совсем другой ходит по этой земле человек, мастер социалистического труда.

В этом богатом мире, пронизанном двойным светом, светом азиатского могучего солнца и светом коммунистического знания, живет поэзия Гафура Гуляма.

Он, как истый сын Востока, впитал в себя все поэтическое богатство своих выдающихся предшественников и освежил его ветром творческих перемен, которые пришли в жизнь с Октябрем.

Гафур Гулям получил новую силу таланта, заключающего всю торжественность и величие поэзии прошлого и взлет нового стиха, который способствовал тому, что старый узбекский стих стал моложе, сильнее, красочнее, реалистичнее.

Он применяет новую строфику, находит новые энергичные разговорные интонации, взамен условной поэтической речи, пронизанной архаизмами.

Голос Гафура Гуляма — это голос певца, идущего с Востока, говорящего о победе над мрачным прошлым, о росте человека, поющего о радостях жизни, о счастье новых поколений.

Под его песни и марши ходили на бой с басмачами и на труд новых дней первые комсомольцы. Его сатира на страницах журнала «Муштум» поражала сторонников старого, разоблачала слуг и хозяев вчерашнего дня Средней Азии непрерывно и беспощадно.

Возьмите его темы, темы его поэм. Он воспевал коллективизацию (в поэме «Жукан»), дружбу народов (в поэме «На путях Турксиба»), вставал на защиту прав женщин (повесть «Ядгар»).

Он был и поэтом-трибуном и поэтом-лириком, который прекрасно дружил с молодежью и завоевал ее признание своими лирическими стихами.

— Я иду с Востока! — так провозгласил он и смело встретился с мировым трибуном — поэтом революции, с Владимиром Маяковским. Но он не стал его подражателем. Он нашел свой голос, свой стих, и я, может быть, ошибусь, но мне кажется, что два поэта советской нашей Азии сильнее многих своим могучим талантом. Это Мирзо Турсунзаде и Гафур Гулям. Как поэты они — соратники, поэтические братья.

Если бы меня спросили, как русского поэта, что принес нового в мировую поэзию Гафур Гулям, я бы ответил, что он пришел с песней обновленного Востока, с гимном радости жизни, с образом нового человека Азии, который преобразил свои родные края и, когда нужно было защитить великую родину — Страну Советов, вместе со всеми братьями по оружию сокрушил фашизм, освободил народы от ига гитлеризма и дошел до Берлина, чтобы воздвигнуть знамя Победы.

Будут еще, придут новые сильные поэты будущего, но голос Гафура Гуляма, как предвестника этого грядущего, звучал и как боевая труба, и как песня мира и любви.

Он был запевалой узбекской поэзии, старейшим и славнейшим мастером, с которым можно было говорить как о поэзии классических поэтов, так и о поэтах современных, с которыми он делил честь служить великому и неповторимому нашему веку!

Молодым поэтам всегда будет чему поучиться у Гафура Гуляма, от его высоких гражданских качеств до самых сокровенных движений человеческого сердца!

Он возвеличил своим песенным талантом узбекскую поэзию и дела узбекского народа, смело вступившего на дорогу к коммунизму!

*Николай Тихонов.  
21 декабря 1969 г.»*

## Иосиф Уткин 1903–1944

Со стихами о революции и гражданской войне вошли в творчество Иосифа Уткина (1903—1944) и стихи о пролетарском интернационализме. Двадцатилетнему поэту оказались одинаково близки сибирские партизаны и рыжий портняжка Мотэле, «ходя» из Чифу и охотник-якут Олеська, английский углекоп и сосед по солдатскому строю — кабардинец...

Эта близость, возникшая и закалившаяся «под единым знаменем идей», и определила интернациональное звучание поэзии Иосифа Уткина. В общности исторических судеб народов нашей страны видел он корни интернационализма и проявлял живой интерес к литературе братских: национальных республик Советского Союза.

Так было в 20-е годы, когда, возглавив литературный отдел «Комсомольской правды», он широко печатал поэтов со всех национальных окраин и нередко целиком отводил организованную им «Литературную страницу» под произведения писателей народов СССР — этим публикациям было суждено начать путь многих братских национальных литератур к всесоюзному читателю. Так было в 30-е годы, когда он руководил отделом поэзии Гослитиздата и всеми силами добивался «правдивого представления о поэтах и поэзии СССР».

«Неисправимый лирик», он крайне редко выступал с теоретическими или критическими статьями.

Но в годы Великой Отечественной войны — в одном только 1943 году — Иосиф Уткин пишет одну за другой статьи о «литературных однополчанах» — поэтах братских национальных республик: Сулеймане Рустаме, Аркадии Кулешове, Георгии Леонидзе, Антанасе Венцлове и группе литовских поэтов — авторах сборника «Живая Литва».

Вниманию читателей «Дня поэзии» и предлагается одна из этих пяти статей Иосифа Уткина: «Живая Литва» — о литовских поэтах, авторах одноименного коллективного сборника.

В семью советских народов Литва вошла летом 1940 года, а летом следующего, 1941-го, запылали ее города и села. Одна судьба — дороги Великой Отечественной войны — свела Иосифа Уткина с литовскими поэтами, выпустившими в конце 1942 года свой первый сборник на русском языке — небольшую, скромно — с веткою руты на обложке — изданную книгу стихов «Живая Литва».

Она не прошла мимо внимания Иосифа Уткина: 11 марта 1943 года он выступил на расширенном заседании национальной комиссии Союза писателей СССР с докладом о литовской поэзии. «Живая Литва» была признана заметным литературным явлением военных лет. По предложению радиокомитета, Иосиф Уткин организовал передачу, в которой приняли участие О. Абдулов, Н. Першин, С. Балашов, читавшие стихи литовских поэтов.

По материалам обоих выступлений он написал эту статью, которая тогда же была переведена на литовский язык и напечатана в газете «Тiesa» («Правда»), № 21—22, и в альманахе «Пяргале» («Победа»), кн. 1. На русском языке статья публикуется с небольшими сокращениями впервые.

Д. Фикс

### «ЖИВАЯ ЛИТВА»

В одном отказать беде нельзя: друзей мы узнаем лучше с ее помощью.

По упоминанию в сонете Мицкевича мы догадывались, что Литва — родина многих подлинных поэтов. Теперь мы уже более твердо можем сказать, что в великий поток советской поэзии влился новый богатый приток. Истоки его ударили из недр Литвы в начале XVIII века (Донелайтис) и, не ослабевая, широким потоком дошли до

наших дней. Но рамки буржуазно-националистической государственности стояли между советским читателем и литовским искусством. Только после того, как были убраны эти искусственные перегородки, советский читатель получил доступ к сокровищнице национальной литовской культуры, в частности к ее поэзии.

Ярки краски и весел голос литовской народной песни! И этими своими качествами

поделилась она с литовской поэзией. Чистота и, мы бы сказали, какое-то целомудрие, присущее литовскому фольклору, оплодотворили литовских поэтов. Язык и краски народных песен проложили прочный мост между поэтами и их народом. А быть близким к языку своего народа для поэта значит быть близким к его жизни, борьбе, труду, к его радостям и страданиям. К чести литовской литературы она глубоко народна, что для Литвы означает — глубоко национальна.

Для литовской поэзии характерна общественная заостренность стиха не только и даже не столько в публицистическом смысле слова, а в том, что вся ее, так сказать, интонация глубоко национальна, как может быть национальна поэзия борющегося и страдающего народа. Следует кардинально отделить понятие *национальное* от *националистическое*. Национальное адекватно народному...

Поэзия Литвы народна. Народная песня — это основной резервуар поэтического богатства Литвы. Но путь литовской поэзии — это путь, намеченный и обозначенный именами Донелайтиса, Стразделиса, Диониза Пошки, Майрониса, Юлиса Юнониса.

Сказанное выше определяет и поэтику литовской поэзии. Несомненно, что основное словесное образование литовской советской поэзии строится на сращении народного словаря с городской лексикой. В композиции народной песни стиливые особенности современного литовского стиха. Это особенно легко проследить на творчестве старейшего современного поэта Литвы Людаса Гиры, в поэзии Саломеи Нерис, в стихах Венцловы. Отсюда же, как нам кажется, типичное для литовских поэтов целомудренное обожание природы родной Литвы: этому научил их скромный, трудолюбивый и патриотичный литовский крестьянин.

...Легко, очень легко впасть в эпигонство народным образцам искусства. Еще легче воспользоваться мотивами народного искусства, общественной полезностью его простоты, обратиться в этакое литературного раешника-песенника. Примеры этому не единичны. Но народным искусством является не то «сарафанное» псевдоискусство, которым часто прикрываются реакционные вкусы малоодаренных людей, а искусство, стоящее на уровне современных

проблем и интересов своего народа. Таким образом, народное искусство — это вовсе и не только, а иногда и не столько доступное буквально всем искусство, но и искусство, наиболее близкое по своей сути к природе народа. И, таким образом, искусство народное — это оригинальное искусство подлинных художников, где творческая индивидуальность обозначает самостоятельный оригинальный труд художника.

...Жившая еще раньше, в период подпольной борьбы, кипучей жизнью родника народной мысли, литовская поэзия после присоединения Литвы к СССР заняла поэтическую трибуну молодой Советской республики. Печатное и устное поэтическое слово в Литве приобрело такие тиражи, о которых литовские поэты и не смели мечтать в прежние времена. Вместе с тем социальные события Литвы резко дифференцировали литературные круги республики. Те, кто оказался с народом, стали его любимцами. Ничтожное меньшинство, глухое к судьбе своей родины, стало безразличным и для народа.

«Живая Литва» — это сборник поэтов, кровно связанных с судьбой своего народа до событий 40-го года и после них. По своему поэтическому возрасту, творческому лицу, поэтическому опыту это все люди разные. Но великий Маяковский учил нас ценить разность поэтическую. Имена же Гиры, Нерис, Венцловы, Корсакаса, Шимкуса, Межелайтиса — это, безусловно, имена собственные в поэтическом смысле этого слова. Но если каждый поэт Литвы, вошедший в этот сборник, отличен по своему творческому лицу, то одно, общее для всей книги, несомненно, в этом сборнике есть: это борьба за живую Литву. И еще характерно для этой книги — это, уже констатированная нами, влюбленность ее авторов в свою родину, ее природу, ее историю, а значит, в ее будущее. Эта страстность в любви к родине и в ненависти к ее поработителям — залог грядущей темы победы. Ее дождется и добьется литовский народ, о ней напишут его поэты.

Людас Гира — старейший в книге, да, пожалуй, и в Литве. Симпатии, которыми он пользуется у себя на родине, заложены как раз в той благодарной работе на мотивах и словаре народности, о которой мы говорили выше. Когда литовский народ протянул руки братской дружбы народам России, Гира стал певцом этой дружбы. И сло-

ва для своих песен дружбы он стал черпать из народного источника, питающего эту дружбу. Прошедшие через сердце и лабораторию поэта, они становятся популярными, близкими Советской Литве стихами.

Дом, где пели прялки,  
Потому так тих,  
Что навек закрылись  
Очи у ткачих.

Розу оборвали...  
Девушке зверьё  
Кинуло на шею  
Жгут из кос ее...

Нетрудно догадаться, о каком звере идет речь. Горе постигло родину поэта, и поэт в горе остался верен родине. Но тот, кто умеет писать о любви, научиться петь ненависть....

Нам говорили о нежной любви, которой пользуется у себя на родине Саломея Нерис. Не так-то просто стать любимцем своего народа!

Тот, кто крепко любит  
Родину, — не словом,  
Подвигом докажет  
Ей любовь свою.

Так говорит Нерис в одном своем стихотворении. В чем же подвиг поэта, снискавшего любовь народа? В любви к народу. Но эта прекрасная черта еще не делает человека поэтом. Нам кажется, что национальная мягкость, гуманность и, если хотите, скромность литовского народа нашла своего яркого выразителя в лирическом даровании Саломеи Нерис. Обаятельность интонации народной песни счастливо скрещивается в творчестве поэта с ее собственным лиризмом, и это-то, видимо, так и роднит творчество Нерис со вкусами литовских читателей.

Соколята-братья, где вы?  
Эй, дубки лесные, где вы?  
Может быть, в песке истлели  
Или вас укрыли ели?..

Осень. Отцвели поляны.  
Вереск пахнет остро, пряно.  
И военные шинели  
Сверстники мои надели!

Искусство видеть мир — это, может быть, наиболее характерное, что отличает поэта от просто наблюдательного человека. Достаточно прочесть одно стихотворение Венцловы «Месть», чтобы сразу понять, что

мы имеем дело с поэтом. Насколько можно доверять переводам, голос Антанаса Венцловы — голос крепкий, определившийся, диапазон широкий и палитра разнообразна: от «Мести» до «Фрица Хунденманна». Ненависть в поэте только тогда поэтична, когда она мужественна. Но мужественность, если брать основное в поэтической интонации, это, может быть, самое характерное для голоса Венцловы. Возможно, что ощущение мужественности создается и от законченности стихов поэта. Наиболее ярко подтверждающими наше впечатление о поэте стихами нам кажутся стихи «Родине и любимой», «Месть». Боюсь показаться смешным, но кажется, что и тоска по родине у каждого поэта по-своему выражается, звучит. Как хор, поющий одну грустную песню, где каждый выводит свою партию. Да и не может быть хора, где все поют басом. От грусти Венцловы веет чем-то мицкевическим. Но голос Литвы он слышит.

В Костасе Корсакаса, говорят, борются поэт и критик. Известный критик Литвы, он и поэт своей родины. Сейчас в нем, видимо, победило поэтическое начало, и как о поэте мы и говорим о нем. Прочитав стихи Корсакаса, сразу понимаешь, что толкнуло поэта вернуться к своей музе. Кулаки поэтического гнева сжимаются в руках Корсакаса. Как загипнотизированный этим чувством, стоит он перед картой поработанной Литвы и по тонкой паутине ее ведет пути возвращения свободы и отмищения... Но о поэзии Корсакаса можно сказать, что это поэзия до крови закусенных губ, как закусывает губы в гневе и нетерпении солдат перед тем, как броситься в решительную атаку.

Закон есть возмездия: око за око.  
За смерть — смерть; закон вечной правды таков...

Таков душевный строй поэта. Но так же чувствуют лучшие люди литовского народа. Значит, поэт правильно чувствует.

В сторону поработанной Литвы устремлены души и двух остальных поэтов сборника — Шимкуса и Межелайтиса. Насколько позволяют судить несколько стихотворений этих поэтов, это два лирических голоса в талантливом поэтическом хоре «Живой Литвы». Но лирический голос поэта-изгнанника имеет особую силу воздействия на слух тех, кто прислушивается к голосу поэта там, далеко на родине. Мы помним

железную силу тоскующего лиризма великих печальников — Шевченки, Гейне, Мицкевича. Пусть это маршалы истории. Что ж, мы согласны быть и верными солдатами своей родины, своей литературы.

...Сборник «Живая Литва» — это первое знакомство. Но знакомство приятное. Нам особенно интересное, как барометр общественных настроений Литвы. Барометр показывает бурю. Девятый вал народного

гнева будет последним в море фашистских преступлений. С ним мы выйдем на берег освобожденной Литвы. Но путь к берегу ведет через бурную стихию борьбы. Борьба будет жестокой, но мы к ней готовы. Готов к ней и литовский народ. Готовы к ней и литовские поэты. Об этом красноречиво свидетельствует сборник литовских поэтов — «Живая Литва».

1943

## Абдулла Алиш 1908–1944

Абдулла Алиш — друг и соратник легендарного Мусы Джалиля. Они погибли в один день и час от ножа одной гильотины в берлинской тюрьме. Еще до войны Абдулла Алиш был известным в Татарии детским писателем. Потом был фронт, плен, работа в тюремном подполье. Часто прозаики начинают свой путь со стихов. Путь Алиша сложился иначе: жизнь и борьба сделали его из прозаика поэтом. Стихи, написанные Абдуллой Алишем в ожидании казни, долгим и сложным путем шли на Родину и претерпели много злоключений, прежде чем стали достоянием читателей.

### КАКОЮ БУДЕТ СМЕРТЬ?

Вокруг грохочет битва, мир в огне,  
Чужая воля надо мной и сила,  
Мне мысль, какую смерть придет ко мне,  
Доселе в голову не приходила!

Хоть все равно, какого ждать конца,  
Гадаю я, что мне судьба готовит.  
Быть может, заостренный грамм свинца  
Вдруг просвистит и сердце остановит?

Не раз вступала смерть в свои права  
И медлила, чтобы меня помучить  
Там, в лагерях, где вешняя трава  
Была густа за проволокой колючей.

Неведомо, что станет со мной.  
Какую муку мне судьба пророчит,  
Но смерть уже — я слышу — за спиной,  
Она стоит, смеясь, и косу точит.

Когда ж определит она мне срок?  
Свой явит лик сейчас или помедля?  
Собьет меня волна взрывная с ног  
Иль ближе к небесам поднимет петля?

Иль голодом меня задушит плен,  
Или умру от той премудрой штуки,  
Которую папаша Гильотен  
Придумал, будучи не чужд науки.

### ГЛЯДЯ НА САМОЛЕТ

Я слышу: что ни утро, надо мной,  
Над крышами домов чужого края,  
Как добрый вестник из страны родной,  
Летишь ты, гул недолгий оставляя.

Но, скинув груз и полетев назад,  
Возьми меня в полет свой  
беспредельный,  
Я ослабевший, легче во сто крат,

257

# Марина Цветаева 1892–1941

В октябре нынешнего года исполняется 80 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Человеческая и писательская судьба этого большого русского поэта сложилась трудно. Долголетняя разлука с родиной помешала Цветаевой своевременно установить связь с советским читателем. В последнее десятилетие обширное литературное наследие Цветаевой постепенно становится общим достоянием. Дважды, в 1961 и в 1965 годах, вышли сборники ее лучших стихотворений, поэм и драматических произведений; в журналах и альманахах и отдельно опубликована значительная часть ее мемуарной и литературно-критической прозы.

Публикуем (по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР) стихотворение Марины Цветаевой «То-то в зеркальце — чуть брезжит...». Оно написано в той манере, в том интонационном ключе, которые наиболее характерны для раннего периода творчества Цветаевой. В стихах этих веет владевший ею дух «русской стихии»: запечатлены черты того вольного и неукротимого женского характера, который служил точкой притяжения ее лирических тем и мотивов. В стихотворении слышится отдаленный и, конечно, ослабленный отзвук великой драмы А. Н. Островского «Гроза»: в обрисовке цветаевской героини есть нечто от горячего нрава и трагической судьбы Катерины.

Вл. Орлов

\* \* \*

То-то в зеркальце — чуть брезжит —  
Все гляделась:  
Хорошо ли для приезжих  
Разоделась.

По сережкам да по бусам  
Столковалась.  
То-то с купчиком безусым  
Целовалась.

Целовалась, обнималась —  
Не стыдилась!  
Всяк тебе: «Прости за малость!»  
— «Сделай милость!»

Укатила в половодье  
На три ночи.  
Желтоглазое отродье!  
Ум сорочий!

А на третью — взывала Волга,  
Ходит грозно.  
Оступиться, что ли, долго  
С перевозу?

Вот тебе и мех бобровый,  
Шелк турецкий!  
Вот тебе и чернобровый  
Сын купецкий!

Не купецкому же сыну  
Плакать даром!  
Укатил себе за винным  
За товаром!

Бурлаки над нею, спящей,  
Тянут барку. —  
За помин души гулящей  
Выпьем чарку.

20 апреля 1916 г.

## Николай Рыленков 1909–1969

Николай Рыленков оставил богатое литературное наследие, изучение которого еще только начинается. Поэт на протяжении почти четырех десятилетий — от конца 20-х до конца 60-х годов — вел постоянную переписку с друзьями, писателями, редакциями периодических изданий, книжными издательствами. Доброжелательный интерес к тем, кто входит в литературу, желание помочь товарищам по перу улучшить рукопись заставляли Николая Ивановича часто обращаться к жанру «внутренней рецензии». Следует сказать также и о том, что разнообразные — опубликованные и неопубликованные — отзывы о стихах и поэтах занимают в сохранившемся архиве Рыленкова весьма значительное место.

Ниже публикуются заметки Рыленкова, написанные по разным поводам и в разных жанрах (ответы на вопросы, письмо, рецензия), но объединенные нескончаемой любовью поэта к родной литературе. Заметки говорят не только о широте эстетических взглядов Рыленкова, но и о целостности его отношения к литературному процессу, о глубоком понимании поэтики различных художников. Думаю, что читателям будет интересно познакомиться с отзывами Рыленкова о Яне Райнисе, Валерии Брюсове, с размышлениями об особенностях творчества Михаила Исаковского. Публикуемые заметки написаны Н. Рыленковым во второй половине 60-х годов.

Заголовки в скобках принадлежат комиссии по литературному наследию Н. И. Рыленкова. Тексты для печати подготовила Е. А. Рыленкова.

Евг. Осетров

### <О БРЮСОВЕ>

На Ваши вопросы о Брюсове я могу ответить следующее:

1. Брюсова я считаю выдающимся деятелем русской поэтической культуры первой четверти двадцатого века. Русский символизм, как школу, без него просто невозможно представить.

Чтобы стать таким же выдающимся поэтом, на мой взгляд, ему не хватило непосредственности. Тут мы имеем тот редкий случай, когда эрудиция сковывает поэта.

2. К лучшим стихам Брюсова я отношу «Ассаргадон», «Последнее желание», «Побег», «Блудный сын», «В дни запустений», «Грядущие гунны», «Помнишь вечер», «Пом-

нишь лето», «Одиночество», а также баллады: «Конь Блед», «Помпеянка» и некоторые другие.

3. Брюсов относится к числу тех поэтов, которых принято называть мастерами. Его опыты сыграли существенную роль в развитии техники русского стиха, но я лично не склонен их переоценивать.

4. Прозой Брюсова я специально не занимался и судить о ней не берусь.

5. Как ко всякому подлинному поэту, а он, при всей своей сделанности, поэт подлинный, к Брюсову будут обращаться читатели еще не одного поколения. Но возрастания к нему интереса широких кругов читателей ожидать трудно...

### <О ЯНЕ РАЙНИСЕ>

Ян Райнис принадлежит к числу тех благородных художников, тех подвижников искусства, вся жизнь и все творчество которых неразрывно связаны с борьбой их народов за лучшее будущее. В его духовном облике нашли яркое воплощение лучшие черты характера доброго и мужествен-

ного, трудолюбивого и свободолюбивого латышского народа.

Революционная поэзия Райниса патриотична в самом высоком смысле слова. Порожденная беззаветной любовью к родному народу, она нигде не противопоставляет его другим народам. Национальная



ограниченность чужда ей по самой ее сути. Она полна уважения к общечеловеческим святыням и ценностям, вся устремлена к общечеловеческим идеалам свободы и братства народов.

Гуманистический дух поэзии Райниса определяет и широту ее диапазона. Рядом с суровыми песнями борьбы мы находим у него тончайшие образцы любовной и медитативной лирики, рядом с трагедией —

драматическую сказку. И все это подчинено единой цели, цели освобождения человека от вековых пут, утверждения его прав на всю полноту счастья.

Вот почему, оставаясь явлением глубоко национальным, творчество Райниса близко и дорого всем народам нашей многонациональной родины, всему прогрессивному человечеству.

Имя Райниса будет жить в веках!

## 〈ТВОРЧЕСКАЯ МАНЕРА ИСАКОВСКОГО〉

...Я искренне рад, что Вы продолжаете работать над книгой о мастерстве М. В. Исаковского. Такая книга очень и очень нужна.

У Вас собран большой материал, чувствуется большая любовь к поэзии Исаковского. Но Вам еще не хватает проникновения в индивидуальные особенности Исаковского как поэта.

Все, что Вы о нем написали, можно отнести к любому другому хорошему советскому поэту, близкому к Исаковскому по тематике, по идейной направленности.

Ваша книга страдает описательностью. Вы инвентаризуете только внешние особенности его манеры. Это нужно делать, но этого мало. Необходимо проникновение в самую сущность таланта поэта, чтобы раскрыть то, что он вносит в поэзию своего, неповторимого. Я не берусь дать Вам краткое и вполне исчерпывающее определение поэтического мастерства. Как Вы сами понимаете, это отнюдь не сумма технических приемов. Оно органически связано с характером дарования поэта и определяется всем богатством его внутреннего мира, теми задачами, которые он ставит перед собой, стремясь найти кратчайший путь

к сердцу читателя. Поэтому-то я и боюсь сравнивать даже таких близких и в то же время таких разных поэтов, как, скажем, Исаковский и Твардовский. В народе говорят: «Всякое сравнение хромает».

Творчество Исаковского и Твардовского выросло на одной и той же почве, но это поэты разных диапазонов. К тому же Исаковский лирик, а у Твардовского талант эпический. О себе самом говорить трудно. Меня с Исаковским связывает многолетняя дружба, я многим обязан ему и как поэту, и как человеку. Свое отношение к нему я высказал в статьях, опубликованных к его шестидесятилетию («Лит. газета», «Огонек», «Сов. Россия»). Добавить к этим статьям я сейчас ничего не могу. Одной из самых интересных работ об Исаковском я считаю статью А. Македонова, опубликованную в его книге «Очерки советской поэзии», вышедшей в Смоленске в 1960 году.

Вот все, что я могу сказать Вам. Повторяю: Вы собрали богатый материал, но еще не до конца освоили его. Работа предстоит немалая, и я от всей души желаю Вам успешно справиться с ней...

## Ксения Некрасова 1912–1958

— Детство мое прошло великолепно... Отец был горным инженером. Жили мы между Ирбитом и Щадринском, вблизи Егоршинских каменных полей...

Мы сидели с ней на пяточке у Спаса на Песках. Начался дождь, мы отбежали к стене.

«Счастье поэта должно быть всеобщим, а несчастье обязательно конспиративным», — утверждал Светлов. У Ксении Некрасовой было именно так. Свое детство, со временем я понял, она сознательно приукрашивала. И не только в разговоре со мной.

Вот как она писала в автобиографии: «...Родилась в 1912 году. Родителей своих не помню. Взята была из приюта семьей учителя на воспитание...»

Дождь кончился, и мы вернулись на скамейку. С дерева на рукопись Ксении упали дождевые капли. Она слушала их замирающий ритм, а может быть, не только ритм? Ведь у всего живого и даже неодушевленного, уверяла она, свой голос и, очевидно, свои слова, своя музыка.

Потом она читала:

Я полоскала небо в речке  
и на новой лыковой веревке  
развесила небо сушиться...

И еще:

Я долго жить должна —  
я часть Руси.  
Ручьи сосновых смол  
в моей крови...

Сейчас стихи Некрасовой известны многим, а тогда (в 1948 году) она только мечтала о первой своей книге. Книга эта, «Ночь на баштане», вышла под редакцией С. П. Щипачева несколько лет спустя. После этого Ксения Александровна стала готовить новый сборник, который, к сожалению, ей увидеть изданным не удалось, — книга вышла в свет через месяц после смерти поэтессы.

Еще до войны Николай Николаевич Асеев отмечал своеобразие творчества Некрасовой, «четкость и ясность ее строк... при сохранении почти детской их простоты». Он писал: «Глубокий оптимизм наблюдения, изучения явлений, свойство видеть великое в малом, подчеркивание значительности всего живого, входящего в наш советский быт, пейзаж, чувство и мысль, — вот идея Кс. Некрасовой».

Так говорилось о ее ранних вещах, но мы можем отнести это и ко всей поэзии Некрасовой.

Писала Ксения на случайных клочках бумаги, в альбомах для рисования, в школьных тетрадках. Рукописей своих она не берегла, поэтому много усилий и времени потребовалось для того, чтобы собрать неопубликованные ее стихи.

Многие из них войдут в книгу избранных стихов Ксении Некрасовой, которую выпускает издательство «Советский писатель».

Л. Рубинштейн

### ДЖАМБУЛ

Ночь над Москвой  
прозрачной вышиной  
легла на белые столбы  
прожекторов...

Звенит булыжник под подковой,  
наездник древний и суровый  
из-за высокого угла  
на площадь выезжает шагом,  
и у седла висит домбра.  
Косясь черничными зрачками  
на незнакомые места,  
конь, звонко по камням ступая,

несет по площади певца.  
Синеют ели у Кремля,  
и тень с квадратными зубцами  
откинула кремлевская стена.  
Углами рассекая ночь,  
навстречу путнику встает  
багряный мавзолей.  
И сходит Джамбул с коня,  
и зеленой степью халат  
спадает с сутулой спины  
и свисает узорной полой  
с плеч до каменных плит.

Тиха на площади земля,  
и звезды на небе молчат,  
и только шепотом шуршат  
шаги...

Старик вздохнул и сел,  
ссутулясь, на уступ,  
«Ну вот и я пришел к тебе,  
Как я спешил увидиться с тобой.  
Но разве смерть опередишь?  
Был молод я,  
когда седлал коня  
и о пути расспрашивал людей.  
Но по дороге отняла судьба  
и силу плеч  
и черноту бровей.  
И вот перед тобой стоит  
поэт седой,

как вечные снега...  
Еще вчера я вечером  
был раб,  
был гол и нищ Джамбул,  
и старость кралась по пятам.  
Но светлый день  
передо мной  
предстал,  
и снова сердце и глаза мои  
вечерней юности полны,  
и в предзакатный нежный час  
с высот на землю  
приплывает солнце.  
Я старческой рукой его, пожалуй,  
могу еще, как внука,  
приласкать...»

\* \* \*

Холмы лежали под снегами,  
как будто детская рука  
углем по синим небесам  
цепочки изоб нарисовала,  
и солнце опускалось за стволы,  
и лес рассеивал лучи,  
ручей в снегу не замерзал  
и все как голубь ворковал.

\* \* \*

Под вечер солнце соками земными  
из рек дымящихся  
и радужных озер  
досыта напилось,—  
и, бражности не выдержав земной,  
оно шатнулось раз, другой  
и село,  
вытянув лучи  
на край приятнейшей земли.

СОЛОВЬИ ЗОЛОТЫЕ...

Он был поэт, педагог, прозаик, теоретик русского стихосложения, интересный собеседник, эрудит, рыболов, грибник, неисправимый романтик.

На вид он казался суховатым педантом, а на самом деле был душевным и отзывчивым человеком, склонным к выдумке и фантазии.

— Вы знаете, какая рыба самая вкусная?

— Наверно, карась или форель.

— Ну что вы! Вот бывают щурятки, когда они величиной еще с карандаш...

Эти щурятки величиной с карандаш безвкусны, как трава, водянисты, но собеседник мой убежденно верил, что это самая вкусная рыба на земле. Не знаю, пробовал ли он их, но ему хотелось, чтобы было именно так.

— Державин? Пушкин сказал про него, что это дурной перевод с какого-то прекрасного подстрочника. Да, но если бы перевести этот оригинал как следует (с точки зрения Пушкина), то и получился бы сам Пушкин!

На его семинар ходили с других семинаров и с разных курсов. Пожалуй, только здесь можно было услышать, как свободно учитель оперирует строками и строфами из Верлена, Вийона, Данте, Петрарки, Апполинера, Петефи, Бодлера, Верхарна, Эминеску, Уитмена, Киплинга, Саади, Хафиза, а потом еще из малоизвестных нам тогда Нарбута, Хлебникова, Бориса Корнилова, Незлобина, Ходасевича, Саши Черного, Цветаевой...

По двум-трем удачным строкам в неопытных еще стихах он умел определить будущего поэта, как это было, скажем, в случае с Константином Ваншенкиным.

Автор тонких лирических стихотворений, он втайне гордился не больше ли, чем своей лирикой, тем, что солдатский строй поет его песню «Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты...».

Он хорошо воевал и вообще в жизни был мужественным человеком.

Природу он любил не как ее слепая чистота, а пропуская через сложнейшие сита

ассоциаций и реминисценций. Была у него тяга, так сказать, к микромиру. Не просто пейзаж — лес и река, но стоять и следить, как с вершины осины падает красный лист. Его зигзаги, его бреющий полет доставлял поэту такое же эстетическое наслаждение, как балет или музыка. Одно время он увлекся фотографией мелких деталей земного мира. Положить на землю кольцо с руки и запечатлеть, как через него перелезает муравей. Но — вот другая черта — не догадаться при этом, что для такой съемки нужна специальная оптика, например телеобъектив 135.

Он смотрел на землю влюбленными, но и анализирующими глазами. Романтик боролся с теоретиком, с ученым, но романтик неизменно побеждал.

Поэтому стихи Александра Коваленкова напоены солнцем, блеском воды, свежестью лесной поляны и речного берега. Недаром один из главных его сборников стихотворений называется «Ясный день», недаром обложку этого сборника украшает изображение красногрудого снегиря.

Время от времени от него приходили открыточки без начала, как будто продолжается давно начатый разговор. Они свидетельствовали, что какая-нибудь новая работа его бывшего ученика замечена и прочитана. Последняя такая открыточка написана им за несколько часов до смерти (по поводу статьи «Океан родной речи»). Вспоминаю строки, которые теперь можно считать хрестоматийными.

Сказки пишут для храбрых.  
Зачем равнодушному сказка?  
Что чудес не бывает,  
Он знает со школьной скамьи.  
Для него хороша  
И обычная серая краска.  
Он уверен —  
Невзрачны на вид соловьи.  
Соловьи золотые!..

В этом восклицательном утверждении весь поэт Александр Коваленков.

*Александр Коваленков*  
*1911–1971*

# ПОМАНС

Дальний переулоч, клены, ивы...  
Струн цыганских звездная страда...  
Прежние, знакомые мотивы,  
Чудится — тебя я ждал тогда.

Чудится... а в чем же это чудо,—  
Сорок лет ушло  
                        в заоблачье  
  с тех пор.

Проросла воспоминаний гряда,  
Был костер и улетел в простор.

Впрочем, та цыганская страница  
Объяснений требует иных;

Слишком много грезится и снится  
В умных излученьях глаз твоих.

Прячешься... Ну что ж, такое дело,  
Смотришь, где я подведу итог.  
Ну, а мне любовь не надоела,  
Каждый день влюблялся, если б мог.

Поздний час, а может, час рассвета...  
И не будет старости пока,—  
Думаю, что ты горюешь где-то,  
Так близка и,— черт,— так далека!

## ОЖОГ

Торжествуя, быт храпит по-бычьи,  
На твое сердечко взгромоздясь.  
Пошлость, соблюдая свой обычай,  
Именует страсть словечком «связь».

Спит романтика безгрешно и  
  безгневно,  
Но, пожалуй, было б легче мне,  
Если б эта спящая царевна  
Не во сне была бы, а в огне.

К солнцу ввысь заломленные руки...  
Милая, я знаю норы твой,

Отдала б подружкам эти трюки,  
Босиком пошла б по мостовой,—

Если бы твои порвал я цепи...  
Только сам закован я в броню.  
Прошлых дней, смешных великолепий  
Горы, а не крохи сохраню.—

Для тебя... И ты замкни все двери,  
Бытовым подробностям не верь.  
Помнишь, Фауст молвил Гретхен:  
«Верю»,  
И закрыл за ними дьявол дверь.

## СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Суммируя все сведения, все даты  
Действительных и мнимых перемен,  
Меня бы прокляли друзья мои—солдаты,  
Увидев, что тебе я сдался в плен.

Не сдамся и тебя пленять не стану,  
Единственную... лучше всех других.

Приду прощаться, а в окошко гляну —  
И снова под гипнозом глаз твоих.

Вот здесь и рассуди, где правда,  
  где неправда;  
Смеются боги, ангелы грустят;  
И мудрецы — на то дано им право —  
За стеклами очков свой прячут взгляд.

*Матвей Грубиан*  
1909–1972

ПИСЬМО БУДУЩЕМУ

Будущее, где ты? Постучись!  
На ночлег пуцу, на простынь свежую.  
Ты, как происшествие, случись,  
я тебе в свирель сыграю нежную!

Дом мой весь из песен и стихов,  
звезды мне прислуживают запросто,  
я не пожалею лучших слов,  
самых лучших вин добуду к завтраку.

Будущее! Я тебе писал  
из окопов, где шрапнель царапала.  
Будущее! Я тебя искал  
много лет настойчиво-старательно.

Приходи ко мне! Я твой босяк,  
твой пастух и твой послушник  
яростный,  
твой родник, который не иссяк,  
несмотря на все угрозы старости!

\* \* \*

Я невесомый, как пушинка лета,  
не вздумайте подуть — я улечу.  
И я же тяжелей, чем вся планета,  
и эта тяжесть вам не по плечу.

Я тише и смиренней океана,  
всей глубиной утихшего до дна.  
Моя непостоянность постоянна,  
поскольку я и ветер, и волна.

Познаю ль словом все мои страданья?  
Замрет ли после смерти боль души?  
И состоится ль новое свиданье  
меня и солнца в ласковой тиши?

*Перевел с еврейского  
Виктор Вакс*

*Николай Рубцов*  
1936–1971

ДУЭЛЬ

Напрасно

дуло пистолета  
Враждебно целилось в него:  
Лицо великого поэта  
Не выражало ничего!  
Уже давно,  
как в божью милость.  
Он молча верил  
В смертный рок.

И сердце Лермонтова билось,  
Как в дни обыденных  
тревог.  
Когда же выстрел  
грянул мимо  
(Наверно, враг  
Не спал всю ночь!),  
Поэт зевнул невозмутимо  
И пистолет отбросил прочь...

\* \* \*

Кружусь ли я в Москве бурливой  
С толпой знакомых и друзей,  
Пойду ли к девушке красивой  
И отдохну немного с ней,

Несусь ли в поезде курьерском  
От всякой славы и обид  
И в настроенье очень мерзком  
Ищу простой, сердечный быт,

Засну ли я во тьме сарая,  
Где сено есть и петухи,

Склоню ли голову, слагая  
О жизни грустные стихи,

Ищу ль предмет для поклоненья  
В науке старцев и старух,—  
Нет, не найдет успокоенья  
Во мне живущий адский дух!

Когда, бесчинствуя повсюду,  
Смерть разобьет мою судьбу,  
Тогда я горсткой пепла буду...  
Но дух мой вылетит в трубу!

\* \* \*

Я переписывать не стану  
Из книги Тютчева и Фета,  
Я даже слушать перестану  
Того же Тютчева и Фета.  
И я придумывать не стану  
Себя особого, Рубцова,  
За это верить перестану  
В того же самого Рубцова,  
Но я у Тютчева и Фета  
Проверю искреннее слово,  
Чтоб книгу Тютчева и Фета  
Продолжить книгою Рубцова!..

## Николай Рерих 1874–1947

Он был великим художником и великим тружеником — за свою жизнь Рерих написал семь тысяч картин. Он был великим путешественником и выдающимся ученым. Его экспедиция в неисследованные и малодоступные области Центральной Азии длилась пять с половиной лет. Ему удалось достичь таких пунктов Тибета и Гималаев, куда до него не ступала нога европейца. Завершающей стадией путешествия явилось основание Рерихом Гималайского института научных исследований.

Он был общественным деятелем, борцом за мир. Пакт Рериха о защите культурных ценностей во время военных действий подписан и ратифицирован многими странами мира, в том числе и Советским Союзом.

Вторая часть жизни Рерихом отдана Индии. Здесь он жил последние годы. Здесь его настигла смерть накануне возвращения на Родину, в Россию. В долине Кулу стоит памятник с надписью: «В декабре 1947 года здесь было предано огню тело Николая Рериха — великого русского друга Индии. Да будет мир».

Две главные темы владели творчеством великого художника. В записной книжке 30 декабря 1941 года помечена его запись: «Повсюду сочетались две темы — Русь и Гималаи».

России посвящены его слова, звучащие сейчас удивительно современно: «Великая родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах будем оборонять».

Творчество Рериха необычайно многогранно. Писал он и стихи. Их отличает, как и все созданное Рерихом, своеобразие мысли и формы. Это — вольный стих. В заглавие стихотворения вынесена не первая, как это обычно делают поэты, а последняя строчка (она выражает главную мысль вещи). В стихах, как и в картинах художника, находит воплощение напряженный духовный и творческий поиск. И недаром так часто возникает в стихах образ пути, образ путника, радующегося красоте окружающего мира. Поэзия Рериха практически неизвестна советскому читателю. Отдельные стихи были изданы в Петрограде в 1918 году в монографии Сергея Эрнста «Николай Рерих», другие собраны в книге 1921 года «Цветы Марии». Обе эти книги давно уже стали библиографической редкостью.

Валентин Сидоров

### ПОРА

Встань, друг. Получена весть.  
Окончен твой отдых.  
Сейчас я узнал, где хранится  
один из знаков священных.  
Подумай о счастье, если  
один знак найдем мы.  
Надо до солнца пойти.  
Ночью все приготовить.  
Небо ночное, смотри,  
невиданно сегодня чудесно.  
Я не запомню такого.  
Вчера еще Кассиопея  
была и грустна и туманна,  
Альдебаран пугливо мерцал.  
И не показалась Венера.  
Но теперь воспрянули все.

Орион и Арктур засверкали.  
За Алтапром далеко  
новые звездные знаки  
блестят, и туманность  
созвездий ясна и прозрачна.  
Разве не видишь ты  
путь к тому, что  
мы завтра отыщем.  
Звездные руны проснулись.  
Бери свое достоянье.  
Оружье с собою не нужно.  
Обувь покрепче надень.  
Подпояшься потуже.  
Путь будет наш каменист.  
Светлеет восток. Нам  
пора.

1916



## НАШ ПУТЬ

Путники, сейчас мы проходим сельской дорогой. Хутора чередуются полями и рощами. Дети заботятся о стадах. К нам дети подходят. Мальчик нам подал чернику в бересте. Девушка протянула пучок пахучей травы. Малыш расстался для нас со своей в полоску нарезанной палочкой. Он думал, что с нею нам будет легче идти. Мы проходим. Никогда больше не встретим

этих детей. Братья, мы отошли от хуторов еще не далеко, но вам уже надоели подарки. Вы рассыпали пахучую травку. Ты сломал корзиночку из бересты. Ты бросил в канаву палочку, данную малышом. К чему нам она? В нашем долгом пути? Но у детей не было ничего другого. Они дали нам лучшее из того, что имели, чтобы украсить наш путь.

1917

ПРИ ВСЕХ

Плакать хотел ты и не знал, можно ли? Ты плакать боялся, ибо много людей на тебя смотрело. Можно ли плакать на людях? Но источник слез твоих был прекрасен. Тебе хотелось плакать над безвинно погибшими. Тебе хотелось лить слезы над молодыми борцами за благо. Над всеми, кто отдал все свои радости за чужую победу, за чужое горе. Тебе

хочется плакать о них.  
Как быть, чтобы люди  
не увидели слезы твои?  
Подойди ко мне близко.  
Я укрою тебя моею одеждой.  
И ты можешь плакать,  
а я буду улыбаться, и все  
поймут, что ты шутил и  
смеялся. Может быть, ты  
шептал мне слова веселья.  
Смеяться ведь можно  
при всех.

1919

ЛЮБОВЬ

Вот уж был день! Пришло к нам сразу столько людей. Они привели с собой каких-то совсем незнакомых. Ранее я не мог ничего о них расспросить. Хуже всего, что они говорили на языках совсем не понятных. И я улыбался, слушая их странные речи. Говор одних походил на клекот горных орлов. Другие шипели, как змеи.

Волчий лай иногда узнавал я.  
Речи сверкали металлом. Слова  
становилися грозны. В них  
грохотали горные камни.  
В них град проливался.  
В них шумел водопад.  
А я улыбался. Как мог я  
знать смысл их речи? Они,  
может быть, на своем языке  
повторяли милое нам слово  
любовь?

**1920**

## Андрей Белый 1880—1934

«С радостью встретил я Октябрьскую революцию», — говорит Андрей Белый в автобиографическом очерке «О себе как писателе». В конце жизни он искренне стремится принять участие в строительстве социалистической культуры. Но путь к новой действительности для художника, сформировавшегося в русле предреволюционного символизма, был сильно осложнен идеалистическими представлениями, модернистской эстетикой, теоретиком и практиком которой во многом являлся Андрей Белый.

В предлагаемом вниманию читателей своеобразном «автопортрете» Андрей Белый пытается осмыслить основные черты своего творческого метода. При этом он, с присущей ему увлеченностью желая доказать необходимость всех своих исканий социалистической эпохе и советскому человеку, уходит от самокритичного рассмотрения собственного писательского пути. Этот путь, «полный наитий и заблуждений», фактически остается за пределами автобиографического эссе Андрея Белого. Все же в его страстных субъективных признаниях нельзя не ощутить стоящей за ними объективной реальности — запутанной, мучительной дороги талантливого писателя в идейных лабиринтах старого мира. Любопытны наблюдения Белого над единым музыкально-поэтическим началом своих прозаических, поэтических и публицистических сочинений; художник приоткрывает здесь свою «мастерскую». Главная же ценность публикуемого очерка — в стремлении его автора осознать долг советского писателя перед новым обществом.

Очерк «О себе как писателе» написан А. Белым в марте 1933 года для польской газеты «Wiadomosci literackie», где он и был опубликован в переводе (1933, № 47, 29 октября). Этот номер газеты и рукопись очерка хранятся в архиве А. Белого (Бориса Николаевича Бугаева) в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ф. 60, ед. хр. 38, 106). Публикацию подготовил В. Сажин.

С. Лесневский

### О СЕБЕ КАК ПИСАТЕЛЕ

Говорить о себе как писателе мне неловко и трудно. Я не профессионал; я просто ищущий человек; я мог бы стать и ученым, и плотником. Менее всего думал я о писательстве; а между тем: мне много приходилось думать над деталями моего ремесла; стань я резчиком, вероятно, с тем же пафосом я отдался бы деталям искусства резьбы: вдохновение ведь сопутствует человеку; все есть предмет творчества.

Будучи сыном профессора математики, в отрочестве я более всего увлекся проблемами точного знания, кончил физико-математический факультет; с увлечением работал одно время в химической лаборатории; естествознание во мне как бы сплелось с интересами к проблемам методологии; и отсюда несколько лет переживал я себя и философом; увлечение музыкой и попытка стать композитором впервые приблизила мне искусство, которое и перевесило во мне интерес к точной науке;

увлечение Достоевским, Ибсеном, символами ввели в поле моего сознания поэзию и художественную литературу еще с конца века; но я себя чувствовал скорей композитором, чем поэтом; так долгое время музыка заслоняла мне писательский путь; на последний попал я случайно; я не стремился печататься; первое произведение было написано в полушутку для чтения друзьям: за чайным столом; рукопись попала к Валерию Брюсову; друзья открыли во мне талант; книга вышла в печати почти вопреки моему желанию; и я оказался вовлеченным в круг молодых символистов, ратовавших за новое искусство; обстоятельства открыли дорогу писателя; сложись иначе они, был бы я композитором или ученым; до самозабвения в иные моменты отдавался я своему ремеслу; в другие ж моменты я забывал о писательстве, уже имея за плечами ряд книг; так было со мной в 1912 году, когда я дописывал роман

«Петербург»; проблемы гётизма и опыт работы над резной скульптурой вместе с другими интересами заслонили от меня на два года литературу; и я забыл себя как писателя; в 15-м году я вернулся к литературе.

Вторично: с 1918 и до 21 года — я увлекался культурно-просветительной и отчасти педагогической работой, отдавая все время публичным лекциям, чтению курсов, ведению семинариев и научно-исследовательской работе в области стиховедения; не оставалось времени на писание. Лишь с 24 года я вернулся к литературе вполне; и с той поры много и упорно работаю как писатель.

Первые произведения возникли, как попытки иллюстрировать юношеские музыкальные композиции; я мечтал о программной музыке; сюжеты первых четырех книг, мною вынутых из музыкальных лейтмотивов, названы мной не повестями или романами, а Симфониями (первая, вторая и т. д.). Отсюда их интонационный, музыкальный смысл, отсюда и особенности их формы, и экспозиция сюжета, и язык.

Одна из особенностей моих, как писателя, коренится в привычке, усвоенной с юности; я более слагал свои тексты, чем их писал за столом, подбирая слово к слову, я записывал так сложенные фразы в полях на ходу, и произносил так сложенное себе самому вслух; слагал я свои отрывки часто верхом на лошади; главенствующая особенность моих произведений есть интонация, ритм, пауза дыхания, передающие жест говорящего; я или распевал в полях свои стихотворные строчки, или их бросал невидимым аудиториям: в ветер; все это не могло не влиять на особенности моего языка; он труден для перевода; он взывает не к чтению глазами, а к медленному, внутреннему произношению; я стал скорей композитором языка, ищущим личного исполнения своих произведений, чем писателем-беллетристом в обычном смысле этого слова.

Отсюда трудность для читателей воспринимать меня; она проходит через тридцатилетие литературной деятельности; мои книги вызвали резкие разногласия: одни из читателей явно переоценили меня, другие силились меня смешать с грязью; разделение в оценке проходило не по возрастам и классам, а по способности воспринимать текст внутренним ухом; меня понимали, когда внутренним голосом воспроизводили текст; кто мелькал по строкам глазами, тому

я был непонятен; ибо я взывал не к отдыху, а к напряжению внимания; я встречал ценителей и среди независимой молодежи, и среди старцев, воспитанных на балладах Жуковского; стихи мои воспринимались сердечно и иными крестьянами, когда я их читал вслух; но часто квалифицированные интеллигенты реагировали насмешкой на мои опыты.

Прошло тридцать лет; а я остаюсь в той же позе спорного писателя, которого одни принимают с жаром, в то время как другие повторяют те же суждения, что и тридцать лет назад: «Непонятно». Тематика моих произведений меняется; «Симфонии» я уже не пишу: пишу — «романы»; но принцип сложения их остается тем же (не письменный стол, а запись на ходу сложенного); и то же разделение мнений (не по классам и поколениям, а по отбору читателей) сопровождает явление моих книг; меня одинаково отвергают и принимают и старцы, и юноши, и комсомол, и высококвалифицированные эстеты, и рабочие, и интеллигенты; месяца два назад вышел мой роман «Маски»; и я слышу то же, что выслушивал тридцать лет назад, при выходе первой книги («Симфония»); наперерез этим мнениям я получаю свидетельства того, что я нахожу себе отклик и в массах; как пример, приведу несколько фраз из письма колхозницы, пересланного мне недавно «Лит. газетой»: «Я вспомнила... когда я читаю Белого. Например, несколько дней загружены до отказа: бегаем по деревне, ...бегаем в поля, заполняем сводки о семенах, о навозе, о пашне. Наконец, ...осенняя посевная закончена. Тогда в эти дни... нам хочется музыки (так, как хочется хлеба)... И вот тогда-то берешь с полки Белого... и Белого-то я читала (читаю всегда) только «Москва», «Серебряный Голубь», да «Пепел»... У Вас, Борис Николаевич<sup>1</sup>...вовсе не «узкий круг читателей». И круг этот становится шире и шире... Ваши книги читают товарищи мои — это ребята с производства, рабочие, колхозники и бойцы Красной Армии... Хотелось... благодарить, много благодарить Вас за то, что даете Вы своей работой» (из письма комсомолки-колхозницы Е. Касимовой из деревни Молзино, Ногинского района, Моск. области).

Когда получаешь такие письма, то рассеиваются сомнения: нужен или не нужен ты?

<sup>1</sup> Мои гражданские имя и отчество.

Ты видишь эффект культурной революции; передовой авангард масс, протянутых к культуре слова, в социалистическом будущем станет ведь большинством; и ты, принятый в сердце представителей этого авангарда, имеешь право отдаваться вопросам, смысл которых не всегда виден людям переходной культуры; переданный тебе от сердца в сердце привет становится стимулом к самопознанию. Так: я осознал стремления, сложившие своеобразие моего языка; они — усилия к выходу писателя из литературы в узком смысле; в первичную фазу культуры, ритм, жест, соединенные с трудовым действием, себя изживали цельно; искусство до «искусства», замкнутого в формы, продолжало и позднее себя изживать, как призыв к действию высвобождения из сложных темниц слова; распад первичных форм творчества во второй период культуры (антитезис) обусловлен распадом первичных хозяйств, фетишизмом товарного производства и той формой технической дифференциации (технизации), которая явилась последствием ненормального развития жизни в условиях буржуазной культуры. Мне всю жизнь грезилась какие-то новые формы искусства, в которых художник мог бы пережить себя слиянием со всеми видами творчества; в этом слиянии — путь к творчеству жизни: в себе и в других. Книга всегда теснила меня; мне в ней не хватало и звуков, и красок; я хотел вырыва из тусклого слова к яркому; отсюда и опыты с языком, взятым, как становление новых знаков общения (слов); отсюда и интерес к народному языку, еще сохранившему целую жизнь, отсюда и обилие неологизмов в моем лексиконе, и переживание ритма, как начала, соединяющего поэзию с «прозой»; писатель увиделся мне организатором языковых стремлений народа: он — и живой рассказчик, и певец-исполнитель, действующий тембром голоса и жестикуляцией.

Искание тембра и жеста выбили из писательского кабинета меня — в поля, в лес, на площадь, где я слагаю отрывки своих произведений, как песни, записываемые на клочках.

В стихотворениях моих отпечатались сложные ритмы, ведущие поэзию через вольный размер к речитативной прозе; в итоге ж работы над прозой она приняла характер напевного лада; последний роман мой «Маски» — собственно не роман, а лирико-эпическая поэма. Мне тесно в книге;

и, заключенный в нее, невольно шатаю я ее устои; и это не потому, что я думаю, будто в культуре грядущего книга исчезнет; все виды литературы в ней сохраняются, конечно; но над ними подымется новая сфера творчества, к которой будет выход из только музыки и из только литературы; новый человек эпохи синтеза скажется в ней.

Позыв к «новому» человеку деформировал мне «нормальный» путь литератора; и я стал для многих — экспериментатором стиля, производящим рискованные лабораторные опыты над языком, мои языковые стремления частью отрезали меня от заграничной аудитории; роман мой «Серебряный Голубь», имевший успех за границей, еще кое-как переводим; перевод же романа «Петербург» на немецкий язык вышел из рук вон плохим, несмотря на культурность переводчицы; и это потому, что ритмы сложнее в нем, языковые особенности более выпуклы; о романе «Москва» в немецкой прессе писали: этот роман непереводим; на предложения о переводе на английский язык симфонической повести «Котик Летаев» я ответил молчанием; передо мной встала картина искажения ритмов и деформации слов; повесть «Крещеный китаец» сложилась из звуков шумановской «Крейслерианы»; она вышептана так, как вышептывается стихотворение; то же должен я сказать и о романе «Маски».

Я, увы, непереводим; и потому-то так я держусь за признанья читателей, подобные письму колхозницы, заявляющей мне, что книги мои заменяют ей музыку.

Как читатель, я тянусь к простым формам: боготворю Пушкина, Гёте, люблю Шумана, Баха, Моцарта; пугаюсь психологизма Пруста и выкрутасов Меринга; а как писатель появляюсь в рядах тех, кто ломает простоту форм; и это неспроста.

То же стремление отразилось и на тематике произведений моих; она — стремление к новому человеку; в первый период творчества это стремление романтично; осознание, что путь к новому человеку прегражден, пока не изменятся социальные условия жизни, отразилось ярким пессимизмом и разбитием во мне молодых утопий; этот пессимизм сказался в мрачном тоне сборников стихов «Урна» и «Пепел» и романах «Серебряный Голубь» и «Петербург». Решительным моментом в перемене всей тональности творчества оказалась мировая война, пережитая мною в Швейцарии;

здесь я постиг ужас империалистической прессы всех стран и внутренне отряс прах старого мира; в повести «Записки Чудака», написанной позднее, рисую я смятенность сознания, стоящего перед мировым авантюризмом; война раз навсегда определила мой лозунг: долой войну, долой условия культуры, ее вызывающие! С ужасом возвращался в Россию я в 1916 году; с радостью встретил я Октябрьскую революцию; с тех пор сфера моей работы — внутри СССР; последние пятнадцать лет оказались продуктивными для моего творчества; за это время мною написаны: повести «Записки Чудака», «Крещеный китаец», два тома задуманной тетралогии («Москва», «Маски»); в первом томе рисуется тяжесть довоенной жизни в России; во втором — показана Москва на фоне фронта, перед революцией; в третьем томе я хочу показать октябрьский переворот и эпоху военного коммунизма; в четвертом — новый, реконструктивный период; за это время мною написано много стихов, две поэмы, серия книг, рисующих кризисы буржуазной жизни («Кризис мысли», «Кризис жизни», «Кризис культуры» и т. д.), два тома «Путевых заметок», книга «Ветер с Кавказа», исследование о ритме («Ритм как диалектика»), книга, посвященная творчеству Гоголя («Мастерство Гоголя»), и три тома, рисующих культурную жизнь дореволюционной России («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»); последние две книги, как и «Мастерство Гоголя», выходят в ближайшем будущем; также мною задуман роман, под названием «Германия»; в связи с замыслом последнего придется сказать еще несколько слов об особенностях моей тематики, весьма усложнявшей восприятие меня как писателя.

Мое несчастье в том, что в процессе творчества передо мною не раз вставляли образы, осуществлявшиеся в действительности лишь через несколько лет по написанию книги; отсюда: смутность в передаче их за отсутствием натуры; первая книга, «Симфония», рисовала тип религиозного философствующего чудака из теряющей под ногами почву интеллигенции; герой моего романа «Серебряный Голубь» — столяр Кудеяров, полуэротик, полуфанатик, — не отображает точно секту хлыстов; он был сфантазирован; в нем отразился пока еще не видный Распутин, еще не появившийся в

Петербурге. Роман «Петербург», отражающий революцию 1905 года, пропитан темой гибели царского Петербурга; роман с отвращением был мне возвращен редактором «Русской мысли» П. Струве, увидевшим в нем злую насмешку над его представлением о России. Осенью 31 года я давал конспект мной задуманного романа «Германия» Издательству Писателей в Ленинграде; фабула его рисовала фашистский заговор и преследования фашистами революционно настроенного интеллигента; с фашистами я никогда не встречался; фабула — смутный лейтмотив, вставший мне из воздуха берлинской жизни в 1922 году; напиши я роман в прошлом году, читатели бы воскликнули: «Это — пародия на Германию, оклеветывающая действительность!» Увы, — ужасные события последних недель показали *правду* моей фантастики. Налет подобной фантастики в ряде романов не раз оказывался смутным переживанием фактов близкого будущего, созревающих под покровом поверхностной злободневности; отсюда — налет символизма на моем творчестве; в нем образы подчас забегают вперед, рисуя натуру не в «ставшем», а в становлении; отсюда вечный конфликт между натуралистической статикой и стремлением к динамизму, отделяющему правду от ходячих абстрактных формул, ходячих «сегодняшних» истин; но эмбрион завтрашнего дня в дне сегодняшнем переживался мной порой смутно, ибо видимость не давала еще созреваемых фактов действительности; напиши я роман «Петербург» лишь двумя годами позднее, воздержись я от написания романа «Серебряный Голубь», мой мифический столяр появился бы в «Петербурге» в качестве Распутина; в «Серебряном Голубе» он, увы, еще не доехал до царского дворца.

Таковы трудности моего пути как писателя: они — в разрыве между «сегодня» и «завтра», между книжным искусством и искусством жизни, между кабинетом и аудиторией, меж беззвучным пером и живым человеческим голосом; я артист-исполнитель, ставший писателем, или писатель, пишущий для эстрадного исполнителя; думаю: трудностей моего амплуа мне не изжить, но уповаю: мои искания найдут отклик в будущем.

## АЛЕКСАНДР БЛОК О НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТАХ

Александр Блок рано завоевал любовь и авторитет у русской молодежи. Вот как сказал об этом один из крупнейших советских поэтов, Николай Асеев, — сказал от лица своего поколения, «только что пережившего 1905 год»: «Поколение просто услышало давно неслышанный чистый человеческий голос, полный бурных страстей, великой любви, огненного гнева ко всему мертвому, внешнему, условному, пустому».

И чем больше росла читательская аудитория Блока, тем все чаще обращались к нему за советом и за поддержкой молодые люди, видевшие свое призвание в литературной деятельности, — по преимуществу, конечно, стихотворцы.

Блок никому не отказывал во внимании. Много начинающих литераторов или людей, только мечтавших о литературе, выслушало от него слово правды — иногда, может быть, горькой, но всегда прямой.

Большой интерес в этом смысле представляют письма Блока к тем, кто посылал ему на суд свои произведения. Ответы Блока, даже высказанные в самой лапидарной форме, всегда содержательны, проникнуты духом борьбы за высокое, полноценное искусство и неизменным протестом против всяческих дешевых ухищрений и красотостей, несовместимых с настоящей поэзией, обращенной к жизни и к человеку.

Блоку принадлежат крылатые слова: «Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу». И он никогда не шел навстречу человеческим слабостям, дурным вкусам или неоправданным претензиям, а судил творения литературной молодежи со всей строгостью, без каких-либо скидок, — причем учил ее не столько «тайнам» поэзии, сколько чувству ответственности за сказанное слово, отвращению к эстетической лжи и уменью мужественно глядеть в лицо жизни, как бы сложна и трудна она ни была.

Наглядным примером такого отношения Блока к молодым поэтам может служить письмо его к юному Сергею Есенину, которому он первый дал путевку в большую поэзию. Вот что написал он Есенину в апреле 1915 года: «...путь Вам, может быть,

предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее».

Писем Блока к начинающим литераторам было, как можно установить, очень много, но до нас дошла, к сожалению, лишь малая их часть. В какой-то мере дополняют их сохранившиеся пометы Блока на письмах его корреспондентов, сообщавших ему свои стихи. Пометы немногословны, как правило, содержат в себе лишь зерно будущего ответа корреспонденту, но во всех случаях ясно выражают мнение Блока.

Приводим некоторые из такого рода помет. Они публикуются по материалам Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ). Пометы расположены в порядке хронологическом.

18 марта 1909 г. — о стихах Л. Семилуцкой: *«Не относятся к искусству»*.

Август 1912 г. — на письме В. Пржездецкого, который спрашивал Блока, «в чем источник радости земного бытия?»: *«Любовь и труд»*.

8 февраля 1913 г. — о стихах И. Авербаха: *«Нет своей темы»*.

17 февраля 1913 г. — о стихах Е. Вавулиной: *«Я ответил, что стихи — вне литературы»*.

Апрель 1913 г. — о стихах Н. В-ова (вероятно, Н. Венгрова): *«Декадентские ходули, старо, напрасно торопится, пошлости, трескотня»*.

Апрель 1913 г. — о сборнике стихов Ю. Анисимова «Обитель»: *«Не отвечу, не могу... Книжка очень бледна. Мне нечего написать ему, я только поблагодарил его за книжку»*.

Сентябрь 1913 г. — о типично декадентских стихах и рассуждениях С. Богомолова: *«Еще не живет вовсе. Какой будет — не видно. Пока не отвечу»*. Переписка с С. Богомоловым продолжалась (до нас дошло несколько писем Блока к нему); на первых по-

рах этот начинающий поэт заинтересовал Блока, но в дальнейшем «не оправдал надежд». Вот еще две блоковские пометы на письмах Богомолова: «Плохо верится, чтобы эта красная девица переменилась и возмужала» (1 мая 1914 г.); «По-бабы, бездарно, банально и никчемно. Не стоит отвечать. Все ведь неправда».

Октябрь 1913 г. — на письме И. Бобовича: «Не надо отвечать. Ответ, сам по себе, — поощрение и реклама. Если мальчишка талантливый, когда-нибудь выплывет. Однако уже смеет заикаться о «печатаньи». Где же «восторг?»

2 декабря 1913 г. — о стихах В. Холодковского: «Стихи оказались вовсе не стихами. Банально, многословно, однообразно, бесформенно. Всё — искусство. Ни «экономии» материала, ни новых слов, ни новых сочетаний. Ни одно слово не оживает. Идет по «линии наименьшего сопротивления» — дряблая душа».

4 декабря 1913 г. — о стихах С. Микулина (друга В. Холодковского): «Обманывает

себя (как и его друг) эстетикой, лжет самому себе. Спасение — работа».

Март 1915 г. — о стихах П. Филипповича: «Простота борется с метафоричностью, с вычурами модернизма; пока не побеждает».

Май 1915 г. — о стихах Н. Ястребова: «Свежести нет, вот что страшно».

Ноябрь 1915 г. — на письме Н. Минич, появлению стихов которой в печати Блок способствовал: «Недотрага и белоручка уже начинает гордиться (чем?)».

Январь 1916 г. — о сборнике стихов Г. Адамовича «Облака»: «...ответил довольно много 24 янв. (очень плохие его стихи)».

4 октября 1920 г. — о стихах С. Раевской: «Много приходится читать стихов. В этих я не вижу нового ничего. Банальности, модернистские штампы, много чужих строк, образы книжные, любви к языку нет, будто бы свободный (а, в сущности), беспомощный и скованный) стих. А не формально: интеллигентское настроение сегодняшнего дня. Маловерие, растерянность, Христос без Креста».

## Александр Блок 1880–1921

### «В СВОЮ РАБОТУ Я ВЕРЮ...»

#### Письма к издателю К. Ф. Некрасову

Публикуемые ниже письма Александра Блока (письма адресованы в Ярославль к издателю К. Ф. Некрасову) связаны с подготовкой книги «Стихотворений» Аполлона Григорьева, редактировавшей А. Блоком.

Интерес к творчеству и личности Григорьева проходит через многие годы жизни Блока: от дорожных заметок в молодую пору («Странной и часто тяжелой зрелостью веет от его стихов») до поздних статей («Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве», «О списке русских авторов»). Поэзия Григорьева сыграла свою роль в художественных исканиях Блока.

В книге «Стихотворений» А. Григорьева Блок выступил как ее составитель и редактор, автор примечаний и большого предисловия «Судьба Аполлона Григорьева», явившегося итогом давних раздумий Блока над «уроками» сложной и трудной судьбы талантливого писателя.

Письма Блока к издателю «Стихотворений» Григорьева, будучи ценным историко-литературным материалом, поучительны для нас также и в качестве примера высокой гражданской и художественной ответственности, которая столь характерна вообще для деятельности Александра Блока.

Константин Федорович Некрасов был племянником Николая Алексеевича Некрасова, великого русского поэта. В предреволюционные годы издательство К. Ф. Некрасова заметно выделялось культурой своей работы. «Ваше издательство приобрело свое лицо...» — писал книгоиздателю В. Я. Брюсов.

Копии первых шести писем Блока предложены к публикации сыном К. Ф. Некрасова — Н. К. Некрасовым; на наличие в архиве последнего письма указано Н. П. Иль-

иным, чьи примечания помещены в конце публикации. Публикуемые тексты сверены с автографами (первые шесть писем в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, ф. 15710, ед. хр. 104—109; последнее письмо — в Центральном государственном архиве литературы и искусства, ф. 338, оп. 2, ед. хр. 34) и подготовлены к печати автором вступительной заметки. Подчеркнутые Блоком слова выделены курсивом.

С. Лесневский

I

4 сентября 1914.

Петроград, Офицерская 57,  
кв. 21.

Глубокоуважаемый  
Константин Федорович.

Спасибо Вам за письмо. Да, конец войны виден, мы с Княж-  
ниним<sup>1</sup> принимаемся за дело. Вероятно, он уже написал Вам от  
себя, а я только передаю Вам его просьбу, чтобы Вы пока ответили  
ему по *моему* адресу, потому что у него нет еще в городе постоян-  
ного местожительства.

Томик Ап. Григорьева 46 года<sup>2</sup> очень неполон, я это знаю.  
Вопрос в том, собирать ли все стихотворное, что он печатал в журна-  
лах, или нет. Об этом я подумаю серьезно. Есть вещи превосходные,  
а есть совершенно ничтожные. Он писал вообще страшно много, пря-  
мо «строчил» иногда, даже и стихами, не только прозой. О переводах  
и говорить нечего, — придется сильно выбирать. Спасибо, во всяком  
случае, что Вы предоставляете книгу моему усмотрению. Я не буду  
(да и не могу) делать так, чтобы вышло «ученое» издание, но приложу  
усилия к тому, чтобы вышла хорошая книга стихов для чтения с  
соблюдением известных филологических традиций.

Вы спрашиваете об условиях гонорара, а это всего труднее ре-  
шить: мне в первый раз приходится редактировать книгу. Может  
быть, Вы мне напишете, чем тут руководствоваться: будет ли это  
полистная плата, или процент с номинальной цены книги, и сколько  
экземпляров такой книги можно издать? Или просто нам подождать  
говорить об этом? Я пока не представляю, сколько придется мне  
рыться в библиотеках, переписывать и т. д. По работе будет видно.

Искренно преданный Вам  
Александр Блок.

II

29. XII 1914.

Петроград, Офицерская 57, кв. 21.

Глубокоуважаемый  
Константин Федорович.

Пожалуйста, разрешите мое недоумение.

Я очень хотел бы включить в книгу *пьесу* А. Григорьева (Два  
эгоизма, драма в четырех действиях в стихах, занимает немного  
менее 80 страниц, из «Репертуара и Пантеона»<sup>3</sup> — XII 1845 г.).

Хоть это и увеличит порядочно книгу, но: 1) Пьеса очень ин-  
тересна, сильнее (в худож. <естественном> отношении) многих поэм;



2) очень характерна для «судьбы» Григорьева (точка зрения, которой я держусь во вступительной статье); 3) сам А. Г. *хотел* включить ее в книгу «Стихотворений» (писал об этом Погодину). Позвольте мне включить эту пьесу; книга, все равно, выходит большая.

Простите, что все еще не высылаю рукописи. Много непредвиденного. Теперь скоро окончу статью (порядочно разросшуюся). Тогда пришлю все. Жму Вашу руку.

Искренно Вас уважающий Ал. Блок.

Р. S. Может быть, удастся, все-таки, печатать в январе (если скоро печатать)?

III

18 января 1915.

Глубокоуважаемый

Константин Федорович.

На днях посылаю Вам всю книгу <sup>4</sup>, за исключением приложений, которые составлю, не торопясь, и пришлю своевременно, так что печатанья они не задержат \*. Буду очень Вам признателен, если Вы ответите мне на эту посылку присылкой гонорара (500 р.)

Прилагаю некоторые «указания для типографии», думаю, что Вы не будете иметь ничего против них.

Надо ли возвращать вторично рукопись при корректуре? Если только возможно, избавьте: очень громоздко. *Мне* рукопись необходима при корректуре. Очень трудная будет корректура. Нельзя ли установить такой порядок:

1) Вы посылаете мне *гранки* (можно и один оттиск, лучше бы два) с рукописью.

2) Я отсылаю один экзempl.⟨яр⟩ исправленных гранок.

3) Вы посылаете мне *сверстанную* корректуру (необходимо в *двух* оттисках).

4) Я возвращаю один оттиск Вам.

Если можно, лучше так. Задерживать не буду, но *двойная правка* необходима: боюсь за текст. Я бы просил и три (одна — гранка, две — сверст.⟨анные⟩), но боюсь затруднить Вас и удлинить печатанье. — Если бы порции были побольше, было бы лучше, — по дальности расстояния.

С Новым Годом, всего доброго Вам и спасибо за трогательное пожелание «душевного мира»; оно очень кстати, но мира нет.

Преданный Вам

Ал. Блок.

\* Задерживаю, кроме того, совершенно готовые:

1) примечания (48 стр.), нужные пока для составл.⟨ения⟩ приложений и 2) азбучный указатель. Содержание приложено пока для руководства, потом пришлю новое (с обознач.⟨ением⟩ страниц).

Р. S. Все придется посылать *казачьими*, — не так ли?

12 февраля 1915.

Многоуважаемый  
Константин Федорович.

Спасибо Вам. Сейчас получил Ваш чек на 500 рублей. Спасибо и за письмо, полученное мной дня три назад. Не зная Вас, я думал, что статья моя может Вам не понравиться; а я много работал и над ней, и над всей книгой Григорьева; могу сказать, что отвечаю за каждую строку, среди них нет ни одной не органической (даже и в примечаниях, которые пришлю с последней корректурой, размерив страницы по верстке).

Я много вложил в эту работу и много от нее получил; и мне было особенно как-то приятно, что Вы оценили работу такими простыми и краткими словами <sup>5</sup>, особенно приятно в эти дни, когда вокруг так много болезненного и тяжелого (<...> говорю, конечно, о литературной жизни Петербурга, которая, к счастью, тонет в войне).

Я отослал Вам уже две первые партии гранок. Позвольте еще раз напомнить Вам мою просьбу о присылках верстки в *двух* оттисках. Надеюсь, дадите мне некоторое количество авторских экземпляров? — А *верстку* можно уже возвращать без рукописи, неправда ли? Очень бы приятно было, чтобы книга вышла к Пасхе.

Всего Вам доброго и еще раз — спасибо.

Искренно Вас уважающий  
Александр Блок.

16 февраля 1915 г.

Глубокоуважаемый  
Константин Федорович.

Я думаю: если Вы определенно отказались от предложений В. Е. Чешихина <sup>6</sup>, то Вы были вольны в своих поступках, потому что: 1) правом работы и правом заказа работы тому или другому лицу обладает каждый и 2) мысль об издании отдельной книгой стихов или воспоминаний человека, который писал, в числе прочего, стихи и воспоминания, нельзя считать самостоятельной «мыслью»; ведь об издании тех же «Скитальчеств» <sup>7</sup> думал, например, и Княжнин, который, насколько знаю, совсем не знал о том, что такая же мысль была у Чешихина.

Остается, следовательно, «психология», отношение человека к человеку; для суждения об этом надо все знать; по-моему, кроме самих участников, никто об этом, неуловимом, знать никогда не может; поэтому никакие третейские суды не помогают.

Меня, как заинтересованное лицо, занимает то, что труд Чешихина, который работал, может быть, 5 лет, может оказаться полнее моего, пятидесятилетнего; занимает, но не тревожит, потому что в

свою работу я верю, хоть она и не есть *полное* собрание стихотворений Григорьева: надо верить также, что занятие Григорьевым не есть гробокопательство: если понадобится моя книжка, понадобится и другая. Крупных писателей издают и редактируют не однажды.

Искренно Вас уважающий  
Александр Блок.

VI

9 апреля 1915.

Многоуважаемый Константин Федорович.

Очень рад, что дело с Чешихиным окончилось в Вашу пользу. Ко мне по этому поводу давно уже звонил по телефону г. Штанге (приятель Чешихина) и спрашивал мое мнение; я в ответ сообщил ему содержание Вашего письма ко мне и моего Вам ответа.

Относительно деления стихов Григорьева на два тома я уже написал Н. С. Ашукину подробно <sup>8</sup>. По-моему, не надо делить, — внушительность пропадет. К человеку сороковых годов очень идет даже именно толстая книга; это и по-русски, и по-григорьевски будет, если даже выйдет маленькая несуразность (право, маленькая, такие книги ведь есть). В этом будет свой «аромат», а две маленькие книжки его уничтожат. Мне кажется, что от толстой книги пахнет той старинной прекраснотой щедростью, которая была в григорьевской душе.

Портрет очень бы хорошо было поместить <sup>9</sup>. Если бы Вы могли прислать мне оттиски, или хоть оригиналы (я бережно и быстро верну), чтобы выбрать. Я знаю четыре портрета, особенно люблю тот (сумасшедший), который воспроизведен (плохо) в I томе Ефремовского Байрона (стр. 561). Если не ошибаюсь, он же висит в коридоре, окружающем сцену Александринского театра около артистического фойе (недавно еще видел) <sup>10</sup>. Если нет лучшего, я бы хотел этот, он очень идет к автору «Борьбы».

Всего Вам лучшего.

Искренно Вас уважающий  
Ал. Блок.

VII

6 декабря 1915.

Многоуважаемый Константин Федорович.

Очень прошу Вас — напомните, чтобы мне прислали экземпляры «Стих. <отворений> А. Григорьева». Я ходил в склад Ваш уже давно, мне обещали прислать, как только получают; теперь книга уже есть в книжных магазинах, а мне не дают. Между тем, со всех сторон книгу у меня просят. Просят многие для рецензий, так что, если только возможно, дайте мне не 15, а 25 экземпляров (по крайней мере, 10 пойдут с пользой и для издательства) <sup>11</sup>.

Мне кажется, книга пойдет, судя по отзывам; мне-то, впрочем, критики моей статьи не простят; а Григорьев, по своему поэтическому калибру, рано или поздно займет место рядом с Фетом и Полонским, независимо от всякой критики, как часто в России бывает,

слава Богу; и мы с Вами до некоторой степени этому способствовали, хочу верить этому.

Не отвечал я Вам на Ваши слова о моих книгах, потому что дело сделано, я сговорился с «Мусagetом»<sup>12</sup>.

Спасибо Вам, все-таки, что так подумали.

Искренно уважающий Вас

Ал. Блок.

Пет.<ербург>, Офицерская 57, кв. 21.

#### ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМАМ А. БЛОКА

Публикуемые письма А. А. Блока К. Ф. Некрасову относятся к периоду времени с сентября 1914 года по декабрь 1915 года и касаются вопросов, связанных с изданием книги: «Стихотворения Аполлона Григорьева. Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок. Москва. Издательство К. Ф. Некрасова. МСМХVI».

В конце лета 1914 года издательство К. Ф. Некрасова обратилось к Блоку с предложением принять на себя редактирование книги стихотворений Аполлона Александровича Григорьева (1822—1864). Это издание предпринималось в связи с исполнявшимся в 1914 году 50-летием со дня смерти Григорьева.

Единственная небольшая книжечка стихов была издана Ап. Григорьевым еще в 1846 году, мизерным, даже по тому времени, тиражом в 50 экземпляров, а все его поэтические произведения, созданные позже, оставались несобранными и погребенными на страницах разных журналов середины XIX столетия.

Александр Блок принял предложение издательства. За сравнительно короткое время — 4—5 месяцев — он разыскал и переписал в библиотеках стихи, поэмы и переводы Ап. Григорьева, сгруппировал их по отделам и отредактировал, и уже 21 января 1915 года отправил в издательство рукопись книги. Несколько позже были посланы вступительная статья и примечания.

Печатание книги шло медленно и затянулось до конца года. С весны и по осень, через большие промежутки времени, шли к Блоку и возвращались от него корректурные листы. Наконец в ноябре 1915 года книга вышла из печати.

Выход новой книги Ап. Григорьева сразу же был отмечен критикой. Появилось более десятка рецензий и статей, в большинстве которых положительно оценивалась проделанная Блоком большая работа. В части откликов выражалось сомнение в надобности и ценности переиздания стихов забытого поэта, но почти все отзывы содержали резкие возражения по поводу некоторых положений вступительной статьи Блока «Судьба Аполлона Григорьева». Из основных критических статей и заметок можно отметить рецензии Ю. Айхенвальда в газете «Речь» (№ 316 от 16 ноября 1915 г.) и П. Перцова в газете «Новое время» (№ 14282 от 12 декабря 1915 г.), статью З. Гиппиус в сб. «Огни» (П., 1916), рецензию В. Жирмунского в журнале «Северные записки» (№ 2, 1916), статью Вл. Княжнина в журнале «Русская мысль» (кн. V, 1916), рецензии В. Пяста в газете «День» (№ 13 от 14 января 1916 г.) и Ив. Розанова в журнале «Голос минувшего» (№№ 5—6, 1916).

Есть все основания считать существовавшими, но пока не найденными еще три письма Блока к К. Ф. Некрасову: о первом известно из писем А. Блока к В. Н. Княжнину от 28 и 30 августа 1914 года (см. книгу: «Письма Александра Блока». Л., изд-во «Колос», 1925, стр. 204), о втором и третьем — из кратких помет Блока: «Пишу Некрасову» от 14 ноября 1914 и 5 февраля 1915 года в записных книжках (А. Блок. Записные книжки. М., 1965, стр. 247 и 255). Как правило, записи Блока всегда подтверждаются.

Ниже следуют примечания к отдельным местам писем, отмеченным арабскими цифрами:

<sup>1</sup> Княжнин (Ивойлов) Владимир Николаевич (1883—1942), поэт и литературовед. Одновременно с Блоком работал над наследием Ап. Григорьева (материалы для биографии, редакция «Воспоминаний»). При посредничестве Блока предложил К. Ф. Некрасову издание «Воспоминаний» А. Григорьева.

<sup>2</sup> Стихотворения Аполлона Григорьева. Санктпетербург. 1846. Печатано в типографии К. Крайя. 178 стр.

<sup>3</sup> «Репертуар и Пантеон» — театральный журнал, выходивший в Петербурге в 1840—50-х годах.

<sup>4</sup> «... рукопись Григорьева Некрасову», — отметил Блок 21 января 1915 г. («Записные книжки». М., 1965, стр. 254).

<sup>5</sup> «...Письмо от Некрасова — хорошее» (запись Блока от 9 февраля 1915 г., там же, стр. 255).

<sup>6</sup> Чешихин (Ветринский) Василий Ефграфович (1866—1923), историк литературы и журналист. Предложил изд-ву К. Ф. Некрасова еще в 1913 году издать Собрание сочинений Ап. Григорьева. Из писем К. Ф. Некрасова к Чешихину (ЦГАЛИ, ф. 553) видно, что изд-во не устраивал объем предложенного издания и оно отказалось от предложения Чешихина. Последний обвинил изд-во в нарушении обязательств, и дело рассматривалось третейским судом.

<sup>7</sup> Книга «Аполлон Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества» была издана К. Ф. Некрасовым в 1915 году с послесловием и примечаниями Павла Сухотина.

<sup>8</sup> Ашукин Николай Сергеевич (1890—1972), поэт и литературовед. Был секретарем изд-ва К. Ф. Некрасова. Три письма Блока к нему — см.: А. Б л о к. Собрание сочинений, т. 8. М., 1963, стр. 441—443, 446—447 и 449.

<sup>9</sup> В книге воспроизведен портрет Григорьева по рисунку Бруни (1846 г.), оригинал — в Третьяковской галерее.

<sup>10</sup> Этот портрет — см. книгу: А п о л л о н Г р и г о р ь е в. Избранные произведения. Б-ка поэта. Большая серия. 2-е издание. Л., 1959, между стр. 384—385.

<sup>11</sup> «25 экземпляров А. Григорьева», — отмечает Блок их получение 15 декабря 1915 г. («Записные книжки», стр. 280).

<sup>12</sup> По-видимому, в одном из своих писем к Блоку К. Ф. Некрасов предлагал издать книги его стихотворений. Письма К. Ф. Некрасова к Блоку неизвестны. С издательством «Мусaget» на издание «Стихотворений» в трех книгах и книги «Театр» Блок подписал договор еще 15 апреля 1915 года. Эти книги вышли в 1916 году.

*Н. П. Ильин*

## СОДЕРЖАНИЕ

### В СЕМЬЕ ВОЛЬНОЙ, НОВОЙ...

#### Н. ТИХОНОВ

В далекие двадцатые—тридцатые годы . . . . .	7
Памятник Лесе Украинке в Сурами . . . . .	10
Цхенбурти . . . . .	10
Сосны Пицунды . . . . .	11
Снова зима . . . . .	11

#### К. КАЛАДЗЕ (пер. М. Синельникова).

Улицы Москвы . . . . .	12
Тысяча окон . . . . .	13

#### П. БРОВКА (пер. В. Корчагина).

«Народ — он схож с могучей кроной...» . . . . .	13
...Оставь как есть . . . . .	14

#### П. ВОРОНЬКО (пер. В. Корчагина).

Утро . . . . .	14
Корни . . . . .	14

#### М. КЕМПЕ (пер. И. Озеровой).

Люблю . . . . .	15
Эстафета . . . . .	15

#### К. КУРБАННЕПЕСОВ (пер. А. Кронгауза).

На хребте Канакер . . . . .	16
-----------------------------	----

#### С. КАПУТИКЯН (пер. Е. Николаевской).

Бюракан . . . . .	16
Тарасу Шевченко . . . . .	17

#### А. ЛУПАН (пер. К. Ковальджи).

Сентябрь . . . . .	17
--------------------	----

#### С. ЭРАЛИЕВ (пер. Ст. Куняева).

Победители . . . . .	18
Памятник Солнцу . . . . .	18

#### Э. МЕЖЕЛАЙТИС (пер. В. Корнилова).

Моя Литва . . . . .	19
---------------------	----

#### Р. ГАМЗАТОВ (пер. Я. Козловского).

Ответ Хайяма . . . . .	21
Спрашивала любовь... . . . .	21
Завещание любви . . . . .	22

#### Д. НОВРУЗ (пер. Ан. Передреева).

Святые горы . . . . .	22
-----------------------	----

#### Д. УЛЗЫТУЕВ (пер. Д. Петрова).

Туркменское солнце . . . . .	23
------------------------------	----

#### БОКИ РАХИМ-ЗАДЕ (пер. Л. Миздаловой).

«Вот луна по склонам заспешила...» . . . . .	23
--	----

#### В. БЭЭКМАН (пер. Р. Рождественского).

Длинная дорога . . . . .	24
--------------------------	----

#### С. МАУЛЕНОВ (пер. О. Дмитриева).

Украинская ночь . . . . .	25
---------------------------	----

В. КОРОТИЧ (пер. Ю. Мориц).		П. АНТОКОЛЬСКИЙ.	
Гром . . . . .	26	Все как было . . . . .	43
А. КЕШОКОВ (пер. Я. Козловского).		Театральный разъезд . . . . .	44
Со временем в ладу . . . . .	26	С. МАРКОВ.	
Рукопожатие . . . . .	26	Стихи о первой мировой . . . . .	44
А. ВЕРГЕЛИС (пер. П. Градова).		1. Беженец . . . . .	44
На обратном пути из Америки . . . . .	27	2. Анна . . . . .	44
М. ЛУЖАНИН (пер. И. Шкляревского).		М. ЗЕНКЕВИЧ.	
Белоруссия . . . . .	27	В половодье . . . . .	45
Г. ВИЕРУ (пер. Я. Акима)		С. ВАСИЛЬЕВ.	
Живая вода . . . . .	28	Неумолкающее эхо (из поэмы о генерале Карбышеве) . . . . .	46
Д. МУЛДАГАЛИЕВ (пер. Вл. Савельева).		С. НАРОВЧАТОВ.	
«Без мыслей о поэзии, о боге...» . . . . .	29	Утро над Невой . . . . .	47
С. ДАНИЛОВ (пер. В. Шаргунова).		Е. ИСАЕВ.	
Наши старики . . . . .	29	Главная река (из новой поэмы) . . . . .	48
Х. ГУЛЯМ (пер. В. Урина).		Н. ТРЯПКИН.	
Гульдаста . . . . .	30	«Земная великая дрема...» . . . . .	51
Ф. АЛИЕВА (пер. Вл. Туркина).		«Сколько выпито горячих самоваров...» . . . . .	51
«Что — дерево, когда оно одно!...» . . . . .	31	Листья дубовые . . . . .	52
«Пью за здоровье ваше, молодежь!...» . . . . .	31	«В моем селе устроили музей...» . . . . .	52
А. КАХХОРИ (пер. Ст. Куняева).		А. БАЛИН.	
Русскому другу . . . . .	32	От Ламы до Сороти . . . . .	53
ПО СТРОЧЕЧНОМУ ФРОНТУ...		Я. АКИМ.	
Я. СМЕЛЯКОВ. Из новой книги.		«Мне странно, что я еще жив...» . . . . .	54
Старухи Осетии . . . . .	35	Анна . . . . .	54
Сотрудницы ЦСУ . . . . .	35	В. АФАНАСЬЕВ.	
Калмык . . . . .	36	«Там, на горе, над озером, в бору...» . . . . .	55
Надпись на книге литературного критика . . . . .	36	Сирень . . . . .	55
Поздняя благодарность . . . . .	37	Святогогор . . . . .	55
Пьеро . . . . .	37	Б. АХМАДУЛИНА.	
Колыбель человечества . . . . .	38	Медлительность . . . . .	56
С. ЩИПАЧЕВ.		Восхваление друга . . . . .	56
Стою у окна . . . . .	39	Е. АКСЕЛЬРОД.	
Славно! . . . . .	39	«Мне память что-то шепчет еле внятно...» . . . . .	56
Л. МАРТЫНОВ.		Э. БАЛАШОВ.	
Древний бугор . . . . .	40	«Я слышу музыку весны...» . . . . .	57
У глобуса . . . . .	40	«О любви вздыхающие строки...» . . . . .	57
Ау, лесничий! . . . . .	41	Я. БЕЛИНСКИЙ.	
Баллада о Федоре Достоевском . . . . .	41	Успенское шоссе . . . . .	57
Мокринский форштадт . . . . .	41	М. БЕЛЯЕВ.	
Маслята . . . . .	42	«Мы торопимся: будто бы где-то...» . . . . .	58
Боги . . . . .	42		
Воскрешение мертвых . . . . .	42		
Дочь Океана . . . . .	43		

# В. БОГДАНОВ.

«Выплывают, дали серебра...» . . . . . 58

# И. БОРИСОВ (пер. Н. Горской).

«Как юны были мы, как безмятежны!...» . . . . . 58

«Я не таюсь...» . . . . . 59

# А. БРАГИН.

«Когда ушли бои от нас...» . . . . . 59

# В. БУРИЧ.

«Детство...» . . . . . 60

Эстонский витраж . . . . . 60

# А. БОГУЧАРОВ.

«Я далеко от матери ушел...» . . . . . 60

«В деревне, в дороге, в больнице...» . . . . . 60

«Все лучшее осенью в поле...» . . . . . 60

# Г. ВАЛИКОВ.

Опыт завещания . . . . . 61

# Л. ВАСИЛЬЕВА.

«Сумрак, суморок...» . . . . . 61

# П. ВЕГИН.

Мадьярская корчма . . . . . 62

«— Прошу тебя, придумай что-нибудь...» . . . . . 63

# А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

Бойни перед сносом . . . . . 64

# Н. ГЛАЗКОВ.

Песенка . . . . . 66

# Т. ГЛУШКОВА.

«Все длинней новогодние ночи...» . . . . . 66

«Страница, странница, страна...» . . . . . 67

# В. ГНЕУШЕВ.

За каждого из нас . . . . . 67

# А. ГОВОРОВ.

Русь вечная. Триптих . . . . . 68

# В. ГОРДЕЙЧЕВ.

Балтика — 1947 . . . . . 70

# О. ДМИТРИЕВ.

«Уходит старая Москва...» . . . . . 70

Современнику Вийона . . . . . 70

Борисоглебские слободы . . . . . 71

Лицо . . . . . 71

# Ю. ДРУНИНА.

Слалом . . . . . 72

«И когда я изверилась...» . . . . . 72

# А. ЖИГУЛИН.

«Воронеж, детство, половодье...» . . . . . 72

«Больше многих других потрясений...» . . . . . 73

«У степного переезда...» . . . . . 73

«Значок ГТО на цепочках...» . . . . . 73

«Снова дрогнуло сердце от боли...» . . . . . 74

«Здравствуй, степная деревня!..» . . . . . 74

«Качается мерзлый орешник...» . . . . . 74

«Деревья с черными грачами...» . . . . . 75

# Т. ЖИРМУНСКАЯ.

Сны . . . . . 75

# Л. ЗАВАЛЬНЮК.

Утро . . . . . 76

# А. ЗАУРИХ.

«Душу невольно ранит...» . . . . . 76

Лето . . . . . 77

# А. ЗАЯЦ.

«В том городке...» . . . . . 78

# Н. ЗИНОВЬЕВ.

Дерево одиночества . . . . . 78

# Н. ЗЛОТНИКОВ.

«Забудут наши голоса...» . . . . . 79

«За длинною стеною Арсенала...» . . . . . 79

# В. КАЗАНЦЕВ.

«До соседней деревни не близко...» . . . . . 79

# Р. КАЗАКОВА.

Побег . . . . . 80

«...Давно я не оптимистка...» . . . . . 80

# М. КВЛИВИДЗЕ (пер. Е. Николаевской).

Потерянная могила . . . . . 81

# С. КОЗЛОВ.

«Пусть приснится мне дым березовый...» . . . . . 81

# С. КИРСАНОВ.

Ад . . . . . 82

# Н. КИСЛИК.

Песня . . . . . 83

Первые дни . . . . . 83

Как учитель сочинял стихи . . . . . 83

# Д. КОВАЛЕВ.

«Что мне бессмертие!..» . . . . . 84

Память ветки . . . . . 84

В Полярном . . . . . 85

# А. КОВАЛЬ-ВОЛКОВ.

«К себе возвратился я снова...» . . . . . 85



**В. КОРНИЛОВ.**

«Адмиралтейская игла...» . . . . . 86

**В. КОСТРОВ.**

«В день и час, когда на Химках...» . . . . . 87

**Э. КОТЛЯР.**

«Не опрокинулась...» . . . . . 87

Память . . . . . 88

«С покупками бредущие супруги...» . . . . . 88

**И. КОХАНОВСКИЙ.**

«Самородок лежал в пыли...» . . . . . 88

**А. КРОНГАУЗ.**

Шестиэтажные тополя . . . . . 89

**ВАДИМ КУЗНЕЦОВ.**

Середина лета . . . . . 89

**ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ.**

«В вагоне тесно, как в трубе...» . . . . . 90

**Т. КУЗОВЛЕВА.**

«Когда декабрь, устав от бега...» . . . . . 90

«Сквозь снег...» . . . . . 91

**В. КУПРИЯНОВ.**

«Снег еще только учится ходить...» . . . . . 91

**Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ.**

Из книги «День такой-то»

«Давно ли покупали календарь...» . . . . . 92

Попытка утешения...» . . . . . 92

«Всего и надо, что взглядеться...» . . . . . 93

«Кто-нибудь утром проснется...» . . . . . 93

**В. ЛЕОНОВИЧ.**

Грузия . . . . . 94

**С. ЛИПКИН.**

Кочевники . . . . . 94

Кипарис . . . . . 95

**И. ЛИСНЯНСКАЯ.**

«За ночь одну пожелтели березы...» . . . . . 95

**М. ЛИСЯНСКИЙ.**

Телеграмма . . . . . 96

**В. ЛИФШИЦ.**

«Окраина деревни. Зимний день...» . . . . . 96

«Астория» . . . . . 97

**Б. ЛОЗОВОЙ.**

В разведке . . . . . 97

**М. ЛУГОВСКАЯ.**

«Азиатскую книгу луна распахнула...» . . . . . 98

**М. ЛЬВОВ.**

На юбилее . . . . . 98

**И. ЛЫСЦОВ.**

Ночной дождь . . . . . 99

**И. МАЛОХАТКИН.**

«Утренний свет осыпался...» . . . . . 99

**А. МАРКОВ.**

«Нас любит город только раз...» . . . . . 100

Ленинградский университет . . . . . 100

«Нет, я не стал скупее в чувствах...» . . . . . 100

**А. МЕЖИРОВ.**

Баня-Лука . . . . . 101

**Л. МИЛЛЕР.**

«И мы с тобой внесли свои пожитки...» . . . . . 102

«Дней разноликих вьется череда...» . . . . . 102

«Ну вот и мы умудрены...» . . . . . 102

«И снова я заговорила...» . . . . . 102

**С. МИХАЛКОВ.**

Мираж . . . . . 103

**Ю. МОРИЦ.**

«То ли плеск, то ли бульканье зяблика...» . . . . . 103

«Черкасы. Свирепость сирени...» . . . . . 104

«Отворяю семь дверей...» . . . . . 104

Осенний юг . . . . . 104

Зимний вечер . . . . . 105

**А. МОСКВИТИН.**

Мгновенья . . . . . 105

**Л. МУХИНА.**

«Уж такие, видно, пляски русские...» . . . . . 106

«Весна ранняя, несмелая...» . . . . . 106

**А. НИКОЛАЕВ.**

Гадалка . . . . . 106

**Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.**

«Мне снился не ты...» . . . . . 107

«К тебе иду — куда бы я ни шла...» . . . . . 107

**С. ОРЛОВ.**

«Всю ночь за лесом где-то шла гроза...» . . . . . 108

«За рекой-рекою в зареке...» . . . . . 108

Весной . . . . . 109

Кружевницам . . . . . 109

**Л. ОЗЕРОВ.**

«Листва закипает, как наши двадцатые...» . . . . . 110

**Б. ОКУДЖАВА.**

Чудесный вальс . . . . .	110
Дальняя дорога . . . . .	111

**Н. ПАНЧЕНКО.**

«Никто ни к кому не приставлен мешать...» . . . . .	111
«Люби меня тихо и грустно...» . . . . .	112

**Ю. ПАНКРАТОВ.**

Чудак . . . . .	112
«Плещет в омуте голавль...» . . . . .	113

**А. ПЕРЕДРЕЕВ.**

Воспоминание о старшем брате . . . . .	113
Возвращение . . . . .	113
«Ты на виду повсюду, как на сцене...» . . . . .	114
Мертвый сад . . . . .	114
Пехота 41-го . . . . .	114

**Д. ПЕТРОВ.**

В карантине . . . . .	115
-----------------------	-----

**С. ПОЛИКАРПОВ.**

Город большой судьбы . . . . .	115
--------------------------------	-----

**А. ПОПЕРЕЧНЫЙ.**

Сельвинский . . . . .	116
«А на деревне тихо-тихо...» . . . . .	116

**Э. ПОРТНЯГИН.**

«Степь дотянулась...» . . . . .	117
Прадед . . . . .	117
«Клубится пар в осенней мгле...» . . . . .	118

**А. ПРЕЛОВСКИЙ.**

Зимняя гостья . . . . .	118
«Так все укрыто листом и туманом...» . . . . .	118
«Калина цветет безымянно...» . . . . .	119

**Б. ПРИМЕРОВ.**

«Еще, зная, сердце не изжито...» . . . . .	119
--	-----

**Е. РЕЙН.**

Август . . . . .	119
------------------	-----

**Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.**

«Неправда, что время уходит!...» . . . . .	120
--	-----

**В. САВЕЛЬЕВ.**

Начальник почты . . . . .	121
---------------------------	-----

**Д. САМОЙЛОВ.**

Заздравная песня . . . . .	122
Гость у Цыгановых . . . . .	122
Михайловское . . . . .	123
«Мне снился сон...» . . . . .	123
Легкая сатира . . . . .	123

**В. СЕМАКИН.**

«Там, где холят и голубят...» . . . . .	124
«Стынут березы, легки и наги...» . . . . .	124
«Снова, снова дожид до весны я...» . . . . .	124

**Н. СИДОРЕНКО.**

И вьется белая дорога... . . . .	125
«Есть холм один в округе местной...» . . . . .	125

**Б. СЛУЦКИЙ.**

О борьбе с шумом . . . . .	126
Полный отдых . . . . .	126

**Г. СЕРЕБРЯКОВ.**

«В малиннике малиновка поет...» . . . . .	127
---	-----

**С. СМЕРНОВ.**

Свет и звук . . . . .	127
Зимняя ночь . . . . .	127
Не называя адресата . . . . .	128

**И. СНЕГОВА.**

«Помню, вижу...» . . . . .	128
----------------------------	-----

**В. СОКОЛОВ.**

Девятое мая . . . . .	129
Соловей . . . . .	129
«Дождь оборвал на полуслове...» . . . . .	129

**В. СОЛОУХИН.**

Аргумент . . . . .	130
Ольха . . . . .	130
«Какого вкуса чувства наши...» . . . . .	131
Журавли улетели... . . . .	132

**В. СОРОКИН.**

Стихи о Лермонтове . . . . .	132
1. Встреча с ашугом . . . . .	132
2. Над Бештау вечер . . . . .	132
3. В горах . . . . .	132
4. Грузинская дорога . . . . .	133

**Л. СТЕПАНОВА.**

«Этим летом душным и горячим...» . . . . .	133
«А в каждом доме хоть один человек...» . . . . .	134

**А. СТРОЙЛО.**

Стихи о самоваре . . . . .	134
----------------------------	-----

**Ф. СУХОВ.**

Подснежник . . . . .	135
----------------------	-----

**Д. СУХАРЕВ.**

«Не осуди, что оскудел...» . . . . .	135
--------------------------------------	-----

**Т. СЫРЫЩЕВА.**

«Недели две пока еще войне...» . . . . .	136
--	-----

<b>Н. ТАРАСОВ.</b>		<b>И. ШКЛЯРЕВСКИЙ.</b>	
«Но правда не в том и не в этом...» . . . . .	137	«Грач мастерит свое гнездо...» . . . . .	148
«Обрываются давние связи...» . . . . .	137	«Ревную громады сосновых лесов...» . . . . .	149
<b>Л. ТЕМИН.</b>		Женщина . . . . .	149
«Но случаю очередного дня...» . . . . .	138	Битва с тайменем . . . . .	149
Ожидание зимы . . . . .	138	«Куда идти? Везде туман и сон...» . . . . .	150
«Меж деревьев гуляет сквозняк...» . . . . .	139	«Горький дым одиноких бессонниц...» . . . . .	151
<b>М. ТЕРЕНТЬЕВА.</b>		<b>Н. ЭСКОВИЧ.</b>	
Метелица . . . . .	140	Холодные зори . . . . .	151
<b>В. ТУРКИН.</b>		<b>В. ЯКОВЕНКО.</b>	
«Отходил по Земле Коваленков...» . . . . .	140	«В холодной роздыми сады...» . . . . .	152
<b>В. УРИН.</b>		«На снегу, как осколки радуги...» . . . . .	152
Мои миры . . . . .	141	<b>СЛОВО О ПОЭЗИИ</b>	
Наш памятник . . . . .	141	<b>А. МИХАЙЛОВ.</b>	
<b>Н. ФЛЕРОВ.</b>		Поэзия в меняющемся мире . . . . .	155
«В осенний день в саду костер зажечь...» . . . . .	142	<b>В. КОЖИНОВ.</b>	
<b>Ф. ФОЛОМИН.</b>		Заметки о поэтических веяньях последних лет . . . . .	162
Месяц рожденья . . . . .	143	<b>ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ</b>	
<b>Н. ФОМИЧЕВ.</b>		<b>Е. ОСЕТРОВ.</b>	
«Живущий сам на грошик медный...» . . . . .	143	Золотое слово . . . . .	171
<b>Я. ХЕЛЕМСКИЙ.</b>		<b>Г. КРАСУХИН.</b>	
Из армянского дневника . . . . .	143	Прекрасное волнение . . . . .	172
<b>Е. ХРАМОВ.</b>		<b>И. ГРИНБЕРГ.</b>	
«...И я себе представил зимний день...» . . . . .	144	Мысль бодрствующая и пытливая . . . . .	173
«Все в тишину влетает точный звук...» . . . . .	144	<b>О. ГРУДЦОВА.</b>	
«Теперь пускай очнется...» . . . . .	145	В кольце разлук и встреч . . . . .	175
«Так вот я хотел бы о чем попросить...» . . . . .	145	<b>В. ЧАЛМАЕВ.</b>	
<b>В. ЦЫБИН.</b>		В поисках нежного человека . . . . .	176
Спасибо . . . . .	145	<b>И. РОДНЯНСКАЯ.</b>	
«Дорогой безлюдной...» . . . . .	146	Облако славы . . . . .	178
<b>Ф. ЧУЕВ.</b>		<b>А. ЛАНЩИКОВ.</b>	
Летный полк . . . . .	146	Пафос мужественности . . . . .	179
<b>О. ЧУХОНЦЕВ.</b>		<b>М. ЛОБАНОВ.</b>	
«Зычный гудок, ветер в лицо...» . . . . .	147	Стихия ветра . . . . .	181
✓ <b>В. ШАЛАМОВ.</b>		<b>Л. АННИНСКИЙ.</b>	
Прачки . . . . .	147	За линией примет . . . . .	182
«Хранитель языка...» . . . . .	148	<b>Н. ИВАНОВА.</b>	
<b>М. ШАПОВАЛОВ.</b>		Судьба и фортуна . . . . .	184
К портрету . . . . .	148		

## С. ЛЕСНЕВСКИЙ.

В публицистическом жанре . . . . . 185

ГОВОРIT ЧИТАТЕЛЬ. На вопросы редколлегии  
«Дня поэзии» отвечают:

А. АЛИХАНЫ . . . . . 187

В. БАБОЧКИН . . . . . 188

В. БРУМЕЛЬ . . . . . 188

М. ГРОМОВ . . . . . 189

А. ДУБРОВСКИЙ . . . . . 190

Е. СВЕТЛАНОВ . . . . . 190

В. ФИЛИППОВ . . . . . 191

М. ХУЦИЕВ . . . . . 192

А. ЭЙЗЕН . . . . . 192

## АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

А. ТВАРДОВСКИЙ. Из лирики разных лет

К портрету Пушкина . . . . . 195

«Садик в поле открытом...» . . . . . 195

«Велика страна родная...» . . . . . 196

«И цветут — и это страшно...» . . . . . 196

«Война, война. Любимой из нас...» . . . . . 197

«Под вражьем тяжким колесом...» . . . . . 197

«В жизни война дорожной...» . . . . . 197

«Беда откроется не вдруг...» . . . . . 198

«В сторожке на даче...» . . . . . 198

«Медленно товарный...» . . . . . 199

«За озером — будто страна...» . . . . . 199

«У новоселов в Казахстане...» . . . . . 200

*Примечания В. Лакшина*

А. МАКЕДОНОВ.

Будущий Твардовский . . . . . 201

К. КУЛИЕВ.

«Быть самим собой» . . . . . 204

В. ПОЛЕВОЙ.

В дальней дали . . . . . 207

С. ЗАЛЫГИН.

Из глубины России . . . . . 211

А. ЖИГУЛИН.

«Слезам нужно верить...» . . . . . 213

Е. ЕВТУШЕНКО.

«Как будто это я лежу...» . . . . . 214

К. ВАНШЕНКИН.

Письмо Твардовского . . . . . 217

## НА ПОРОГЕ

А. АДАМОВ.

Звезда людей . . . . . 221

«Этот порт областного значения...» . . . . . 221

«Прощай, моя спасительница осени!...» . . . . . 221

С. АЛИХАНОВ.

«Люблю Москву я вдоль путей трамвайных...» . . . . . 222

«Отвык работать или просто бросил...» . . . . . 222

Голубиный шум . . . . . 223

В. ЛАСТОВЕНКО.

Ночной полет . . . . . 223

Годовые кольца . . . . . 224

А. ЛЕОНТЬЕВ.

Чудо . . . . . 225

Степь . . . . . 225

Детство . . . . . 225

В. ОКУНЕВ.

«Копает картошку старик в огороде...» . . . . . 226

«У желтых вод, у ястребиных рек...» . . . . . 226

«Топорность старых русских форм...» . . . . . 226

В. ПОЛЕТАЕВ (вступление Л. Озерова). . . . . 227

«Свобода, да, о вечная свобода...» . . . . . 227

«...когда приметы листопада...» . . . . . 227

«Небо начинается с земли...» . . . . . 228

«...а жизнь моя была проста...» . . . . . 228

«А у нас на Зубовском бульваре...» . . . . . 228

«Кружился снег, стократ воспетый...» . . . . . 229

Е. САМЧЕНКО.

«Пора вдохновений. Скворечник покинут...» . . . . . 229

«Вольно так, легко отчего-то!...» . . . . . 229

21. Январь . . . . . 230

«Под незатейливый мотив...» . . . . . 230

## ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

А. ПРЯМКОВ.

Демьян Бедный — певец дружбы народов . . . . . 233

Е. ЧАРЕНЦ (*пер. М. Павловой*).

Стихи о Родине . . . . . 235

Н. АСЕЕВ (вступление О. Смолы). . . . . 236

Экспромты на песке . . . . . 236

Рериху . . . . . 237

Г. ЛЕОНИДЗЕ (*пер. Ю. Рашенцева*). . . . . 238

Давидку Исаакину . . . . . 238

Песня возвращения . . . . . 238

Ю. САЕНКО.

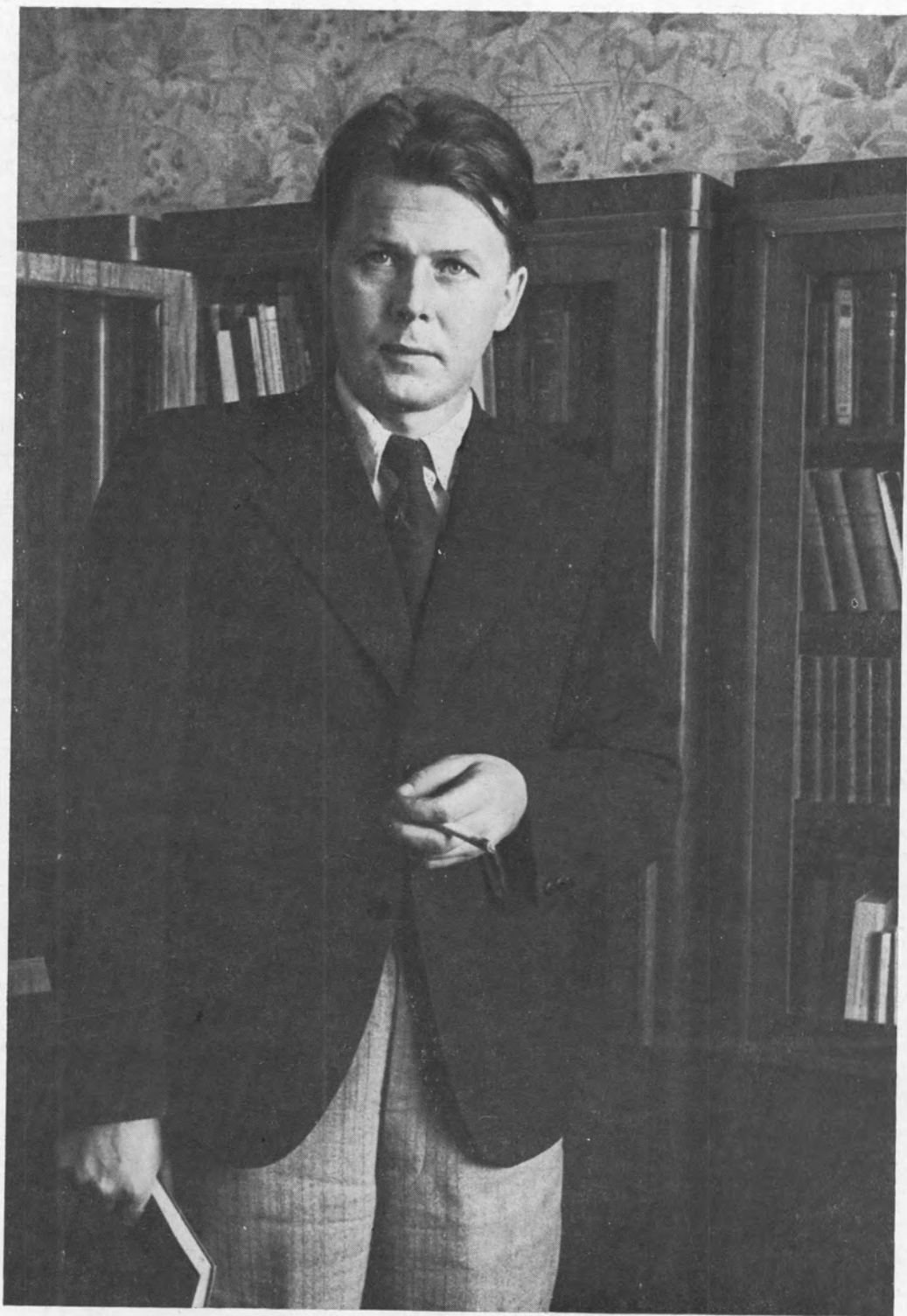
Соловьиное братство . . . . . 239

О. МАНДЕЛЬШТАМ (вступление А. Дымшица) . . . . .	241	К. НЕКРАСОВА (вступление Л. Рубинштейна). . . . .	261
Первая Международная Крестьянская Конферен- ция . . . . .	241	Джамбул . . . . .	261
Ньюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика . . . . .	242	«Холмы лежали под снегами...» . . . . .	262
В. ХЛЕБНИКОВ (вступление Н. Степанова). . . . .	244	«Под вечер солнце соками земными...» . . . . .	262
Воля всем . . . . .	245	В. СОЛОУХИН.	
Жизнь . . . . .	245	Соловьи золотые... . . . .	263
А. АХМАТОВА.		А. КОВАЛЕНКОВ.	
«Забудут? Вот чём удивили!..» . . . . .	246	Романс . . . . .	264
«Словно дочка слепого Эдипа...» . . . . .	246	Ожог . . . . .	264
Д. КУГУЛЬТИНОВ.		Справедливость . . . . .	264
«Имя одного...» . . . . .	246	М. ГРУБИАН (пер. В. Бокова).	
П. ТЫЧИНА (пер. Л. Шерешевского).		Письмо будущему . . . . .	265
Муса Джалиль в Киеве (1939) . . . . .	248	«Я невесомый, как пушинка лета...» . . . . .	265
А. АКБАРОВ.		Н. РУБЦОВ.	
«Для нас разлуки нет...» . . . . .	249	Дуэль . . . . .	265
И. УТКИН (вступление Д. Фикса) . . . . .	253	«Кружусь ли я в Москве бурливой...» . . . . .	266
«Живая Литва» . . . . .	253	«Я переписывать не стану...» . . . . .	266
А. АЛИП (пер. Н. Гребнева).		Н. РЕРИХ (вступление В. Сидорова). . . . .	267
Какою будет смерть? . . . . .	256	Пора . . . . .	267
Глядя на самолет . . . . .	256	Наш путь . . . . .	268
Есть у меня два сына . . . . .	257	При всех . . . . .	268
М. ЦВЕТАЕВА (вступление Вл. Орлова). . . . .	258	Любовь . . . . .	268
«То-то в зеркальце — чуть брезжит...» . . . . .	258	А. БЕЛЫЙ (вступление С. Лесневского). . . . .	269
Н. РЫЛЕНКОВ (вступление Езг. Осетрова). . . . .	259	О себе как писателе . . . . .	269
<О Брюсове> . . . . .	259	Вл. ОРЛОВ.	
<О Яне Райнсе> . . . . .	259	Александр Блок о начинающих поэтах . . . . .	273
<Творческая манера Исаковского> . . . . .	260	А. БЛОК.	
		«В свою работу я верю...» Письма к издателю К. Ф. Некрасову. Вступление С. Лесневского. Примечания Н. П. Ильина . . . . .	279

## ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1972

М., «Советский писатель», 1972, 288 стр. План выпуска 1972 г. № 119.

Художник В. В. Медведев. Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор Н. С. Лаврентьев. Техн. редактор И. М. Минская. Корректоры Н. П. Заборнова и Т. Ф. Юдичева. Сдано в набор 3/VII 1972 г. Подписано к печати 31/VIII 1972 г. А09027. Бумага 84×108 1/16 № 2. Печ. л. 18+0,5 вкл. (31,08). Уч.-изд. л. 25,47. Тираж 75 000 экз. Заказ 3065. Цена 1 руб. 87 коп. Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28



*Александр Твардовский. 1946 г.*



*Н. Тихонов, С. Щипачев, А. Толстой, А. Твардовский, М. Исаковский, А. Сурков. 1944 г.*





*М. Исаковский, С. Маршак, А. Твардовский. 1953 г.*





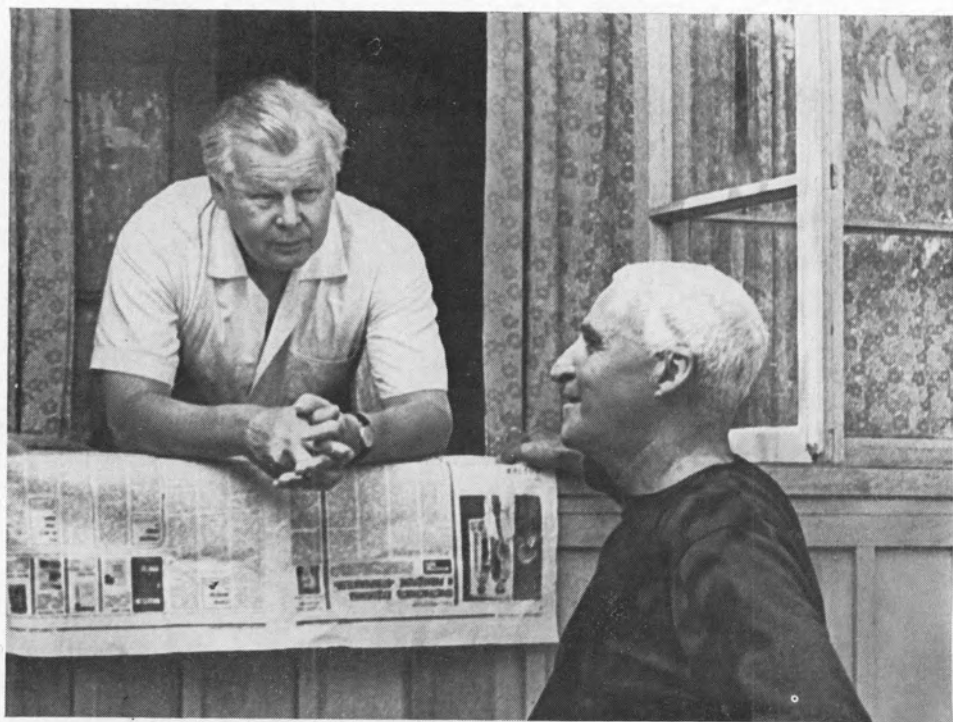
*На 3-м Всесоюзном совещании молодых писателей. 1956 г.*

*А. Сурков, Ю. Гагарин, А. Твардовский.*





1968 г.



*А. Твардовский и К. Симонов.*

*А. Твардовский беседует с Ярославом Смеляковым. 1969 г.*







1969 г.

1 р. 87 к.

